

Перевод Евгении Семенюк

Клэр Норт



ПРЯЖА ПЕНЕЛОПЫ

18+

фэнтези

МИОО

Red Violet. Темный ретеллинг

КЛЭР НОРТ
ПЕРЕВОД ЕВГЕНИИ СЕМЕНЮК



ПРЯЖА ПЕНЕЛОПЫ

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2023

STONE HEDGE

УДК 821.111-31(410)
ББК 84(4Вел)6-449
Н82

Original title:
Ithaca
by Claire North

На русском языке публикуется впервые

Норт, Клэр

Н82 Пряжа Пенелопы / Клэр Норт ; пер. с англ. Е. Семенюк. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 448 с. — (Red Violet. Темный ретеллинг).

ISBN 978-5-00195-817-8

Восемнадцать лет назад царь Итаки Одиссей отправился на войну с Троей, взяв с собой всех дееспособных мужчин. Благодаря шпионской сети горничных жена Одиссея Пенелопа правит островом и поддерживает тонкий баланс сил, необходимый для выживания Итаки.

УДК 821.111-31(410)
ББК 84(4Вел)6-449

*Все права защищены.
Никакая часть данной книги
не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения
владельцев авторских прав.*

ISBN 978-5-00195-817-8

Copyright © 2022 by Claire North
First published in the United Kingdom
in the English language in 2022
by Orbit, an imprint of Little, Brown
Book Group.

© Издание на русском языке,
перевод, оформление. ООО «Манн,
Иванов и Фербер», 2023

STONE HEDGE

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Семья Одиссея

Пенелопа — жена Одиссея, царица Итаки

Одиссей — муж Пенелопы, царь Итаки

Телемах — сын Одиссея и Пенелопы

Лаэрт — отец Одиссея

Антиклея — мать Одиссея

Советники Одиссея

Медон — старый, лояльный советник

Эгиптий — старый, менее лояльный советник

Пейсенор — бывший воин Одиссея

Женихи Пенелопы и их родственники

Антиной — сын Эвпейта

Эвпейт — отец Антиноя, начальник гаваней

Эвримах — сын Полибия

Полибий — начальник житниц, отец Эвримаха

Амфином — греческий воин

Андремон — ветеран Троянской войны

Минта — доверенный слуга и верный друг Андремона

Кенамон — египтянин

Нис — один из женихов с невысокой репутацией

Служанки и простой народ

Эос — служанка Пенелопы, ухаживает за волосами
Автоноя — служанка Пенелопы, хранительница кухни
Меланта — служанка Пенелопы, хранительница очага
Мелитта — служанка Пенелопы, чистильщица туники
Феба — служанка Пенелопы, дружелюбная со всеми
Леанира — служанка Пенелопы, троянка
Эвриклея — старая нянька Одиссея
Дарес — молодой человек из Итаки

Женщины Итаки

Приен — воин с Востока
Теодора — сирота из Итаки
Анаит — жрица Артемиды
Урания — шпионка Пенелопы
Семела — старая вдова, мать Мирены
Мирена — дочь Семелы

Микенцы

Электра — дочь Агамемнона и Клитемнестры
Орест — сын Агамемнона и Клитемнестры
Клитемнестра — жена Агамемнона, двоюродная сестра Пенелопы
Агамемнон — завоеватель Трои
Ифигения — дочь Агамемнона и Клитемнестры, принесенная в жертву богине Артемиде
Пилад — названный брат Ореста
Ясон — солдат Микен
Эгист — любовник Клитемнестры

Спартанцы

Икарий — отец Пенелопы

Поликаста — жена Икария, приемная мать Пенелопы

Тиндарей — отец Клитемнестры и Елены, брат Икария

Боги и божества

Гера — богиня матерей и жен

Афина — богиня мудрости и войны

Артемида — богиня охоты

Калипсо — нимфа



Теодора не первая замечает разбойников, зато первая бросается бежать.

При свете полной луны они приближаются с севера. На палубах не горят огни; корабли скользят по поверхности океана, как слезы по зеркалу. Их три, на каждом примерно по тридцать человек, на носу приготовлены свернутые веревки, чтобы связывать пленников; ветер несет их к берегу, так что весла едва касаются волн. Не слышно ни боевых кличей, ни барабанов, ни воя труб из меди или рога. Заплатанные паруса без какого-либо изображения. Будь у меня власть над звездами, я зажгла бы их ярче, чтобы темные очертания кораблей на горизонте затмили небесный свет. Но звезды мне неподвластны, да и на возню людишек в сонных прибрежных селениях я обычно не обращаю внимания — если только речь не о каких-то больших событиях, которые искусная рука

смогла бы изменить, или о моем муже, находящемся слишком далеко от дома.

Поэтому Теодора сама, без божественного вмешательства, приближаясь губами к губам того, кто намерен стать ее любовником, замечает что-то странное в морской дали. Те немногие рыбацки, которые выходят в море ночью, ей знакомы, и очертания их лодок совсем непохожи на те, что она замечает краем глаза.

Потом Дарес — молодой недотепа, определенно глупее нее, — берет ее за подбородок, прижимает крепче к себе, рукой довольно нахально трогая грудь, и она отвлекается от кораблей.

Над деревней на скалах коптит факел. Его подняли лишь ненадолго, чтобы указать дорогу морским разбойникам. Теперь же со всем покончено, и тот, кто держал его, уходит по каменистой тропинке вглубь спящего острова, не ощущая сожалений и не собираясь глядеть на дело своих рук. Он вправе считать, что остался никем не замеченным: час уже поздний и жаркий день сменился прохладной сонной темнотой, в коей так хорошо громко храпеть и не видеть снов. Знал бы он.

В прибрежной пещере некая царица, облаченная в грязь и обноски, чьи руки все еще липки от крови, выглядывает в ночь и замечает разбойников, но не видит в них угрозы для себя. Потому она не кричит, не будит деревню внизу, а плачет о своем возлюбленном, которого больше нет в живых.

На востоке некий царь беспокойно ворочается в объятиях Калипсо, а она успокаивает его и говорит: «Это просто сон, любовь моя. Все, что за пределами этого острова, — просто сон».

К югу еще один флот с черными парусами застыл на недвижных волнах, гребцы спят под терпеливым небом, а некая царевна гладит покрытый испариной лоб брата.

А тут, на берегу, Теодора начинает подозревать, что намерения Дареса не вполне чисты, и раз уж дело приняло такой оборот, пора бы поговорить о свадьбе. Она отталкивает его обеими руками, но он крепко держит ее. Они пихаются, шурша ногами по белому песку, и тут он поднимает взгляд и видит наконец корабли, видит, что они направляются к этой бухте, и, не будучи очень уж сообразительным, он изрекает:

— А?..

У матери Дареса есть оливковая рощица, два раба и корова. Мудрые сказали бы, что все это вообще-то принадлежит отцу Дареса, — но тот так и не вернулся из-под Трои, а годы шли, и Дарес из щенка превратился в мужчину, и даже самые педантичные старики перестали так его называть. Однажды, незадолго до своего пятнадцатого дня рождения, Дарес повернулся к матери и произнес задумчиво: «Скажи спасибо, что я позволяю тебе тут жить», и в этот миг ее надежда умерла, хотя она же сама и сделала его чудовищем. Он рыбачит, правда, плохо, мечтает стать разбойником и ни разу не голодал зимой.

Отцу Теодоры было шестнадцать, когда он женился на ее матери, и семнадцать — когда отправился под стены Трои. После него остались лук — ведь это оружие труса, — несколько горшков и теплая накидка, сотканная его матерью. Прошлой зимой Теодора убила рысь, такую же голодную, как она сама, воткнув ей меж оскаленных челюстей нож, которым обычно потрошит рыбу: она легко принимает стремительные решения, когда дело заходит о жизни и смерти.

— Налеткики! — вскрикивает она, сначала обращаясь к Даресу, пока не выпустившему ее из объятий; а когда он все же отстраняется, повторяет тот же крик, направленный в сторону деревни наверху и в сонную ночь, и несется

к родным глинобитным домишкам со скоростью, способной догнать эхо своего голоса. — Налетчики! Налетчики идут!

Всем известно: когда жена, изнывая от ожидания мужа из плавания, смотрит в море и наконец замечает мерцающий золотом парус — тяжелая колесница времени плетется так, что каждая минута превращается в томительный, мучительный час. Но если к вашим берегам идут морские разбойники, то их корабли, кажется, обретают Гермесовы крылья и несутся, несутся по воде: вот они огибают торчащие скалы, где бегают боком оранжево-черные крабы; вот беспощадные весла бросают их грудью вперед на мягкий мокрый песок. Вот с палуб прыгают люди, вот в руках у них возникают топоры; щиты их сделаны из побитой бронзы и шкур, лица расписаны цветной глиной и пеплом. Они уже бегут вперед, оставляя море за спиной, не как воины, а как волки, окружая и загоняя жертв; они кричат, и их оскаленные зубы серебрятся в мягком свете луны.

Теодора добегают до Фенеры первой. Это деревушка на утесе, состоящая из приземистых домиков по обоим берегам ручья, что течет по каменной расселине, а потом с головокружительной высоты падает в бухту. Когда выдается дождливая зима, глинобитные стены расползаются и отваливаются кусками, а крыши постоянно приходится чинить. Здесь сушат рыбу и достают из раковин моллюсков, пасут коз и сплетничают о соседях. Здешний храм посвящен Посейдону, покровителю утлых лодочек местных рыбаков, которому — я-то этого старого хрыча хорошо знаю — плевать на небогатые подношения из зерна и вина, что они кладут на его алтарь.

По крайней мере, такой Фенера хочет казаться; но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что под грубыми дощатыми полами поблескивают украшения,

а проворные руки умеют не только чинить рыболовные сети.

— Разбойники! Разбойники! — кричит Теодора, и вот одна за другой откидываются в сторону пыльные занавеси в кривых дверных проемах, сонные глаза пытаются взглянуть в темноту, раздаются тревожные крики. Потом и другие видят тех, что соскочили с кораблей на берег; к воплям Теодоры присоединяются более взрослые голоса, более уважаемые, и вот уже сгребаются в охапку самые ценные вещи, и люди, словно муравьи из облитого кипятком муравейника, начинают разбегаться.

Слишком поздно.

Слишком поздно, для столь многих — слишком поздно.

Хорошо лишь одно: эти рычащие, колотящие по щитам захватчики не собираются убивать самых молодых и сильных. Достаточно напугать, лишиться воли к сопротивлению, избить и связать их; а потом отвезти туда, где можно продать. Два раба из дома Дареса смотрят на своих новых пленителей устало: с ними все это уже происходило, когда их захватывали в прошлый раз итакийские смельчаки. Их унылое отчаяние, оттого что кругом снова оружие и щиты, разочаровывает нападающих: те надеялись хотя бы услышать унижительные мольбы; но им становится веселее, как только богачи Фенеры начинают причитать и плакать. Теперь владельцы сведены на уровень тех, кем когда-то владели, и их бывшие рабы качают головами и говорят: «Да вы просто делайте, как мы, говорите то, что мы, вы научитесь, вы научитесь».

Теодора забирает из дома лишь одну драгоценность — лук, с которым охотится на кроликов, и всё. Нет ничего дороже собственной жизни, и поэтому она бежит, бежит, бежит к холмам, бежит, как новая Аталанта, хватается за ветку тонкоствольного полумертвого дерева, что торчит из утеса, подтягивается вверх, перебирается по камням

в стрекочущую черноту под листвой — а внизу загорается ее дом. Она слышит за спиной шаги, тяжелый топот по тропинке, поросшей короткой травой, оборачивается, видит тень и факельный свет, спотыкается о предательский корень на тропе, почти падает — но ее подхватывают чьи-то руки, из тьмы появляются глаза, они моргают, к губам прижат палец. Теодору стаскивают с тропы в глубокую тень под кустарником, там скорчилась женщина, волосы у нее как осенние облака, кожа — как летний песок, в руке топор, на поясе охотничий нож. Вероятно, с таким оружием она способна оказать сопротивление, вогнать лезвие в горло того, кто их преследует, — но какой в этом прок? Сегодня — никакого. Вообще. Так что вместо этого они прячутся, цепляясь взглядом друг за друга, а их глаза кричат: «Тихо, тихо, тихо!» И наконец шаги преследователя стихают вдали.

Старуху, утащившую Теодору в укрытие, зовут Семейлой, и она преданно поклоняется Артемиде, совсем этого не заслуживающей.

Внизу, в деревне, Дарес ведет себя не столь разумно. Он вырос на историях про воинов Одиссея и, как и все мальчишки, научился кое-как владеть копьем и мечом. Соломенные крыши уже тлеют, а он вытаскивает из-под кровати в доме своей матери меч, отходит на четыре шага от дымящейся двери, сжимая оружие обеими руками, видит шагающего к нему иллирийца, всего в крови и пламени, встает, расставив ноги, и даже, как ни странно, отбивает первый удар. Это удивляет всех, включая самого Дареса; при следующем выпаде врага он ухитряется развернуться и так сильно ударить плашмя по короткому копыю того, что оно трещит и древко трескается. Однако Дарес недолго радуется такому развитию событий: его убийца выхватывает из ножен короткий меч, разворачивается, предугадав движение Дареса, проскальзывает под его рукой и рассекает ему живот.

К чести разбойника я должна сказать, что ему хватает любезности пронзить после этого сердце Дареса, а не просто бросить его умирать. Мальчишка не заслужил такой чистой смерти, но, вероятно, и прожил недостаточно долго, чтобы заслужить ту, что пришла за ним.

STONE HEDGE



Пурпурными перстами заря медленно провела вдоль спины Итаки, словно неумелый любовник, запутавшийся в длинном подоле. Рассвету этого дня больше подошел бы алый оттенок, в тон крови, окрасившей волны у Фенеры; ему пристало бы, подобно акулам, кружить вокруг острова. Посмотрите на море: даже глаза богов с трудом разглядят три паруса, исчезающих за горизонтом на востоке, а с ними — похищенный скот, зерно и рабов. Они будут далеко, очень далеко, когда корабли Итаки поднимут наконец паруса.

Поговорим же об Итаке.

Это отсталый, никудышный островок. Ни моих золотых шагов по ее скудной почве, ни ласковых слов, что шепчу на ухо ее просоленным матерям, Итака не стоит: она не заслуживает внимания богини. Но такова печальная правда: эта несчастная земля настолько бесплодна,

что редко привлекает взор других богов; и я, Гера, мать Олимпа, та, что свела с ума Геракла и превратила в камень заносчивую царицу, — что ж, хотя бы здесь могу иногда потрудиться, не вызывая осуждения своих сородичей.

Забудьте песни Аполлона, забудьте гордые заявления высокомерной Афины. Своей поэзией они лишь прославляют самих себя. Послушайте мой голос: голос той, кого лишили причитающихся чести, власти и пламени; той, кому нечего терять, ибо у нее все отняли поэты. Я одна расскажу вам правду. Я, разводящая завесы времени, расскажу истории, которые могут поведать только женщины. Так последуйте за мною к западным островам, к дворцу Одиссея, и послушайте.

Остров Итака охраняет залив, этот раскрытый рот Греции, словно обломанный зуб; он похож на царапину на шкуре океана. Даже смертный, если его ноги выносливы, может обойти его весь за день — если, конечно, захочет с утра до вечера пробираться по нечистому лесу из мрачных, скрюченных деревьев, которые, кажется, выросли лишь настолько, чтобы никто не сказал, что они не старались выжить; или по осыпающимся каменным утесам, торчащим из земли, как пальцы мертвецов. Скажем прямо, остров интересен лишь одним: какой-то глупец решил именно здесь построить город — так зовет его местная деревенщина; по правде говоря, едва ли можно так именовать горстку кривобоких домиков, прилепленных к угловатому склону над суровым морем, — а над ним — так называемый дворец.

Отсюда, из этого термитника, повеления царей Итаки разносятся по западным островам, каждый из которых гораздо приятнее этого несчастного утеса. И хотя живущие под властью итакийцев обитатели Гирии, Паксоса, Лефкады, Кефалонии, Китиры и Закинфа растят на островах оливы и виноград, едят сочный ячмень и даже, бывает,

пасут коров, в итоге все подданные этого маленького царства одинаково неотесанны и различаются лишь уровнем своих необоснованных притязаний. Ни великим правителям Микен или Спарты, Афин или Коринфа, ни поэтам, что ходят из дома в дом, не приходит на ум часто говорить об Итаке и ее островах — может, лишь изредка, чтобы пошутить по поводу коз, — по крайней мере, не приходилось до недавнего времени. До Одиссея.

Так отправимся же на Итаку теплым поздним летом, когда листья на деревьях начинают сохнуть, а ползущие по небу над океаном облака чересчур большие, чтобы замечать эту маленькую сушу внизу. Ночью было полнолуние, а теперь наступило утро, и в городе у подножия царского дворца, куда нужно несколько часов идти босиком по жесткой земле, в храме Афины возносятся первые молитвы. Это кособокое деревянное строение, прижимающееся к земле, будто боится, что его сдует буря, но в нем есть и золотые, и серебряные предметы — плоды разбоя, которые лишь мужланы могли счесть великолепными. Я обхожу это скучное место, чтобы не дать повода самодовольной задаваке — моей падчерице появиться здесь или, что еще хуже, нашептать моему мужу, что видела меня ходящей среди смертных. Афина — чопорная, неприятная девица; пройдем же поскорее мимо.

От пристани до самых ворот дворца протянулся рынок. Здесь можно купить дерево, камень, коз, свиней, уток, даже иногда коня или корову; бусы, бронзу, латунь, янтарь, серебро, олово, веревки, глину, лен, красители, шкуры зверей — обыкновенных и редких, — фрукты, овощи и, конечно, рыбу. Сколько же здесь рыбы! Западные острова все как один провоняли ею. Когда вернусь на Олимп, мне придется искупаться в амброзии, чтобы смыть с себя этот запах, пока его не унюхает какая-нибудь болтливая нимфа.

Здесь много домов: есть и скромные лачуги ремесленников, которые едва могут позволить себе иметь одного раба, и просторные усадьбы богачей, кто предпочел бы жить с другой стороны пролива, на Кефалонии, где лучше охота и, если уйти вглубь острова, на несколько минут перестанет пахнуть рыбой, а вместо нее завоняет навозом: а ведь перемена — тоже своего рода облегчение. Здесь имеются два кузнеца, соперничавших долгое время, но наконец понявших, что вместе удерживать цены выгоднее, чем состязаться друг с другом. Тут есть и сыромятня, и еще одно место, бывшее раньше домом свиданий, но потом бóльшая часть его посетителей уплыла воевать, и девушкам пришлось заняться ткачеством и окраской тканей; а поскольку ни один корабль итакийцев так и не вернулся из-под Трои с победой, то они и до сего дня продолжают ткать и красить.

Почти восемнадцать лет прошло с тех пор, как мужчины Итаки уплыли на осаду Трои, и, как ни многочисленны корабли, проходящие через здешние пристани со времени ее падения, их все равно недостаточно для того, чтобы шлюха зарабатывала больше искусной красильщицы.

И над всем этим высится дворец Одиссея, какое-то время известный под названием дворец Лаэрта, и, конечно же, старик предпочел бы, чтобы его каменное наследие продолжали называть этим славным именем, — ведь он был ни больше ни меньше аргонавтом и плывал когда-то под моим стягом, чтобы вернуть золотое руно, пока подонок Ясон не предал меня. Но Лаэрт состарился еще до того, как все мужчины Греции отправились под Трою. И сын затмил отца, и галереи теперь расписаны по-новому: черной и красной краской выведены на стенах большеглазые фигуры, подкрашенные охрой. Одиссей с луком в руках. Одиссей в битве. Одиссей выигрывает доспехи

погибшего Ахиллеса. Одиссей с плечами Атланта и ногами быка. За те восемнадцать лет, что царя Итаки не видели на острове, он из низкорослого, чрезмерно волосатого мужчины непримечательной внешности превратился в чисто вымытого статного силача, пусть даже лишь в воображении поэта.

Поэты много расскажут вам о героях Троянской войны. Кое в чем они правы; в другом, как обычно, лгут. Они лгут, чтобы угодить своим хозяевам. Они лгут, не ведая, что творят, потому что искусство поэта в том и состоит, чтобы заставить каждого, кто слушает, поверить: древние песни исполняются для него одного, делая старое новым. А я никого, кроме себя, не стремлюсь услаждать своей песней и смею утверждать: то, что вы знаете о последних героях Греции, означает, что вы не знаете вовсе ничего.

Идите за мной сквозь залы Одиссеева дворца; идите за мной — и вы услышите истории, которых поэты-мужчины, поющие для алчных царей, вам не расскажут.

Даже в рассеянном свете зари, безупречно белом, отражающемся от моря, большой зал кажется темным вертепом. В нем воняет мужчинами, пролитым вином, разгрызенными костями, кишечными газами и желчью, и я останавливаюсь на пороге и зажимаю нос. По залу уже ходят рабыни, старающиеся смыть смрад вечернего пира, собирающие блюда, чтобы вернуть их на кухню, и возжигающие сладкие травы, чтобы очистить зловонный воздух; но им то и дело мешают: мужчины, лежа под столами, хрюкают во сне, как свиньи, а руки их протянуты к пеплу из очага, будто им снится лед.

Эти храпящие тупицы, эти грубые самцы — лишь несколько женихов, что, подобно прибою, накатывают на порог Одиссея и откатывают от него прочь, пожирая на пирах плоды его земли и лапая его рабынь. Два года назад их было двадцать, в прошлое солнцестояние — пятьдесят,

а теперь сотня мужчин приплыла на Итаку с единственной целью: получить руку одинокой, скорбящей Одиссеевой царицы.

Нарисованные глаза Одиссея, может быть, и смотрят со стен, но он мертв — он мертв! — восклицают женихи. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он отплыл с Итаки, восемь — с той поры, как пала Троя, семь — с того дня, как его последний раз видели на острове Эола: он утонул, конечно же, он утонул! Невозможно плыть домой так долго, так плохо править кораблем. Ну же, печальная царица, ну же: пора выбрать нового мужчину. Пора выбрать нового царя.

Я знаю их всех, видящих себя князьями, спящих вповалку, как псы. Вот Антиной, сын Эвпейтов, его темные волосы покрыты маслом и воском и зачесаны назад ото лба блестящим ульем, таким жестким, что его не шелохнет ни дождь, ни пот. Его хитон оплачен отцовским богатством, оторочен багряной тканью, купленной у беззубого критянина, а на шее небрежно висит хитросплетение золота и бусин, будто говоря: «А, это старье? Я случайно его нашел, за амфорой валялось, ну, вы знаете, как это бывает». Антиною было пять лет, когда Одиссей ушел на войну, и он стоял на причале и плакал, и топал ножкой, и требовал объяснить, почему ему не разрешают быть воином. Теперь Ахиллес погиб, Аякс и Гектор превратились в пыль, и Антиной больше не задает вопросов.

Рядом с ним спит, похрапывая, Эвримах, чей отец Полибий не пошел на войну, отправившись в западные колонии «по срочному делу», которое пришлось срочно делать целых десять лет, и чья кормилица избаловала его до крайней степени, внушив ему, что он потомок Геракла. Нынче каждый недоросль — потомок Геракла, других просто не примут в приличное общество. Солнечный свет, играющий в волосах Эвримаха, кажется, придает ему

какой-то пошлой божественности; хоть он и молод, но у него уже появились залысины, а льняная грива редее. Только его нелепо высоченный рост и худоба отвлекают от этого взгляд, и он смотрит вниз, на мир, так, будто каждый раз удивляется, что земной диск все еще вертится под его огромными ступнями.

Кого еще стоит упомянуть? Вот Амфином, царский сын, которого научили, что превыше всего честь, и который подозревает, что сам он чести не имеет, но не совсем понимает, что с этим делать. У его отца было много сыновей, у всех были головы как тыквы-горлянки, они редко ссорились и играли музыку, похожую на вой Цербера. Все они теперь мертвы — троих убили троянцы, — кроме Амфинома, который сделает то, что должен.

Вот Андремон: он не спит, следит одним глазом за рабнями, сидя там, где уснул, уронив голову на скрещенные руки. Песком ли, солью ли выдублена его спина, так, что ногти, царапающие ее, шуршат, будто костяной иглой водят по кожаной одежде? Жестокое ли солнце Трои обесцветило его волосы и придало им такой металлический блеск? Упражняется ли он каждое утро и каждый вечер в метании диска, чтобы сохранять такой рисунок мышц на груди, шее, плечах, руках, или его благословили Арес с Афродитой, чтобы мужчины дрожали, завидев его, а женщины падали без чувств?

Открою тайну: его никто не благословлял, и такие руки, как у него, требуют упорной работы.

Вот все, кого стоит упомянуть. Мы смотрим на них так, как смотрели бы на сыпь: надеясь, что она не распространится дальше, — и идем своей дорогой.

Меж спящими женихами ходят те, кто являет вторую часть этой истории — ту, о которой поэты не говорят, а если и говорят, то лгут. Служанок во дворце много, ведь дворец — это сложно устроенный организм. Ни один царь

Итаки не смеет рассчитывать лишь на удачный ветер и богатые почвы, чтобы вырастить зерно, — а потому вдобавок женщины держат уток, гусей, свиней, коз; они рыбачат в маленькой бухте, в которую мужчины не заходят, отковыривают моллюсков с черного камня и трудятся в оливковых рошицах и полях ячменя, таких же скупых и жестких, как люди, что съедят их плоды; а ночью, когда последние из женихов засыпают, они ложатся и смотрят свои сны. Послушайте, послушайте. Давайте заглянем за свежеумытые лица, окунемся в душу идущей мимо служанки.

«...Прясть шерсть, прясть нитки — это легкая работа; как у меня ноги устали, хочу легкой работы...»

«Антиной посмотрел на меня вчера вечером; интересно, что он думает?..»

«Надо рассказать Меланте, ох она и взвояет, ох она и заорет; вот смеху-то; где Меланта? Скорей ей рассказать!»

Но что это? Послушайте — вот голос, который шепчет не в лад с остальными.

«Смерть грекам, — отстукивает сердце той, у которой волосы как свернувшаяся кровь, а глаза опущены в пол. — Смерть всем грекам».

Об этих девах Итаки — этих рабынях и проданных девушках, этих подневольных дочерях — о них мне нужно будет много еще рассказать вам. Я богиня цариц, жен и женщин; мои труды неблагодарны, а я все равно тружусь. Но, увы, уже начались события, которые требуют нашего внимания, так посмотрим же на север.

По каменистой, пробитой в скалах дороге, вьющейся вдоль уступчатой долины, спускаясь в место, которое мы — так уж и быть — назовем городом, приближается Теодора. Она уже не бежит, а бредет нога за ногу, считая шаги, все вперед и вперед, не зная, куда идет, опустив голову, выкручивая пятки; и люди разбегаются перед ней.

Она несет лук без стрел, а рядом с ней идет старуха. С их приходом все лишь усложнится, но я никогда не боялась трудностей.

У ворот дворца человек по имени Медон готовится обходить рынок. Он голос царя Итаки, его посылают из дворца, чтобы он провозглашал волю монарха. Но царя Итаки уже восемнадцать лет нет дома, а волю какой-то там царицы он объявлять, конечно же, не может, так что в эти дни он мало что провозглашает и надеется, что горожане сами разберутся, как им лучше поступать. В последнее время его вера в людей истощается. У него круглый мягкий живот и круглое, обвисшее лицо, и он один из немногих мужчин на острове, которому больше двадцати пяти лет; и, вероятно, именно эта его необычность заставляет Теодору сбавить шаг; она подходит, ее чуть качает от начинающейся жары и груза ночного ужаса, а потом она останавливается прямо перед стариком, смотрит ему в глаза, будто надеясь найти в них подтверждение того, что все это было лишь сном, отразившимся в ее зрачке, и просто говорит:

— С моря приходили разбойники.



В комнате, построенной так, чтобы в нее попадал утренний свет, прилепившейся к стене дворца, словно старая свисающая бородавка, собрались три старика, один мальчик, желающий стать мужчиной, и три женщины; и сейчас все они узнают, насколько плохой день выдался сегодня на Итаке.

Из всех присутствующих старики и мальчик считают себя главными. Они стоят вокруг стола, сделанного из тиса со вставками из черепашьего панциря, и препираются.

Одного из них мы уже встречали, это Медон, он проснулся еще до рассвета, и этот день его уже утомил. Остальных зовут Пейсенор, Эгиптий и Телемах.

Вот кое-что из того, что они говорят:

— Будь прокляты эти разбойники. Будь они прокляты! А раньше ведь, знаете, раньше... Будь прокляты эти разбойники!

— Спасибо за стратегическую оценку, Пейсенор.

— Месяц назад они напали на Лефкаду. Тоже в полнолуние, тоже иллирийцы — северные варвары! Если это те же самые...

— Если бы у нас по-прежнему был флот...

— Его нет.

— Если бы мы могли подогнать корабли с Закинфа...

— И оставить земледельцев беззащитными как раз перед сбором урожая?

— Можно я спрошу?

— Не сейчас, Телемах!

На Итаке только два типа мужчин: те, кто был слишком стар, и те, кто был слишком мал, чтобы воевать, когда Одиссей отправился под Трою. (Строго говоря, есть еще одна категория — трусы, рабы и тот мужик, которому не хватило денег на меч, но кто про них вспоминает? Уж, во всяком случае, не поэты и не боги.) Между двумя этими возрастами пропасть, где должен был бы находиться цвет итакийского мужества. Отцы и те, кто мог бы стать отцами нового поколения, не вернулись, так что увидеть на острове местного старше тридцати, но моложе шестидесяти пяти — это редкий случай. Для девушек на выданье нет женихов, а вдов на западных островах больше, чем святилищ.

Посмотрим же на этих мужчин, слишком старых, чтобы воевать, и щенка, которого отец, исполняя одну из своих идиотских задумок, чуть было не переехал плугом в младенчестве. Эгиптий, может быть, и пригодился бы Одиссею под Троей, но он такой зануда и так надоел царю, что хитрый полководец придумал для него какую-то задачу дома: так честь всех вовлеченных сторон осталась нерушима, а моряки на тесном корабле были счастливо избавлены от скучных разглагольствований советника. Он встает, наклоняется, как ива, его лысая голова

увенчана созвездием родинок, а под тонкой кожей, выду-
бленной солнцем, видны каналы там, где смыкаются
кости черепа.

— Может, нам пора подумать про наемников?..

— Наемникам нельзя доверять. Сначала они вам слу-
жат, потом им надоедает, они грабят вас и сбегают с ва-
шими же богатствами. — Это Пейсенор, волосатый, как
боров, приземистый, как невысокие холмы, с которых он
родом. Левую руку он потерял, занимаясь набегами на чу-
жие берега под началом Лаэрта, и потому не может держать
щит и наедине все жалуется, жалуется, жалуется, что он
меньше, чем мужчина, — в общем, делает все, что в его
силах, чтобы напомнить всем и каждому, что он воин
и герой.

— С какими богатствами? — спрашивает Медон, ко-
торому кажется, что с каждым мигом, проведенным в этой
комнате, он все быстрее стареет.

— Прошу прощения...

— Подожди, Телемах. Смотрите, все остальные цари
Греции вернулись из-под Трои с награбленными богат-
ствами. Говорят, когда Агамемнон возвратился, пришлось
пять дней разгружать только его личную добычу — пять
дней! А Менелай, говорят, моется в золотой ванне.

— Менелай в жизни не мылся.

— Так он особо и не торопился домой с войны, верно?
Я слышал, они с братом отправились на юг, он и египет-
ского золота набрал. Говорят, критяне в ярости.

— А у нас как раз хватает богатств, чтобы было что
грабить, но не хватает, чтобы купить защиту.

— Прошу прощения!

Телемах. Ему восемнадцать, стоит здесь потому, что
он сын Одиссея — хотя, если подумать, так ли это хорошо?
Волосы у него не такие великолепно золотые, как у отца
(у того-то на самом деле они седеющие, темно-русые,

но поэты, поэты!), и, вероятно, есть что-то от бабки-наяды в его бледности, какая-то влажность в его веснушчатых чертах, которые даже ежедневные упражнения с копьем и щитом никак не превратят в твердую обожженную глину. О, разумеется, однажды его плечи станут широкими, а бедра будут подобны великанским палицам, но сейчас он всего лишь мальчишка, старающийся отпустить первую бороду, пытающийся говорить голосом чуть более низким, чем надо, и сам себе то и дело напоминающий не сутулиться — потому что он все время сутулится. Афина говорит: он далеко пойдет; а Гермес, чья кровь течет в жилах сынов этого дома, сообщает, что так бы и слетел вниз и расцеловал Телемаха. Но мой брат Аид, который более разумно подходит ко всему, смотрит в туман и бормочет: «Есть такие семьи, которые и севера не найдут».

Одиссей — на редкость неумелый мореплаватель. Вряд ли его сыну передалось более надежное чувство направления.

— Мы же можем обучить собственных воинов, у нас есть люди, есть...

— Не получится, Телемах.

— Но я...

Телемах почти никогда не заканчивает фраз. Когда его представляют людям, говорят: «Одиссеев сын Телемах». Имя его отца всегда идет впереди, и можно подумать, что этот речевой выверт проник и в голос самого Телемаха, так что ему почти никогда не удастся закончить хоть какое-нибудь осмысленное предложение, если там проглядывает собственная личность. Слава отца создает для него не меньше сложностей, чем разрешает, потому что, будучи сыном героя, Телемах, естественно, должен будет когда-то и сам поднять парус и стать героем, чтобы отец не затмил его, как затмил в свое время его деда. Однако чтобы поднять парус, у вас должно быть войско — ведь

героем быть гораздо проще, когда есть кому подлатать вам одежду и приготовить еду, — а учитывая, что воины Итаки не вернулись и все они, честно говоря, мертвы, исключая лишь одного, все это крайне непросто устроить.

— Есть очевидный ответ... — размышляет Эгиптий.

— Ну началось, — вздыхает Медон.

— Эвримах или Антиной...

— Брак с местным навлечет на нас гнев материка. Может, лучше жених из Коринфа или даже Фив? Или этот, как его, из Колхиды, он вроде ничего.

— Там еще снаружи какой-то египтянин ждет, представляете? — Пейсенор в жизни не встречал египтян, но уверен, что они ему не нравятся. — Хоть пахнет приятно.

— Мой отец жив! — Телемах говорит эти слова так часто, что собеседники замечают их не больше, чем стрекот цикады в поле.

— Нет, нет, нет! Брак с чужеземцем приведет к междоусобице, острова этого не потерпят, нам придется просить помощи у Микен, а то и, чего доброго, у Менелая. Представляете себе спартанцев на нашей земле, это же...

— Стоит выйти замуж не за того — и Менелай будет здесь в любом случае.

— Мой отец жив!

Телемах это выкрикнул. Телемах никогда не кричит. Одиссей никогда не кричал — только раз, когда орал своим морякам, чтобы отвезли его к сиренам, но то был исключительный случай. Никто не выражает неодобрения из-за такого нарушения приличий, но на мгновение даже женщины молча поднимают головы и смотрят широко раскрытыми глазами на происходящее. А вы и забыли, что тут, в этом ученом собрании, присутствуют женщины? И поэты забудут, когда будут петь песнь об этом.

— Мой отец жив, — тише повторяет Телемах, спокойно, сжимая край стола, наклонив голову. — Моей матери нельзя выходить замуж повторно. Это богохульство.

Старики смотрят в сторону.

Через некоторое время и женщины отводят глаза, хотя какая кому разница, куда они смотрят. Они для этой сцены не более чем украшение. Если поэты и упомянут их, то примерно в том же ряду, что и красивую вазу или искусно выделанный щит — элемент убранства, который добавляет атмосферы. Может быть, три женщины чувствуют это, потому и составили картину скромности. Одна, Автоноя, с каштановыми волосами и лицом жестким, как засушенная морская звезда, хрупкая, красивая и не предназначенная для мужского взгляда, настраивает лиру. Она делает это уже полчаса и никак не закончит. Рядом с ней Эос — пониже ростом, потолще в бедрах, лицо у нее похоже на виноградину, на щеках веснушки, она чешет пряжу, разделяя на тонкие нити, с той же тщательностью, с какой расчесывает волосы своей госпожи. Она умеет это делать с закрытыми глазами и открытыми ушами — всегда с открытыми ушами.

Последняя из женщин должна бы, наверное, ткать за маленьким станком, за которым ее часто видят на людях, — но нет, это личные покои, для важных дел, и она сидит, сложив руки на коленях, подняв подбородок, чуть поодаль от мужчин, собравшихся вокруг стола, и слушает с таким вниманием, что испугала бы Аякса (он всегда больше боялся женщин, чем смерти), но не смотрит на своих советников, дабы не смущать их силой своего внимания.

Это Пенелопа, жена Одиссея, хозяйка дома, царица Итаки и источник, как уверяют ее многие-многие мужчины, одних только бед и страданий. Ей кажется, что это несправедливо, но оспаривать это утверждение, пожалуй,

пришлось бы так долго, что ни одному смертному не хватило бы дыхания.

Для греческой царицы у нее чересчур смуглая кожа, а волосы черные, как полночное море, — но поэты будут рисовать ее златокудрой, потому что златокудрые женщины желаннее, и опустят описание мешков под ее усталыми глазами. Хоть Пенелопа и царица, она не сидит за столом совета: это было бы неправильно. Но она все же верная жена отсутствующего государя, и, хотя почти все здесь уверены, что важные дела, обсуждаемые советом, не влезут в ее хорошенькую головку, им все равно приятно видеть женщину, так ответственно относящуюся к своим обязанностям.

Пенелопа, сложив руки на коленях, слушает, как препоираются ее советники.

— Телемах, мы знаем, что ты любишь отца...

— Тело не найдено. Тело не найдено! Одиссей жив, пока не нашли тела, он...

— ...и замечательно, если он до сих пор жив, просто замечательно, но дело в том, что вся остальная Греция уверена в том, что он погиб, и эта самая остальная Греция теряет терпение! Западным островам нужен царь...

Если Пенелопе и интересны эти мужчины, обсуждающие ее мужа, или отсутствие одного, или виды на то, чтобы приобрести нового мужа, или что там на сегодня является самой насущной политической проблемой, — она этого не показывает. Ее, похоже, занимают черные спирали на фреске под самым потолком, как будто она только сейчас заметила, что нарисованная волна с легкостью может оказаться изображенным облаком или несовершенством взгляда художника придает изображенному особый характер.

Сидя у ее ног, Автоноя дергает струну — блям: она не настроена.

Эос вытягивает нить из шерсти, легонько двигая пальцами, которые танцуют, как лапы паука.

Наконец Эгиптий говорит:

— Вот если бы у нас было немного золота Одиссея...

— Какого золота?

Глаза Эгиптия на миг устремляются на Пенелопу, но он тут же отворачивается. Конечно, именно мудрецы Итаки занимаются деньгами дворца и принимают важные решения, как и пристало мужчинам. Но ни хитроумная математика хеттов, ни странные рисунки, что всякие чужеземцы чертят стилусом на глине или выводят золой на папирусе, называя это письменностью, еще не добрались до берегов Греции, и остается подозрение — недоказанное, непроверенное, — что экономика Итаки сложнее, чем могут понять эти ученые. Пенелопа заявляет, что у нее ничего нет, но продолжает кормить женихов, каждый вечер устраивает им пир, как и положено хорошей хозяйке, — как это у нее получается?

«В самом деле как? — думают Эгиптий и многие другие, кто приходит и стучится в дверь Пенелопы. — Действительно как?»

— Почему мы не можем обучить собственных бойцов? — спрашивает Телемах, изо всех сил стараясь не дуться. Старшие некоторое время неуютно молчат, не зная, стоит ли им тратить время на ответ. — На Лефкаде, на Кефалонии есть ополчение. Почему бы ему не быть и на Итаке?

— Воины Лефкады не сильно-то ей помогли, — бормочет Медон, а его лицо оползает вниз, как сход селя. — Когда в прошлое полнолуние на нее напали, половина ополчения валялась пьяная, а вторая была на противоположном краю острова.

— Они были неумелыми. Мы будем умелыми. — Телемах, похоже, в этом уверен, что в свете последних восемнадцати лет кажется проявлением изрядного оптимизма.

Ему отвечает Пенелопа. Это приемлемо: она говорит не как царица, что было бы неучтиво с ее стороны, а как мать.

— Даже если на Итаке найдется достаточно мужчин, кто поведет их? Ты, Телемах? Если ты способен собрать сотню копейщиков, верных тебе, кто может быть уверен, что этих самых копейщиков ты не обратишь против женихов и не потребуешь себе венца своего отца? Антиной и Эвримах — сыновья важных людей; Амфином и женихи из более дальних краев смогут пригласить наемников из Пилоса или Калидона. Стоит тебе повести за собой отряд, как они почувствуют в тебе угрозу, отложат свои распри, сплотятся против тебя и все вместе с легкостью одолеют. А еще проще будет убить тебя заранее, пока ты не встал во главе отряда. Так и возиться не придется.

— Но они тут ни при чем. Мы защищаем свой дом.

— Они тут при всем, — вздыхает она. — А даже если и нет, важно то, как считают они сами.

Телемах, как любой бог или смертный, не любит, когда его признают неправым. Он ненавидит это, и на мгновение его лицо искривляется, как будто он хочет всосать его и выплюнуть вместе с кровью и желчью; но он далеко не идиот, поэтому не поглощает себя, а приостанавливается, думает и выдает:

— Хорошо. Мы вместе соберем отряд. Амфином опытен. А Эвримах неглуп. Если им так нужна Итака, пусть защищают ее.

— Это в случае, если за нападениями не стоит кто-то из них.

— Северные дикари, иллирийцы...

— Иллирийцам сюда плыть далеко. Опасно. И Медон прав: как им удалось напасть на Лefкаду, вернуться домой, снарядиться снова и к новому полнолунию быть на Итаке? И зачем они, проплыв такое расстояние, напали

на Фенеру, никому не нужную деревеньку? Тут есть о чем поразмыслить.

Действительно есть, но Телемах не очень понимает в размышлениях.

— Я могу защитить Итаку, матушка. Я способен.

— Конечно, способен, — лжет она. — Но пока ты втайне не соберешь сотню воинов со всего архипелага и не привезешь сюда или не придумаешь способ помешать нашим гостям объединиться и пересилить твой отряд, боюсь, нам потребуется более тонкий подход.

Вздых Телемаха слышен всем, но никто ничего не говорит. Вздыхать он научился у Эвриклеи, любимой кормилицы Одиссея, которая вечно нудит и жалуется и ничему не рада. Пенелопа о многом сокрушается, и то, что она позволила сыну перенять эту привычку, — одно из самых горьких сожалений.

В установившемся молчании никто не смотрит друг другу в глаза. Служанка Автоноя, кажется, готова засмеяться, но подавляет смехок, похожий на рыгание, и проглатывает. Наконец Медон говорит:

— Никто из женихов не говорил тебе ничего... относящегося к делу?

— Относящегося к делу? — У Пенелопы не такие ресницы, как у ее двоюродной сестры Елены, и хлопать ими она не умеет, но видела, как это делают другие, так что сейчас старается. Это ей не удается.

— Может, предлагали помощь или... говорили о защите.

— Они все говорят одно и то же. Каждый будет тем сильным мужчиной, тем храбрецом, тем единственным, кто сможет наконец принести мир в это царство, государем, которого заслуживает Итака, и так далее. А вот подробности — подробностей они не рассказывают. Подробности с царицей не обсуждают.

— Мальчик прав. — К Пейсенору обращаются поднятые брови, а он мрачно кивает, как будто уже покрыт кровью. — Если мы не можем позволить себе наемников... — Сколько веса в его «если»! Как подчеркнуто он произнес его: он тоже не знает, откуда у Пенелопы богатства, но, в отличие от остальных, даже не слышал о такой вещи, как арифметика, — то у нас нет выбора. Нам нужно ополчение, чтобы защищать Итаку, защищать дворец и царицу. Я поговорю с Антиноем, Эвримахом и с их отцами. И с Амфиномом. Если они согласятся, другие пойдут за ними. Мы найдем того, кто встанет во главе, кого примут все, кто не связан ни с женихами, ни с Телемахом.

— Я хочу участвовать, — тут же встречается Телемах.

— Исключено, — отвечает Пенелопа.

— Матушка! Если нашим землям угрожают, я буду защищать их!

— Даже если каким-то чудом Антиной и Эвримах согласятся отложить свои притязания на власть больше чем на полдня, чтобы собрать ополчение, кто будет в нем служить? На Итаке нет мужчин. Есть мальчишки, выросшие без отцов, и старики, прости мою прямоthu, Пейсенор. Иллирийцы, может, и варвары, но они воины. Я не поставлю под угрозу твою жизнь...

— Это моя жизнь! — огрызается Телемах, и снова он говорит громко, отец не стал бы так шуметь; ну что ж поделать: его воспитали женщины. — Я мужчина! Я глава этого дома! — Хорошо хоть не дал сейчас петуха. Голос у него сломался чуть позже, чем он надеялся, но теперь все хорошо, может, и борода скоро появится. — Я глава этого дома, — повторяет он уже не так уверенно, — и буду защищать свое царство.

Советники неловко ерзают, а Пенелопа молчит. Сейчас нужно что-то сказать, очень важные и срочные вещи, но каждый здесь, кажется, ушел с головой в собственное

пророчество, глядя в будущее, в котором ни одного из них не ждет ничего хорошего.

Наконец Пенелопа встает, похожая на поднимающегося из гнезда лебедя, и мужчины из учтивости делают шаг назад, слегка склонив головы: она ведь все-таки жена Одиссея.

— В Фенере кто-то остался в живых?

Вопрос на мгновение ставит всех в тупик, потом Пейсенор отвечает:

— Несколько человек. Во дворец пришла девочка, а с ней — старуха.

— Девочка? Я должна принять ее.

— Она неважная, она просто...

— Она гостя в моем дворце, — отвечает Пенелопа чуть жестче и резче, чем, вероятно, ожидали мужчины. — Ее примут как подобает. Эос, Автоноя, идемте.

Ее служанки собирают свои вещи и выходят вслед за ней из комнаты. Через минуту и Телемах кивает всем и удаляется самым царственным шагом, на какой способен, — скорее всего, пошел учиться точить копье. Старики остаются, глядя на свои руки. И Медон, очень неплохо разбирающийся в таких вещах, мрачно смотрит на своих товарищей и рявкает:

— Сопля из носа — и та похрабрее вас будет, — и выходит вслед за Пенелопой.



Теодора сидит и не ест.

Напротив нее — старуха. Это Семела, дочь Ойнены, мать Мирины. В культурных греческих краях не принято представляться именем матери, но Семела никогда не жила ни в каком другом краю, кроме Итаки, и ей неинтересны обычаи более благовоспитанных мест, откуда смерть не забирала мужчин. Она не такая уж и старая, но за долгие годы солнце и соль придали ее глазам постоянный прищур, высушили кожу, обесцветили волосы, покрыли костлявое тело шрамами, а широченные пятки — мозолями, натертыми об острые скалы этого поломанного острова. Ее многие знают, ибо голос ее не звучит покорно и тихо, и она не просит совета у мудрецов, и не стремится найти нового мужа, притом что первый почти наверняка — даже несомненно — не вернется. Когда ее спрашивают об этом, она говорит, пожимая плечами: «Мой муж

отплыл с Одиссеем, и коль царица все еще ждет своего, то и я буду». Некоторые подозревают, что в этой отговорке есть что-то большее, нежели просто верность царице. Мужчины знают, что она охотница. Кому-то приходится быть на Итаке охотником. Женщинам же известно кое-что помимо этого.

Она наблюдает за тем, что Теодора не ест каши из ячменя с медом, которую перед ней поставили, и что та хмурится, стиснув зубы. Девочка не произнесла ни слова с того мгновения, как вошла во дворец Одиссея.

— Теодора?

Теодора смотрит на женщину с темно-серыми глазами, стоящую в дверях, и не знает, что видит царицу. Семела встает — тут бы Теодоре понять намек и тоже подняться, но теперь ей это не с руки: она покажется дурочкой; так что она продолжает сидеть, но все равно выглядит дурочкой, просто иначе.

— Ты Теодора? — повторяет Пенелопа, и та кивает в ответ. — Я Пенелопа. Семела, спасибо, что привела ее сюда. Садись, пожалуйста. Вы мои гости и наверняка слышали о моем доме и... радушии. Пожалуйста, оставайтесь сколько хотите.

Теодора пытается найти слова, но на ум приходят только те единственные, что у нее остались:

— С моря приходили грабители.

— Иллирийцы?

— Было темно. — Эти слова как заклинание, которое может спрятать все: память, потерю, боль. Но все же Теодору учили доводить дела до конца, и она говорит, слегка хмурясь: — Щиты у них были круглые.

Нужно добавить еще что-то важное, которое она упускает, но... мысль уходит.

— Где они высадились? Насколько я помню, Фенера стоит у бухты, которая годится для суровой погоды. Туда

иногда причаливают купцы, если не хотят платить налог начальнику пристани, верно? Скажи — я не рассержусь. Мне просто необходимо знать.

— Да, в Фенере. Они шли напрямиком к берегу.

— Ты видела, чтобы кто-то подавал им знак, провел их через отмели?

Видела ли она? Блеснул ли на скалах факел? Теодора закрывает глаза, и в ее памяти вспышка то есть, то ее нет; Дарес залезает ей под хитон, Дарес жив, а теперь — мертв; и все сливается воедино, а время оплывает, как мокрая глина.

Пенелопа берет ее за руку. Теодора чуть не отдергивает ладонь: такое у царицы холодное и неестественное прикосновение.

— У тебя есть еще родные?

Теодора качает головой.

— Оставайся здесь, — говорит негромко Пенелопа. — Ты моя гостья, понятно?

Теодора снова кивает, смотрит на чистые пальцы, обившие ее руку. Еле удерживается от того, чтобы не наклониться: не пахнут ли они цветами?

— Это мои служанки, Эос и Автоноя. Они тебе помогут. Если что-то понадобится, попроси у них.

Теодора снова кивает; голова тяжелеет. А потом она вдруг спрашивает — кажется, будто это внезапно, но вопрос, вероятно, рос и рос в ней с того самого мига, как первый разбойничий корабль ткнулся носом в итакийский песок.

— Ты сможешь их вернуть? Эти иллирийцы, они забрали... забрали людей... Ты их вернешь?

— Я попытаюсь.

— Попытаешься?

— Это будет непросто. Итака небогата. Времена нынче... К тому же мы не знаем, куда иллирийцы отвезли их.

Я могу попросить своих знакомых поискать на невольничьих рынках, но... это будет сложно. Понимаешь?

У Теодоры до сих пор во рту привкус дыма, он застрял между зубами. Она смотрит царице в глаза и слышит собственный голос, словно волчье рычание:

— Тогда зачем ты нужна?

Эос открывает было рот, чтобы ответить: «Ах ты, неблагодарная девчонка, ах ты...»

Но Пенелопа дает ей знак молчать, все еще не отпуская руки Теодоры. Старая Семела смотрит на нее с другого конца стола: любопытная, терпеливая. Несколько мгновений Пенелопа обдумывает сказанное, рассматривает со всех сторон, катает по языку, дает ему проникнуть в самые дальние уголки сознания. Потом отвечает:

— Это очень хороший вопрос. Но, боюсь, у меня нет на него ответа. Семела, если можно, на пару слов.

Семела встает вместе с Пенелопой, идет за ней к двери, не кланяется, а поднимает подбородок так, будто готова дать головой в челюсть любой служанке, что попыбует ее остановить. За дверью Пенелопа смотрит налево и направо, оглядывая серый молчаливый зал. Стены во дворце тонкие.

— Иллирийцы? Вы уверены?

Семела кивает.

— У них были и меховые одежды, и топоры, но и короткие мечи — это греческое оружие. Я не слышала, на каком языке они говорили. К тому же зачем им Фенера? Проплыли мимо Гирии, мимо Лефкады и напали на Фенеру?

— Это... тревожный знак, — размышляет вслух Пенелопа. — Я думала, у нас больше времени на подготовку. Ты говорила с другими?

Семела кивает, резко и отрывисто. Она все делает так.

— Мы встречаемся в роще над храмом Артемиды. С каждой неделей нас все больше, но пока нет вожака...

— Я работаю над этим. А ты тем временем распространяй сведения: тихо, конечно, но быстро. Мужчины собирают ополчение.

Будь Семела у себя на поле, она бы сплюнула на землю. Но поскольку сейчас она во дворце, ловит слюну в полете — едва успевает.

— Из мальчишек и стариков?

Пенелопа движением руки отмечает идею, как надоедливую осу.

— Бестолковая затея. Будет только хуже. Но я не уверена, что смогу им помешать. Эта девочка, Теодора, я видела у нее лук. Она умеет стрелять?

— Не знаю. Но она не дура: убежала, не полезла в драку.

— Поговори с ней. Может, она нам пригодится.

Семела быстро кивает и возвращается в комнату к Теодоре, а та смотрит на образы, которые видимы только ей: на свою жизнь, на безысходность, а потом — будто бродила в туманах Аида и испила забывчивых вод серой реки — в пустоту.



Длинноухий Медон дожидается Пенелопу в тени у двери, ведущей в загоны. Некоторые люди умеют небрежно прислониться к узкому простенку, непринужденно, как кошка, будто говоря: «О, это меня ты искал? Тебе повезло!» Медон так не умеет. Он изящен, как испускание ветра, что, вероятно, и нравилось в нем Одиссею. Ему теперь шестьдесят восемь, но Одиссей, собираясь на войну, посмотрел на этого круглого человека с лицом, похожим на инжир, и провозгласил: «Добрый Медон, ты уже обременен годами!» — и Медон, возможно, обиделся на такое определение, но его облегчение было гораздо сильнее, ведь ему не придется плыть под Трою. С тех пор он разумно набрасывает себе когда четыре, а когда и все девять лет, в зависимости от того, с кем говорит. Его хитон свисает с одного плеча, как будто всю его одежду и его самого вечно тянет к земле, все вниз, вниз, вниз; и тем, кто это

видит, непонятно: лень ли это или тщательно выстроенный образ, подчеркивающий ауру изборожденного морщинами мудреца. Может быть, и то и другое или со временем одно стало другим. Его седые волосы уже оставили свои оплоты на лбу и на макушке и отступают к невидимой границе, проведенной по верху черепа, где разрушенными крепостями вздымается несколько дерзких прядей; на левой руке у него не хватает мизинца, и он говорит, что потерял его в бою, хотя на самом деле заразил его в детстве, поцарапавшись шипом.

Теперь он отклеивается от стены, увидев, что Пенелопа вместе с Эос и Автоноей приближается к загону, где блеют предназначенные на убой овцы, и спрашивает:

— С девчонкой все в порядке?

Пенелопа, поравнявшись со стариком, смотрит на него, а потом коротко кивает, сжав губы.

Дворец Одиссея строился многие годы безо всякого порядка: сначала это был лишь крепкий зал из бревен и глины, где можно было спрятаться от дождя и драчливых соседей; потом он стал залом с кухней и колодцем, затем — залом с кухней и настилом наверху, куда сложно добраться крысам и тараканам. Позднее прямо в каменном склоне, который поднимается от города, выдолбили подвал, чтобы хранить сушеную рыбу и вино; следом добавили тайные сокровищницы — предмет пересудов (так есть там сокровища или нет?), покои для гостей, помещения для рабов, отхожие места с наветренной стороны, дворы, оливковые деревья и выстроенные вокруг них опочивальни, канавы для мытья, кузницу, стены и огороды, где растут овощи и травы — в пищу и для лекарств.

К облегчению Пенелопы, многие из ее женихов отказываются жить здесь, предпочитая город. Они утверждают, что не хотят обременять ее, но служанки шепчутся, якобы дело в другом: ведь человек, который чует за собой

вину, боится узких галерей и темных углов больше, чем достойный. Медону тоже не нравятся эти залы, ведь в них непонятно, подслушивает ли тебя кто-либо именно сейчас; вот он и поджидал царицу снаружи, где личный разговор не так легко может стать достоянием гласности. Так что он пристраивается рядом с Пенелопой, будто — конечно же! — просто горит желанием поболтать с ней о всякой ерунде, одновременно заглядывая в вонючие пасти овец.

— Что ж, сначала Лефкада, теперь Фенера.

Пенелопа поднимает бровь. Она часами перед мутным бронзовым зеркалом училась великолепно выгибать ее в попытке подражать своей двоюродной сестре Клитемнестре, жене Агамемнона. У той величественная заносчивость выходит безупречно, и царице Итаки даже не снилось такое мастерство — но вот поднятие брови ей освоить удалось; это одна из немногочисленных черт блистательной Клитемнестры, которую Пенелопа смогла перенять.

— Ты хочешь сказать что-то, чего нельзя было произнести в совете? — спрашивает она, пока они идут через воняющий овчиной, жужжащий мухами двор, а Автоноя и Эос возятся на почтительном расстоянии с корытом для корма.

— Два месяца и два налета, и никаких вестей во дворец? Морские разбойники нападают только для того, чтобы заставить жертву откупиться. Их предложения не из тех, от которых легко отказаться.

— Как ты думаешь, — вздыхает Пенелопа, — что этим налетчикам нужно?

Чем можно разжиться на Итаке, кроме рыбы и руки вдовствующей царицы?

— К тебе не обращались?

— Я стараюсь не попадать в такие обстоятельства, когда ко мне смогут обратиться. Кем бы ни были эти налетчики и что бы им ни было нужно, как только я им

откажу, у них не останется причин сдерживаться. Ни один уголок моего царства не будет больше безопасен. В каком-то смысле нам лучше не вести переговоров, раз незнание о том, что предмета этих переговоров не существует, заставляет их вести себя сдержаннее.

— По-твоему, это называется «сдержанно»? Нападение на саму Итаку? А что, если бы они добрались и до дворца?

Она сжимает губы и не отвечает, глядит на небо, как будто удивляется, что в рамке двора бойни не видно солнца. Одна из овец блеет громче, а потом резко замолкает, когда нож рассекает кожу и кость.

Медон подходит ближе, так, что мог бы положить свою руку на ее, ближе, чем посмел бы любой другой мужчина. Может быть, он позволяет себе такую близость потому, что не воспринимает ее как женщину и уж тем более как желанную женщину. Он словно видит в ней не женщину, а друга. Иногда я завидую ей в этом. А богиня не должна завидовать смертной: обычно это плохо кончается.

— Думаешь, Пейсенор сможет защитить Итаку со своим ополчением?

— Нет. — Это прозвучало резче, чем она хотела, и на миг на ее губы просится другой вопрос, которого она не задаст: что думает по этому поводу ее сын? Подвергнет ли он опасности собственную жизнь ради чего-то, что невозможно защитить? Она встряхивается, открывает глаза и словно удивляется, что Медон все еще стоит рядом. — Есть... другие способы, я их как раз рассматриваю.

— Какие другие способы? — Она не отвечает, и он надувает щеки, воздевает руки: — Пожалуйста, плети заговоры, если хочешь, я не могу тебе помешать. Но я не слышал, чтобы ты овладела искусством уболтать разбойника.

— Мне нужно встретиться с новым женихом, — говорит она, ставя точку в этом вопросе, небрежно отворачиваясь. — Он египтянин.

— Какая диковина.

— Да, представь! Вероятно, его привлекает янтарь, который проходит через мои гавани.

— Это ведь не метафора, нет?

Вопреки самой себе она слегка улыбается, но улыбка угасает почти сразу же.

— Сначала поприветствую египтянина, — размышляет она, — а потом отправлюсь покататься верхом.

STONE HEDGE



Жили-были когда-то в Греции три царицы. Одна была целомудренна и чиста, другая — соблазнительница и развратница, третья — ведьма-убийца. Так слагают об этом поэты.

Все три были родом из Спарты, и смертная кровь у них была отчасти общая. Одна родилась у наяды. Эта дочь моря и жемчуга увидела однажды, как купается в устье реки Икарий, брат царя и спартанский царевич, и воскликнула: «Эй, царевич, оцени!» — или что-то в этом роде — и он, не раздумывая, заценил. Через девять месяцев наяда вышла из ручья за дворцом, отдала ему новорожденную дочь и уплыла, а он вежливо принял вопящий сверток, отнес на скалу и спокойно сбросил вниз, обрекши на явную смерть. Пролетавшие мимо утки, знавшие, что наяды, может, и не горят желанием воспитывать своих детей, но точно обидятся, если их отпрыска

кто-то бросит умирать, вернули Пенелопу на берег; а Икарий, правильно истолковав смысл их криканий, отнес ее домой, к своей смертной жене, с радостным криком: «Смотри, дорогая, боги благословили нас этим удачливым, но столь загадочным младенцем! Как нам повезло, а?»

Поликаста, жена Икария, должна была тогда сделать выбор, и ответ ее был странен. Ибо в день, когда ее муж пытался убить свою новорожденную дочь, Поликаста взяла ее на руки и сказала: «Ее будут любить», и она сказала это от всего сердца и от всей своей довольно разумной головы.

Это милосердие — это сострадание — совершенно сбивает с толку как богов, так и людей. Я не хочу думать о том, что это говорит о нас — о тех, кому поклоняются.

Так пришла в мир Пенелопа, которой суждено было стать царицей Итаки.

Остальные две царицы были дочерями моего брата и мужа, Зевса.

Примерно в то же самое время, когда Икарий развлекался с наядой, Зевс, царь царей, мощнейший из богов, влюбился в смертную дурочку по имени Леда. Она была замужем за Тиндареем, царем Спарты, — но ее вспомнят не как царицу, а лишь как ту, что выносила чужое семя. Священные узы брака — это для жен, а не для мужей; так что Зевс спустился к ней в образе лебедя. Он часто так делает: появляется в виде какого-нибудь раненого животного — когда птицы, когда быка, — хромает навстречу нежной деве, которая восклицает: «Ах, бедняжка, дай я обниму тебя!» И тут — бац! — когда меньше всего можно ожидать, это милое, невинное существо, которое ты прижала к груди, превращается в твоего голого брата, запустившего руку меж твоих бедер и приникшего губами к твоей шее.

«Я знал, что ты меня хочешь, — шепчет он, — я знал, что ты меня любишь». Ты вскрикиваешь: «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» — но всё без толку. Для него это лишь доказательство того, какая ты глупая, как мало понимаешь, на что способна и кем можешь стать, когда будешь принадлежать ему. А потом, закончив, он кладет голову тебе на грудь и мурлыкает, как то мягкое существо, которым притворялся, — кажется, он стонет: «Люби меня, люби меня, ах, как жестоко, что именно ты меня не любишь, а то, что я сделал, — это лишь чтобы ты поняла, как сильно я хочу твоей любви».

Потом он просит, чтобы ты гладила его по голове, и ты стараешься дышать беззвучно, пока наконец он не превращается снова в крылатое существо и не улетает. Таков мой брат и муж, величайший из олимпийцев, образец для всех мужчин, которого я знаю лучше всех.

Ну, короче говоря, Зевс спускается к Леде в образе лебедя, и она восклицает: «Ой, какой красивый!» А потом — оп! — оказывается, эта длинная шея и не метафора вовсе, и вот Леда уже несет яйца. Буквально рождает яйца, выталкивая их меж своих белых бедер. Из яиц этих потом вылупляются Кастор и Поллукс, вздорные тупицы, и Елена с Клитемнестрой.

Разберемся сначала с Еленой. Ущербные смертные, которых ослепило бы настоящее небесное сияние, считают ее самой красивой женщиной в мире. Красота лишь причуда, она меняется, как прилив. Когда-то и меня считали самой красивой, пока ко мне не привыкли и я не наскучила.

Также ее признают дочерью царя — даже владетель Спарты не будет поднимать особого шума, подозревая, что тот, кто обрюхатил его жену, может вдарить его молнией, если он будет плохо относиться к ребенку. И даже если бы она не считалась миловидной в смертном смысле,

быть полубожественной полуцаревной Спарты с точки зрения политики весьма даже неплохо.

Так что она выросла из младенца в ребенка, была похищена Тесеем — но это настолько запутанная история, что я даже думать про нее не хочу, — и наконец, вернувшись неопороченной ко двору своего отца, достигла возраста невесты. В этом была как возможность, так и трудность, потому что ее «как бы отец» Тиндарей ума не мог приложить, кого именно из великих правителей ублажить, а кого — разъярить тем, чтобы отдать ее руку. Когда сотня вооруженных мужчин, не желающих слушать отказа, соревнуется за награду, которую может получить только один, меньше всего стоит беспокоиться о том, что им всем будет не о чем поговорить друг с другом за пиршественным столом. Потом вдруг с какого-то острова непонятно где, на западном краю ойкумены, является непонятно кто по имени Одиссей и изрекает: «Я слышал, у Елены есть двоюродная сестра, Пенелопа, довольно хорошенькая. Отдай мне ее в жены, и я придумаю, как разрешить твои трудности».

Тиндарей перевел взгляд с орды женихов в своем зале на темный угол, где сидела юная Пенелопа, дочь Икария.

«Ну, не знаю, — сказал он. — Она, конечно, не Елена, но все же царевна Спарты. Ей бы все-таки мужа, от которого не несет рыбой».

Но Одиссей никогда не выдвигал предложений, если не был уверен, что на них все согласятся.

«Я принесу нам мир, — шепнул он. — Братство всех греков. Неужели дочь твоего брата не стоит этого?»

Так что они договорились, и по предложению Одиссея все властители Греции поклялись, что, кто бы ни женился на Елене, остальные придут ему на помощь, если он попросит. А кто бы не поклялся? Ведь каждый был уверен, что выберут именно его, так как именно он величайший

из мужчин. Эта героическая прореха в логике даже ледяную Афины заставляет орать от ярости. Так что они поклялись; и в конце концов Тиндарей выбрал Менелая, как и собирался сделать с самого начала, и все сказали, что это безобразие, ужасная несправедливость, но слишком поздно — слишком поздно! Они были связаны клятвой; сам Одиссей принес ее на алтаре Зевса в день своей свадьбы.

Когда поэты повествуют о придумках хитроумного Одиссея, они обычно не упоминают, как же получилось, что этот замысел пошел вкривь и вкось у такого умного-преумного государя. Потому что, гляньте-ка, Елена сбежала — или украдена, смотря кого спросить, — в Трою с этим уродцем Парисом, и вот Менелай и его старший брат Агамемнон посылают гонцов ко всем мелким греческим царям от востока до запада. «Ага! — восклицают они. — Мы идем войной на врагов на востоке, против царя Приама и всех его несчастных сыновей, и надо же, как удачно, вы все — все! — поклялись драться вместе с нами, защитить мужа Елены! Вот это да, вот это поворот, долго же о нем будут помнить!»

Агамемнону всегда хотелось заполучить богатства Приама. Говорят, именно Елена дала ему право на них своим предательством — но на самом деле это хитрость Одиссея сделала возможной такую огромную войну. Не будем об этом, говорят поэты, давайте лучше про циклопа, про Сциллу с Харибдой, вот это дело для мужчины, или про то, как он привязан к мачте и, слушая песню сирен, пытается вырваться из пут, и мышцы бугрятся под кожей — да, лучше про это, а не про ту первую, исполинскую, города срывающую, богов потрясающую мелкую ошибочку в расчетах.

А где нынче Одиссей? Ах да, он лезет под юбки Калипсо на острове Огигия, в то же время громко заявляя, что

любит жену и хочет убежать с этого блаженного острова чувственного наслаждения. Мое недовольство — холодный ветер, который заставляет ежиться любовника, но Калипсо, которой стоило бы распознать прикосновение гнева богини, так уверена в своей добыче, что всего лишь встает на мгновение с постели, где они совокупляются, чтобы закрыть распахнувшиеся ставни. Я до нее доберусь — погодите, я доберусь до нее.

На том судьбоносном пиру у Тиндарея, когда Елену отдали Менелаю, а Пенелопу отдали Одиссею в награду за его хитрость, было еще одно событие. Потому что именно там сестра Елены, Клитемнестра, привлекла внимание жадного Агамемнона, величайшего из греков, царя Микен, которому вечно мало. Она уже замужем, но Агамемнон всегда считал себя Зевсом среди мужчин. В лебедя и быка он превращаться не умеет, но, когда он пронзил мечом ее мужа и сорвал с нее окровавленную одежду, итог, в общем-то, вышел такой же. И, закончив, он отпустил ее горло, поднялся с нее и прошептал: «Теперь ты знаешь, как сильно я тебя люблю».

Потом он положил голову ей на грудь, и она не дышала.

И не дышала.

И не дышала.

Пока наконец он не встал и не ушел.

Именно так в Греции появились три царицы — три голоса, произносящих молитвы, которых ни один поэт-князь, муж-царь или царь наверху не услышит.



Зовут его Кенамон.

На самом деле его зовут гораздо длиннее, чем Кенамон, но он понял, что неотесанным варварам, грекам, настолько сложно запомнить его имя, что проще сказать: его зовут Кенамон из Мемфиса — и этим ограничиться.

Его корабль прибыл на Итаку дня два назад, и он был накормлен — уже успевшими надоесть бобами и рыбой, — встречен с крайней учтивостью и совершенно неуспешен в том, чтобы добиться встречи с царицей Пенелопой. Сам себя же он убеждает, что это не выводит его из равновесия.

Своим личным защитником или чем-то вроде того он числит Гора, и если бы я хотела, то могла бы сесть рядом с ним, засмеяться и сказать: «Гор? Гор? Этот пронира побоится и на шаг отойти от верховьев Нила». А вот Исида — это боевая женщина, она умеет доводить дела до конца; однажды я играла с ней в тавлеи на душу мантикоры,

и мы обе так жульничали, что получилась почти честная игра!

Когда он отплывал, череп его был выбрит, но за несколько месяцев дороги по морю на голове появилась неровная поросль, с которой он не знает, как справиться. Кожа у него цвета пустыни на закате, ладони большие и намекают, вероятно, на некоторое искусство в обращении с мечом, который он учтиво оставил в своей кишасей тараканами комнате. Брови его густые, черные, глаза — широко раскрытые, с янтарными и серыми точками. На нем длинная льняная рубаха, ожерелье из поливной керамики и браслет из яшмы, аметиста и сердолика, перевитый золотом. Он сидит в самом просторном дворе, между большим залом и воротами. Он нашел узкую полосу тени под сенью колоннады, где бегают по пестрым коричневым стенам коричневые пестрые ящерицы, и теперь смотрит, как выходят на воздух последние из пировавших здесь вчера женихов.

Они, как всегда, страдают от похмелья, и светлое время дня им придется провести, восстанавливая силы, чтобы ночью снова жрать, пить и лапать служанок. Таково ужасное бремя их жизни, жалуются они. Они хотели быть воинами и даже царями! Какая трагедия, что им приходится тратить юность впустую, пытаюсь жениться на какой-то высохшей старухе, так называемой царице Итаки, вместо того чтобы, как настоящие мужчины, участвовать в набегах, грабежах и уgone рабов.

Андремон — тот, у которого красивые мышцы рук, — говорит:

— Я слышал про разбойников. До чего дошло, если Итака не может защитить сама себя.

Антиной, темноволосый сын Эвпейтов, рычит:

— Проклятые наемники. У нее же есть деньги, почему она не наймет своих?

Амфином, дитя царя, который хотел быть воином, цокает языком:

— Все сложнее, и ты знаешь об этом.

Эвримах, длинноногий сын Полибия, высказывается:

— Я тут подумал: а что, если...

Антиной обрывает его:

— Никого не волнует, что ты думаешь, Эвримах, — и действительно никого не волнует.

Женихи не обращают на Кенамона особого внимания, проходя мимо. На Итаку прибывает много чужеземцев, чаще всего они закупают тут припасы, прежде чем плыть в Коринф или Патры. Только золото на его запястье, может быть, на миг привлекает их мутный взгляд.

Он ждет.

«Помолись мне, — шепчу я ему на ухо. — Помолись Гере, ради которой женщины когда-то резали горло львам и жгли плоть мужчин. Гор не услышит тебя теперь, ему все равно. Помолись мне — и, быть может, тебе не придется утонуть в крови в большом зале, когда все закончится».

Кенамон меня не слышит, а я не настаиваю.

Когда подходит служанка, он с готовностью вскакивает, будто щенок, которому наконец разрешили погрызть косточку. Она смотрит на него довольно равнодушно, видит просто чужеземца, а ее сердце выстукивает ритм, которого ему не слышно: «Смерть всем грекам».

Перепутанными, кривыми галереями и грубо вытесанными ступенями его ведут в небольшой зал. Это маленькое прохладное помещение, куда, к счастью, залетает легкий ветерок с моря, но не залетает буря. В нем стоит трон. Он не очень красивый. Одиссей решил, что будет правильно установить впечатляющее кресло с высокой спинкой, чтобы всем было ясно: он царь; но он сделал его меньше, чем любой трон Менелая или Агамемнона. Одиссей скромнен, когда скромность можно использовать как оружие.

Пенелопа не сидит на троне. Это был бы бред. Ее двоюродная сестра Клитемнестра напоказ правила с трона своего мужа, пока Агамемнон отсутствовал, и это породило множество слухов и постоянные споры, которые — Пенелопа не может не признать — наверняка делали управление страной гораздо сложнее. Так что она сама занимает сиденье пониже, рядом с тронном своего мужа. Достаточно близко, чтобы было ясно, что она его бережет; достаточно далеко, дабы дать понять: она на него не притязает. Они с Эос однажды ночью, пока мужчины спали, потратили довольно много времени, двигая сиденье туда-сюда и подыскивая правильное расстояние.

Женщины для этой встречи приняли свои обычные позы. Когда Кенамон входит, Автоноя наигрывает несколько нот на лире. Пенелопа рассматривает клубок, который Эос вытащила из корзины с мытой шерстью. Сама Эос чешет кудель. Всегда полезно показать новоприбывшему жениху картину благолепной женственности, произвести хорошее впечатление.

Кенамон, неуклюже стоя перед ними, не знает, насколько близко можно подойти и как далеко можно остановиться. Его дары уже переданы, и они гораздо лучше, чем ожидала Пенелопа, хотя она этого никак не показывает. Ей нравится, что он пытается держаться приличий. Пенелопе импонирует, когда кто-то старается делать все правильно.

— Благородная царица... — он кланяется по-настоящему, в пояс, но вскоре перестанет, все перестают, — какая честь для меня стоять перед тобой.

— Нам приятно твое присутствие, господин, — отвечает Пенелопа, оглядывая золото на руке, драгоценные камни на шее, цвет глаз. Он не мальчик, как большинство ее женихов. Мемфис еще не стал вдовим краем. — Многие люди приходили во дворец моего мужа, ища каких-либо

благ, но немногие прибывали из таких далеких стран, как ты. Поистине мы благословенны.

— Я пробыл здесь всего несколько дней, но уже чувствую, что Итака стала мне родной.

Автоноя дергает за струну — звук немного не настроен, слишком громок.

Улыбка Пенелопы не меняется, хотя в глазах появляется что-то, чего мужчина мог бы испугаться. Ко всеобщему изумлению, Кенамон это видит и, облизнув губы, предпринимает вторую попытку:

— Я имел в виду... радушие, благородство твоего дворца и твоего народа таково, что я словно окружен своими родственниками.

Уже лучше, египтянин. Лучше. Полей вина на мой алтарь, и я научу тебя, что говорить, чтобы завоевать греческое сердце. Твои фараоны просто стирают историю тех, кто им не по нраву, топят чернильные слова в молчании; наши живые поэты гораздо опаснее, потому что они знают, как сделать из человека чудовище даже после того, как он умер.

— Все, что мы можем дать тебе, все, чего ты захочешь, если это будет в моих небольших силах, ты получишь, — нараспев отвечает Пенелопа, изящным движением руки обводя зал, дворец, остров, небо и море.

— Госпожа, это очень любезно. Но на самом деле я хочу только одного.

— Ах, конечно.

Кенамон кусает губы. Если честно, Итака ему уже не нравится. Люди здесь грубые, нравы мужицкие, погода невнятная, еда невкусная, и вся эта затея — дурацкая. Но его послал брат, а он зависит от доброй воли брата, так что...

— Я чужой здесь. Я незнаком с вашими обычаями. В моей стране, если мужчина хочет добиться руки женщины...

— В твоей стране мужчины ведь не пытаются добиться руки чужой жены, верно?

Струна под пальцами Автонои звенит неприятным звуком. Улыбка Пенелопы тонка, как нож, который она скрывает в складках хитона, припрятав на спине. Кенамон открывает рот, и я чуть было не теряю к нему интерес: просто еще один жених, сейчас последует очередная ода ее белым персям и его львиной силе, бычьей удали и так далее.

Но он говорит:

— Госпожа, ты ищешь мужа?

Пальцы Автонои замирают на лире. Даже Эос отвлекается от кудели. Ни одна из них не упомнит, чтобы такой вопрос был задан хоть кем-то из десятков — сотен — мужчин, что проходили в эту дверь. Он такой странный, что Пенелопе приходится повторить его, растолковать себе самой, словно она учит родной язык Кенамона или будто он произнес это неразборчиво.

— Ищу ли... я мужа? Это... очень странная мысль. Мой муж — Одиссей. Его тела не нашли. Значит, он жив. Я замужем за ним, и эта связь нерушима. Поэтому я не ищу мужа.

— Понятно. — Кенамон слегка кланяется, думая про себя, что же сказать брату, когда вернется домой. «Эти греки, — скажет он, — они все сумасшедшие, совершенно сумасшедшие».

— Однако, — продолжает она, — все важные люди говорят мне, что я ошибаюсь: за время, прошедшее с падения Трои, мой муж наверняка погиб. Так что становится неудобно, чтобы он не был мертв. Когда воевал Агамемнон, Микенами управляла моя двоюродная сестра Клитемнестра, и ее, гм, способности вызывали меньше сомнений. Но ее муж был все еще жив, и всякому, кто навредил бы ему или его жене, грозило отмщение. Несмотря на то что воины Микен задержались в пути, их возвращение не вызывало сомнений: отцов и мужей, способных держать копье и защитить город от врагов. Ты заметил, наверное,

что у нас на Итаке плохо и с отцами, и с мужьями. Слава моего супруга пока что отпугивает захватчиков. Вдруг он вернется и с неудовольствием выяснит, что так называемые друзья грабили его земли в его отсутствие? Иллирийцы — варвары с севера, которые не понимают нашего уклада, — нападают иногда, но другие греки — нет. Пока нет. Имя Одиссея все еще сильно, видишь ли. Поэты упоминают его в одном ряду с Ахиллесом и Неоптолемом. Но идут месяцы, а он все не возвращается, и его сила слабеет. Страх, который внушает его имя, слабеет. Поэтому нужен кто-то новый, которого наши враги, а также наши менее последовательные друзья станут бояться. Ясно, что они не устроятся меня: я всего лишь женщина. Мой сын Телемах не имеет войска из опытных воинов и обученных бойцов. Поэтому нужен муж, хотя выйти замуж мне не представляется возможным. Ты получил ответ на свой вопрос?

«Совершенно, совершенно сумасшедшие, — скажет он брату. — Может, это море так влияет на разум, его головокружительно далекий горизонт». Но надо, по крайней мере, попытаться, хоть несколько месяцев, чтобы было ясно: он старался насколько возможно. А потому:

— Говорят, твой муж был мудрым. Разве он не понял бы, что тебе необходимо выйти замуж снова, чтобы защитить царство, защитить сына?

— Так говорят, да? Действительно, тот, кто хочет занять его место, должен быть великим человеком.

Кенамон обдумывает ответ. Пенелопа не возражает. Ей не так часто приходилось слушать молчание мужчины, и она готова насладиться этим новым ощущением сполна. Наконец он произносит:

— Мой брат торгует серебром и янтарем с севера. Он ведет дела в том числе и с торговцами, заходящими в твои гавани, которые держат в своих руках северные морские пути. Он очень самодовольный и глупый человек,

но у меня восемь братьев, а дома мне... не очень везло. Так что мне посоветовали сказать тебе, что, если ты выйдешь за меня замуж, то корабли с юга больше не будут торговать с другими и любой грек, который захочет золота, меди, пшеницы с Нила или благовоний с Востока, будет вынужден припасть к твоим ногам. Мне также посоветовали сказать и о том, что я неплохой воин — я действительно воевал, — и одновременно не сравнивать себя с твоим славным утраченным супругом и не порочить его подвигам.

Автоноя сидит с открытым ртом. Даже Эос покраснела от удивления. Пенелопа делает то, что обычно, когда боится, чтобы ее лицо не приняло нецарственного выражения: набожно смотрит в небо. Это уловка, которой она научилась у матери Одиссея, Антиклей, давшей своей невестке много советов, в том числе такой, как спрятать свое истинное лицо за красивой молитвой или чашей вина. Но Кенамон переступает с ноги на ногу и спрашивает:

— Я сказал слишком много, госпожа? Если я оскорбил тебя, то прошу прощения.

— Нет, совсем не оскорбил. Очень... неожиданно и приятно слышать, что мужчина так четко излагает свои предложения. Многие, приходя сюда, занимали мое время сначала речами о моей красоте, а потом — о своей. А вопрос о том, сколько воинов они приведут, чтобы защищать мой остров, и кого именно из соперников первыми убьют, они не затрагивали. Но они мальчишки, об этом нужно помнить.

— Соперников здесь часто убивают? — спрашивает он вежливо.

— Нет-нет, что ты. Долг хозяина и поведение гостя священны! Пролить кровь под сенью чужого дома непростительно. Но однажды кто-нибудь из них не выдержит и воткнет нож в спину другому. Я думаю, это будет Антиной, а может, Эвримах. Один из них точно или убьет, или

будет убит. Случится кровавая баня, неостановимая, богохульная и бесчеловечная.

— Ты, похоже, уверена в том, что все кончится плохо.

— Это вполне вероятный исход. Мы все усвоили урок моей двоюродной сестры Елены. Так что, когда я выберу одного из этих благородных мужчин, никаких клятв вечного братства между ними не будет. Скорее, те, кто не будет мною избран, соберутся вместе, чтобы убить счастливого, а когда убьют, превратятся из союзников во врагов и будут уничтожать друг друга, пока на руинах моего царства не останется один, последний, царь: либо самый жестокий, либо самый трусливый — кто уж получит в тот день благословение богов.

— Вряд ли ты хочешь такого. А что случится, если ты не выйдешь замуж, если позволено будет спросить?

— О, меня и моего сына обязательно попытаются убить. Как только нас не станет, единственным основанием для воцарения будет сила: если самый сильный жених быстро перебьет всех остальных, пока те не успеют вооружиться, то сможет, пролив реки крови, занять трон. Но, скорее всего, все кончится тем, что из Спарты придет Менелай и захватит в этом хаосе западные острова. Он никогда не упускает возможность.

— Понятно. — У Кенамона сосредоточенный вид ребенка, которому только что объяснили, что его любимый детеныш крокодила вырастет в ненасытного зверя. Может, и не все греки сумасшедшие. По крайней мере, не более сумасшедшие, чем любой, кто почувствовал в голодную ночь вкус крови и пепла. — Я признаю, госпожа, что убедительных причин взять тебя в жены ты перечисляешь не так много, как я ожидал... Впрочем, в этом и нет необходимости, ибо всякий, кто обладает зрением, способен видеть твои добродетели.

Она прищелкивает языком, кивает в никуда.

— Ну, раз ты так четко все разъяснил про себя, мне, вероятно, нужно сказать, в свою очередь, что моя мать рожала до возраста тридцати шести лет; что у меня отличные зубы и что я хорошо разбираюсь в хозяйстве, а также что меня для моего возраста считают достаточно миловидной.

К ее удивлению, даже изумлению, Кенамон начинает смеяться. Она не слышала мужского смеха уже... очень давно.

Она слышала, как мальчики, которые хотят быть мужчинами, пускают слюни на ее служанок и веселятся; как они гогочут пьяной шутке, ухмыляются жестокости и важничают по поводу вещей, в которых ничего не смыслят. Она видела, как Медон улыбается, словно говоря: «Будь я помоложе, мне показалось бы это смешным». И ей говорили, что Пейсенор однажды так хохотал над шуткой про испускание ветра, что чуть не умер, задыхаясь от смеха на полу. Она сама никогда не видела его веселым и иногда, в миг усталости, пытается представить это, но не может.

А Кенамон смеется, и это поразительно. Он упер руки в бока, раскачивается туда-сюда и, когда ему хватает дыхания, восклицает:

— Таких причин хватит за глаза любому мужчине, госпожа! За глаза хватит!

Автоноя улыбается шире и шире, ее глаза сверкают.

Из всех служанок именно Автоноя больше всего склонна к веселью. Эвриклея, няня Одиссея, пыталась отучить ее от этого битьем, но Автоноя увидела, как сильно ее веселье раздражает мучительницу, и стала веселиться еще сильнее, еще ярче, дерзко, назло, хохоча от удовольствия так, что ее чуть не продали в дом терпимости, пока Пенелопа не сказала: «Она мне нравится», и никто не возразил причуде царицы.

Даже у не улыбчивой Эос, которую отец обменял на бесплодную овцу, когда ей было четыре года, в глазах появляется что-то: если не удовольствие, то интерес. Эос давным-давно выучила, что нельзя давать ни малейшей искре освещать свое лицо, если только поздно ночью, когда никто не видит; но это — это что-то для нее совершенно новое и небывалое.

Пенелопа тоже улыбается. Она отвыкла от такого. Она не плачет перед сном каждую ночь: она практичная женщина, у нее много дел. Но никто и не горит желанием развлекать ее. Она словно хрупкая глиняная ваза, которую унылые слуги должны осторожно передавать из рук в руки, не смея дышать, чтобы ее пепельная глазурь не растрескалась. Считается неприличным смеяться в ее присутствии: в конце концов, она ведь вдова, страдающая по мужу. И поэтому, хоть она и помнит, что когда-то смеялась, нынче мало что веселит ее. До сего дня.

Она улыбается и встает. Египтянин тут же замолкает. Она протягивает ему руку.

Глупый чужестранец, он не знает, как опасно это движение, а потому берет ее руку и снова кланяется. Он не знает, можно ли в этой стране мужчине трогать женщину за руку, а уж тем более должен ли он коснуться ее пальцев губами. Он первый мужчина, чья кожа соприкоснулась с ее кожей за много-много лет. Это останется у нее в сердце, воспоминание яркое настолько, что в конце концов она раздавит, растопчет и выкинет его, чтобы оно не будило в ней тоску по несбыточному.

— Господин, — говорит она наконец, отнимая руку; всего лишь мгновение, и вот оно закончено, — я буду говорить начистоту. Если я выкажу тебе особое расположение на пиру, тебя убьют во сне. Связь хозяина и гостя освящена богами, но ты не один из нас, а женихи становятся беспокойными.

— Я могу себя защитить, госпожа.

— Я не сомневаюсь в этом. Но если тебя и не убьют во сне, то, выкажи я тебе расположение, во сне могут убить меня. Или моего сына. Безопасность зависит от равновесия: все, что я делаю, даже когда просто говорю какому-нибудь мужчине «да» или «нет», может опрокинуть равновесие и привести к кровопролитию. Ты понимаешь?

— Думаю, да.

— Хорошо. Тогда ты, надеюсь, поймешь, что хоть тебе и рады здесь, но я не буду встречаться с тобой наедине. Не буду есть за одним столом с тобой, не буду обсуждать Египет или те земли, что лежат между ним и Итакой, или языки, на которых ты говоришь, или чудеса, которые ты лицезрел. Иногда ты, может быть, улучишь возможность поговорить со мной и я отвечу так, как приличествует хозяйке. А ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Когда же уедешь, я попрощаюсь с тобой, и, конечно, нам всем будет жалко, что нас покинул столь благородный гость. Мне жаль, что должно быть так.

Поэты не будут воспевать Кенамона из Мемфиса. Он не подходит под песни, которые они поют.

Встреча с царицей окончена. Позже, бродя по берегу в полночной темноте, он придумает кучу остроумных вещей, которые стоило сказать, множество находчивых замечаний и очаровательных эпитетов, которые не пришли ему в голову, когда были нужны. К своему удивлению, он поймет, что произнес бы их не для того, чтобы произвести на нее впечатление, а просто чтобы она улыбнулась.

Теперь же он просто говорит:

— Спасибо, госпожа.

— Добро пожаловать на Итаку, — отвечает она.



Протолкнем же по небосводу колесницу Гелиоса, попросим Солнце чуть продвинуться над Землей.

Пойдемте, пойдемте — смотрите.

В храме, спрятанном в глубине чаши, женщина, на чьих руках кровь, а на ногах — свежие мозоли, падает наземь перед жрицей, от которой пахнет сосной и алыми листьями, и произносит: «Убежища».

На юге, за стихшим морем, гребцы налегают на весла, не дождавшись ветра, а черный парус вяло висит на мачте.

Я кидаю взгляд в воды Посейдона, но не решаюсь прошептать имя своего брата, не осмеливаюсь сказать ему об этих черных парусах и острове, куда они направляются.

Одиссей вскрикивает от прикосновения губ Калипсо.

Менелай держит Елену за загривок, отвернув ее лицо к стене. Закончив, он уходит, а их дочь Гермiona находит

мать на полу, полуприкрытую порванной одеждой, все еще глядящую в стену. Гермiona посмотрит на нее несколько мгновений, а потом отвернется и уйдет.

А под солнцем раннего вечера Пенелопа, Эос и Автоноя направляются верхом к Фенере.

С ними трое вооруженных мужчин: все они когда-то сражались под Троей. Никто из них не итакиец. Пенелопа собрала их за несколько лет, они из Спарты и Мессении, за них поручились и назвали разумными люди, которым она доверяет. Ее выводит из себя, что у нее так мало стражников, в которых она сможет быть уверена, если — или когда — придет роковой день.

Женщины выезжают из дворца, набросив на лица покрывала. Эос и Автоноя не обязаны этого делать, но им кажется правильным вести себя так же благопристойно, как их хозяйка. Покрывало Пенелопы серое, как перо молодого гуся. Иногда она заматывается в него, когда занимается ульями, что стоят в саду с пряными травами. Также она надевает его на вечерние пиры, если снисходит до участия в них, и сидит в стороне от мужчин, которые едят у ее очага.

И сейчас, на пути в Фенеру, она закутана в него и благодарна, что за тканью не видно ее глаз.

Местонахождение деревни больше не отмечает дым; теперь ее можно найти по кружащим в небе падальщикам, но, добравшись до места, женщины видят, что воронам немного кем удалось поживиться: либо теми, кто имел глупость оказывать сопротивление, либо теми, кто был слишком стар, чтобы быть угнанным в рабство. Мухам все равно. Их устроит любая лужа крови. Даресу кто-то прикрыл глаза, но это не останавливает насекомых, въедающихся в его разбухшую плоть. Большинство скота угнано. На некоторых рынках за несколько откормленных овец можно получить почти столько же, сколько

за человека не самой хорошей породы. Овцы точно принесут потомство, а с людьми еще неизвестно. Каждый дом вывернут наизнанку, полы вскрыты, в колодцы брошены факелы: тот, кто ограбил это место, искал тайные сокровища, спрятанные пугливыми руками.

Есть тут и живые, пришли из других деревень, вроде как оплакивать мертвых, а на самом деле порыться в останках сгоревшей деревни. В море уносит течением одинокую пустую рыбацью лодку. Три молодых человека собираются соревноваться в том, кто доплывет до нее первым и заберет себе. На Итаке почти нет детей младше семнадцати лет, а те, кто есть, зачаты от отцов, которые просто проплывали мимо. В этом деле главное — скорость.

Есть тут и жрецы, они пришли провести обряды. Это не так-то просто. Выживших мало, и ни у кого из них нет денег, чтобы заплатить плакальщикам за то, что они будут вырывать себе волосы и мазать лица пеплом сгоревших домов. Не будет мертвецам ни вырезанных в камне гробниц, ни даже ям в земле, украшенных земным имуществом покойного. Пенелопа шепотом просит Автоною послать за несколькими женщинами, чтобы они пришли и попричитали как следует. На Итаке много искусных плакальщиц, это ремесло почти так же востребовано, как рыбная ловля.

Среди жрецов, пришедших, чтобы выразить свое участие, есть несколько благородных мужчин из храма Афины, которые, поняв, что на войну им идти страшно, решили посвятить себя служению богине войны и таким образом избежали отправки под Трою. Я при каждом удобном случае напоминаю Афине об их лицемерии. Есть тут и несколько жриц — их стало заметно больше в последнее время, когда многие девушки на выданье обнаружили, что им не за кого выходить замуж.

Одна из них кажется здесь лишней — это жрица Артемиды, и она чаще умащает маслом головки новорожденных, а не поет грустные песни над умершими. Ее зовут Анаит. Как и большинство жителей Итаки, она скрывает тайну. В отличие от большинства жителей Итаки, она не привыкла к тому, чтобы скрывать тайны, и потихоньку сходит из-за нее с ума.

Пенелопа проходит через руины Фенеры со своими служанками. Земля пыльная, истоптанная, на ней видны следы: вот тут кого-то явно волокли, а он пинался, взрывая песок; а тут кто-то ногтями цеплялся за землю и камни, пока некий невидимый тащил его за шкирку к морю. Вот тут некто слишком сильно взмахнул мечом и попал мимо цели, ударил в стену, глина треснула, и бронза — тоже. На берегу остались продавленные кораблями длинные борозды, теперь в них набралась вода и бегают маленькие крабы. К северу, там, где берег изгибается, мокрый песок сходит на нет и сменяется черными скалами и округлыми серыми камнями; за ними высится утес, а к нему лепятся неряшливые деревья с тоненькими, хрупкими ветками и темными листьями: упрямая природа упрямого острова. В утесе пещерки, выемки, полуприкрытые острыми обломками скал и занавесями винограда. Некоторые из выемок естественные. Какие-то из них были естественными, но люди расширили их, веками отколупывая кусочек за кусочком для своих целей: иногда преступных, а бывало, что и похабных.

На камне под утесом собрались кучкой женщины, они что-то тянут из воды. На спинах у них пустые плетеные корзины, некоторые из них обвязали пояса веревками. Эти женщины, жены пропавших мужей, — такие же упрямые, как камни, — собираются залезть в эти самые пещеры, где, по слухам, контрабандисты Фенеры держали свои

сокровища. Женщины жестоко разочаруются тем, что найдут там.

Пенелопа приближается к ним, и они отходят, опустив глаза. Она кивает им и делает вид, что не замечает их снаряжения, выдающего тех, кто готов пожить в оставшемся без присмотра добром. Она глядит на то, что плавает в неглубокой отмели между черными блестящими скалами, — то, что женщины пытались вытащить на сушу. Кровь почти смыло отливом, хотя на камнях, поверх зеленой бахромы слизи и темно-синих водорослей, осталась по верхней линии прибоя тонкая алая полоска. Тело уже начало разбухать, но вода раздувает вокруг него хитон, и это не так заметно. Волосы, словно пена, плавают вокруг головы. Он всегда гордился своими волосами, упругими кудрями с медным отливом.

Женщины втаскивают тело на сухие камни, и под их пальцами его плоть скользит и оползает, как шкурка с луковицы. Они переворачивают его на спину. Мелкие рыбешки, что заплывают в каменистые отмели с приливом, кусали его за лицо и грудь, прозрачные прибрежные червячки обсасывали шелушащуюся кожу и серые глаза — этот человек — целый пир для них.

— Знает его кто-нибудь? — спрашивает Пенелопа.

— Да, — отвечает, не задумываясь, одна из женщин, потому что она честная; и тут же об этом жалеет, ведь на нее теперь смотрит царица, а она-то сама не пришла ли сюда, часом, для того чтобы украсть то небольшое, что осталось от незаконных богатств Фенеры? Вообще-то, да, именно за этим и пришла. Ну что ж, теперь уже поздно.

— Его зовут Гиллас. Он купец.

— Он... моих лет. — Царице не пристало упоминать свой возраст, но, когда на острове так мало мужчин и не с кем сравнить, иногда даже женщине приходится говорить о себе. — Он с Итаки?

— Нет, он из Аргоса, но бывал на севере и на западе. Торговал янтарем и оловом с варварами, а с микенцами — бронзой и вином.

— Странно, что я его не знала.

Они пожимают плечами. О мертвых не принято говорить плохо.

Эос опускается на колени, чтобы прошептать молитву, и получше рассматривает труп. Из двух служанок она более прагматична в вопросах смерти. Кровь, плоть, жидкости, гной — кто-то же должен этим заниматься, а хорошая служанка знает, как быть полезной. Она задирает его подбородок, видит маленькую рану между челюстью и горлом, отводит одежду, чтобы посмотреть, нет ли еще ран, не находит их, хмурится и бросает взгляд на Пенелопу.

Пенелопе вовсе не хочется вставать на колени на мокрый камень рядом с раздутым зловонным трупом, который выглядит так, будто, если нажать на него, мышцы лопнут и наружу полезут внутренности, — но ведь она пришла по делу. Она принимает позу, которая, как надеется, наилучшим образом выражает достойную царицы задумчивость: прижимает руки к груди и вслух — чтобы слышали другие — молится Аиду, чтобы тот был добр к несчастному и побыстрее пропустил его в Элисий. Автоноя отгоняет женщин, велит им принести ткань, чтобы закрыть тело, просит освободить царице место для молитвы. Если Эос всегда спокойна, то Автоноя в совершенстве овладела искусством произвольной истерики: в самый нужный момент она умеет пасть на землю и зарыдать.

Женщины отходят немного, и Автоноя шепчет дрожащими губами: «Какое горе!» — и эти слова уносит морской ветер. Было время, когда Эос и Автоноя не терпели друг друга, как огонь и лед, но годы научили их ценить те достоинства, что есть у другой, так что теперь Эос наделяет

подругу полуулыбкой, а потом снова обращает все свое внимание на мертвеца.

Этот Гиллас не молод. Пожалуй, он мог бы возить припасы под Трою, разбогатеть на золоте, украденном из города и отданном ему в уплату за зерно, что накормило войска Агамемнона. Но он и не сгорбленный старик. Он мог бы стать хорошим рабом. Пальцы его огрубели от весел и веревок, но живот кругл, и он хорошо поел перед смертью.

— Рана под подбородком, — шепчет Эос, пока Пенелопа, не особенно вдумываясь в слова, бормочет вслух еще несколько молитв, присоединяя их к более громким богоугодным восклицаниям Автоноя.

Пенелопа наклоняется ближе к телу. Ее пальцы ненадолго останавливаются на его груди, и она готова поклясться, что чувствует, как соленая вода выливается из дыр, прогрызенных в его скользкой коже, но знает, что это ей кажется, — и все равно отдергивает руку. Сердце Гилласа не пробито копьем. Меч не рассек его живот, и череп не вдавлен ударом молота.

Пенелопа смотрит вместе с Эос на единственную рану. Она не шире ее большого пальца, пробила и дыхательное горло, и позвоночник. Вокруг входного отверстия небольшое красное пятно, след от рукоятки лезвия, слишком маленького, чтобы быть мечом, — вероятно, ножа для чистки рыбы, обоюдоострого и смертельного. Эос отводит мокрые складки от ног Гилласа. На них сотня красных пятнышек, оставленных солью и морем, но нет порезов или синяков. Она проводит рукой по его животу и останавливается. Там что-то привязано, завернуто в кожаную ладанку.

Пенелопа говорит:

— Помоги мне, Автоноя, мне плохо.

Автоноя тут же опускается на колени рядом с Пенелопой, держит в своей ее левую руку, и теперь у трупa не

только благочестивая картина женской слабости и скорби, но также и три склоненные спины, которые прекрасно закрывают от наблюдающих то, что будет делать Эос.

Она достает из-под хитона ножик. Из-за морской воды кожаный шнурок стал прочным, но Эос долгое время была забойщицей скота, пока не стала служанкой царицы. Шнурок расходится под ее лезвием, и, сбившись тесным горестным кружком под своими покрывалами, они раскрывают сверток.

Внутри перстень, тяжелый, с единственным ониксом, а металл испещрен точками, как шкура леопарда. Пенелопа берет его из руки Эос, держит близко к глазам, чтобы не увидели наблюдающие за ними женщины. И говорит, сама себе не веря:

— Я узнаю этот перстень.

Эос смотрит на Автоною; Автоноя смотрит на Эос. Люди думают, что Автоноя верит в лучшее, но они ошибаются: она просто с большей готовностью смеется в лицо тьме. Сейчас не смеется никто.

Потом является жрец, один из стариков Афины, сплетник, лезущий во все дела, подходит, неодобрительно восклицая:

— Добрые жены! Что у вас тут такое?.. Ох!

Они поднимаются все вместе, перстень зажат у Пенелопы в кулаке, на лице Эос учтивая улыбка.

— Мы молились и думали о тех, кто погиб, — нараспев произносит Пенелопа. — Какой ужас.

В закатном свете приходят плакальщицы.

Они зарабатывают этим ремеслом на жизнь, пришли из деревни на другом склоне холма, одеты в свои самые рваные хитоны — какой смысл рвать приличные, если толком не заплатят, — по просьбе Автонои они встают в кружок и начинают выдирать себе волосы, царапать

лица и всячески шуметь. Мужчины перестают работать, чтобы выказать уважение. Местные женщины тоже собираются, из благовоспитанности присоединяют свои голоса к их стонам, хотя у большинства все слезы выплаканы уже давным-давно.

В тени под лучами заходящего солнца Пенелопа и Эос стоят в шаге друг от друга.

— На нас кто-нибудь смотрит?

Эос качает головой. Плакальщицы дают отличное представление — за то им и платят.

— Пойдем посмотрим на эти пещеры.

Не пристало царице карабкаться по острым скалам в пещеру контрабандиста. Афина поцокала бы языком, Афродита бы воскликнула: «Бедняжка, она же себе все ногти обломает!» — и притворилась, что упала в обморок. Может быть, лишь Артемида, богиня охоты, резко кивнула бы в знак одобрения. Но с ней никогда не поймешь: потому ли она одобряет, что ценит усилия смертных, или просто для того, чтобы своей грубостью и неотесанностью взбесить утонченных сестер.

Тем не менее именно к пещере и карабаются Пенелопа и Эос, а Автоноя остается внизу и, как только плач начинает стихать, добавляет к нему знатный вопль душевраздирающего отчаяния, чтобы зевакам, буде таковые придут, было на что посмотреть. «О добрый жрец! — кричит она, кидаясь к ногам Афининогo лицемера, когда его взгляд начинает уходить куда-то в сторону. — Что делать нам, несчастным женщинам?»

Автоноя никогда, до самой смерти, не признается — не снизойдет и не доставит никому такого удовольствия, — но иногда ей даже нравится ее работа.

Подъем к пещерам не такой тяжелый, как показалось вначале: многие руки хватали черный камень, многие

ноги протоптали по уходящей из-под ног скале тонюсенькую тропинку, невидимую, если не знаешь, куда смотреть; а вот если знаешь, то сразу видишь, что ее проложили люди. По ней Пенелопа и Эос и двигаются в сосредоточенном молчании, заправив полы хитонов под пояса, ударяясь коленками о скалу, и вот наконец добираются до первого каменного отверстия.

Пещеры Фенеры обобраны дочиста. Можно догадаться, где что было: тут пролито вино, там в пыли остался след от амфоры, здесь гусиные перья и помет коз, а вот и игральные кости, которые выронил пьяный моряк, ожидавший здесь прилива. Чего не нашли и не взяли себе разбойники, обнаружили и забрали женщины Итаки. Пенелопа пинает пыль, та вздымается облаком и снова укладывается на пол, мягкая, как закат.

— Странно, — бормочет она. — Я вроде как не должна знать о том, что в этих пещерах прячутся контрабандисты; мой совет понятия об этом не имеет. Так как же иллирийцы узнали, где искать?

Эос качает головой и не дает ответа. Тут ничего нет, и в других пещерах они также ничего не находят: лишь разграбленная пустота там, где должны быть тайны. Они как раз собираются возвращаться, как вдруг Пенелопа обращает внимание на еще одно место: всего лишь небольшой каменный навес, выдолбленный морем, под ним толком и не укроешься ни от бури, ни от солнца. На нем видна сажа, под ним — остатки костерка. Эос опускается на колени, трогает угли. Они остывшие, но холодный западный ветер и море еще не успели разметать ни золы, ни очертаний тела на песке: тут кто-то спал, свернувшись клубком для тепла.

— Еще труп?

Пенелопа подпрыгивает от неожиданности, тут же чувствует себя душой, но берет себя в руки и медленно

поворачивается на голос. Пришедшая приземиста и слишком толста для того, чтобы ее сочли красивой, редкие волосы зачесаны назад от высокого лба. По ней не скажешь, что она жрица, но всем на острове это известно, особенно женщинам: они знают, что благословение Охотницы бывает полезно в тяжелые времена.

— Анаит, — говорит негромко Пенелопа в полупоклоне жрице. — Я не ожидала увидеть тебя здесь.

— Вы нашли еще труп?

— Нет, нет. Только угли. Что привело сюда служительницу Артемиды?

— Многие в Фенере поклонялись Охотнице, — отвечает Анаит; всегда полезно лишний раз упомянуть свою владычицу, особенно если она такая взбалмошная, как Артемида. — До меня дошли слухи о нападении на Лефкаду, говорят...

— Я знаю, что говорят, — резко отвечает Пенелопа: может быть, резче, чем собиралась. Анаит поднимает брови: она не привыкла, чтобы ее перебивали; но, вероятно, царице позволительно, так уж и быть, надо сделать исключение. Все знают, что Пенелопа в трауре и, наверно, поэтому склонна к истерике, бедняжка.

— Прости, — добавляет мягче Пенелопа, качает головой, натянуто улыбается. — Похоже, что на Итаке не осталось ничего, кроме слухов. Ну да, на Лефкаду напали в прошлое полнолуние. Я не думала, что иллирийцам хватит наглости явиться на саму Итаку.

— А это были иллирийцы? — спрашивает Анаит, глядя на алое небо за каменными челюстями пещеры, будто ждет, что Артемида пришлет сокола в качестве ответа на ее вопрос. Не придет. Она слишком занята тем, что купается в лесном ручье, и ее такие вещи не волнуют.

Плакальщицы на берегу совсем разошлись, очень впечатляющее зрелище, у некоторых из них просто отличные

легкие, есть на что посмотреть. Автоноя тянет себя за волосы, но делает это осторожно, чтобы не выдернуть их на самом деле; правда, вид у нее получается растрепанный, разорванный, и она знает, что будет прекрасно выглядеть на фоне заката. Пенелопа внимательно смотрит на Анаит, видит лицо, иссушенное солнцем, руки, привычные к свежеванию туш и священному огню.

— Есть причины думать, что это были не они?

Та пожимает плечами.

— Я думала, что, чем угонять людей в рабство, выгоднее явиться к царице и пригрозить, что угонишь их. Получить откуп за то, чтобы не нападать, проще, чем нападать на самом деле. Меньше страдать от морской качки, и все такое.

— Так поступают наши храбрые греческие воины. Иллирийцы — варвары, им недоступны такие тонкие соображения.

— Золото есть золото. К тому же те тела, что я видела, были заколоты. Вот так. — Она показывает жестом удар мечом вперед. Анаит много раз ударяла живых существ своим ножом, так уж устроен мир. — А у иллирийцев сики, изогнутые мечи, ими рубят, вот так. — Снова показывает удар воображаемым мечом. Ах, если бы Анаит родилась мужчиной, как бы она любила это: она бы вызвала Гектора на поединок, не дожидаясь всей вот этой подростковой драмы по поводу убитых любовников. Афине нравится, чтобы перед схваткой прозвучала поэзия, драматичная речь о взаимном мужском уважении, но сущность Артемиды — это волк и лес. Она предпочитает сразу переходить к делу.

Анаит встряхивается, словно проснувшись, и смотрит не совсем на Пенелопу: она не любит глядеть в глаза, — но жрицы научили ее смотреть в зрачок другого так, будто общаешься с каким-то человеком внутри него. Это

иногда смущает людей, но, по крайней мере, Анаит делает все, чтобы вести себя сообразно своему положению.

— Два нападения за два полнолуния. Скоро будет еще кровь, — говорит она и продолжает так спокойно, будто они обсуждают цену глиняных горшков: — Семела пришла в храм с девочкой, Теодорой. Я уверена, что остальные примут ее, но, когда явятся морские разбойники...

— Я работаю над решением, Анаит.

— Разбойники не кролики, царица. — Мгновение она колеблется, будто хочет сказать что-то еще. Вот она, ее тайна, которую она хочет выкрикнуть, чтобы услышал весь остров. Не будь она связана клятвами своего сестринства, она бы и крикнула — выдала бы эту тайну, глядя на луну. Но хотя Анаит и не очень хорошо понимает людей, о клятвах она знает все досконально. А потому, будто ребенок, играющий с другим, она легко бросает:

— Благослови тебя Охотница! — затем поворачивается и убегает.



Под жадной убывающей луной на Итаку опускается ночь.

Именно в темноте Итака всего краше: убогие домишки из жесткого камня и потрескавшихся бревен становятся наконец убежищем, полным воркующей безопасности, накрывая, словно теплой ладонью, людей внутри, их шепот и взгляды украдкой. Именно шелест их тайн, проглядывающие во тьме лица тех, кто скрывается от всепроникающей ночи, и привлекли меня сюда — хотя осталась я здесь не ради этого. Мой муж нынче редко смотрит вниз с Олимпа, проматывая часы в обнимку с нимфами и за чашей вина, но, даже если он вдруг и бросит взгляд со своей высоты на запад, в этой тьме я смогу скрыть от него свой небесный свет. Я повелительница тайн, властительница скрытных затей, вы услышите мой шепот там, куда не ходят мужчины. Я и сейчас чувствую старую дрожь, вкус древней власти, в которой мне давно отказано. Когда-то

я была царицей женщин — до того как мой муж связал меня цепями и сделал царицей жен.

В свете лампы Пейсенор и Эгиптий, советники Одиссея, и несколько старейшин сидят все вместе недалеко от большого зала, из которого доносятся музыка и смех. Когда-то и отцы Итаки смеялись и пировали, но об их сыновьях уже восемь лет нет вестей, и в каком-то смысле это даже хуже смерти.

Пейсенор говорит:

— Нам нужна сотня копий. Не для Телемаха. Не для меня. Для Итаки.

Старики, хозяева пристаней и полей, оливковых рощ и торговых судов, неохотно смотрят друг на друга. Полибий, отец Эвримаха, заговаривает первым:

— У тебя есть люди на других островах. Привези их сюда.

От золотых волос отца осталось лишь несколько прядей, зачесанных поперек черепа, словно рваная рыболовная сеть, но ростом сын и отец похожи, и отец не дает годам согнуть себя.

— А кто будет охранять пристань на Гирии или рощи на Кефалонии? — укоряет мрачный Эвпейт, отец Антиноя. — У нас и так едва хватает людей, чтобы защитить нашу самую ценную землю, куда уж там всю Итаку.

Это не согласие с Пейсенором, конечно. Это просто несогласие с Полибием. Так обстоят дела между этими двоими. Когда-то они были лучшими друзьями, но потом стали болеть за притязания своих сыновей.

— До сих пор никто не предполагал, что Итака подвергнется нападению, — вклинивается Пейсенор, не давая Полибию с Эвпейтом начать шипеть друг на друга рассерженными змеями. — То, что произошло на Лефкаде, ужасно, но это было предсказуемо. А вот случай с Фенерой показал, что разбойники готовы нападать даже на самое

сердце царства Одиссея. Что, если бы они попытались похитить царицу?

— А кто возглавит это ополчение? Не ты. Не человек Одиссея.

— А кто, если не я? — рычит Пейсенор. — Что-то я не вижу среди вас хороших военачальников.

Эвпейт ерзает в своей длинной линияющей одежде. По краю подола идет яркая полоса кармина, невероятно дорогая ткань, подарок — говорит он — от старого Нестора: перед смертью знаменитый царь поблагодарил Эвпейта за его труды. Антиной не многому научился у отца кроме этого: если убедить достаточное количество людей в том, что ты человек важный, то постепенно это может стать правдой. Когда-то Эвпейт был близок к семье Одиссея, слыл верным другом Лаэрта и всех его родичей. Но то было до того, как его сыновья отправились на войну и не вернулись, оставив его лишь с двумя дочерьми и Антиноем. Он хочет гордиться тем сыном, который у него остался, но иногда забывает об этом и впадает в отчаяние.

— У Пенелопы есть сокровища. Нужно откупиться от разбойников, — говорит он.

— Какие сокровища? — рычит Пейсенор. — Награбленное золото Трои? Плод трудов ее мужа? Весь скот, что выращивается на ее земле, каждый кувшин вина и каждый мешок зерна идет на одно и то же единственное дело: кормить ваших сыновей. Вы видите на ней золотые украшения? Вы видите в ее волосах драгоценные камни?

Эвпейт жует пустым ртом, будто пытаясь распробовать воздух.

— Наша земля в опасности, это правда, — рассуждает он. — Иноземцы угрожают всем нам. Отвратительно, что Пенелопа принимает их в своем дворце. Стоило бы показать им силу нашего оружия.

— А кто защитит нас от твоих воинов, Эвпейт, если ты вооружишь их? — резко отвечает Полибий. — Если нападут на верфь, защитят ли ее твои мальчишки? Или ты будешь стоять и смотреть, как гибнет то, что принадлежит тем, кого ты не любишь?

— Тут дело не в верфях... — начинает Эгиптий.

— А мы должны поверить в то, что Полибий рискнет кем-то из своих, чтобы защитить житницы, если иллирийцы пойдут вглубь острова? — парирует Эвпейт. — Или он прикажет им отойти, пока мое зерно будет полыхать ярким пламенем?

Совет тут же превращается в яростную свару с обвинениями и оскорблениями. Я кидаю быстрый взгляд в затененные углы, ищу в жарких областях под землей Эриду, госпожу раздора, — не она ли пробралась в это собрание? — но нет, это только и исключительно человеческая глупость, без вмешательства богов. Невероятная в своей мелочной придирчивости.

— Я встану во главе... — начинает Эгиптий.

— Что? Человек, которого можно подкупить? — хохочет Полибий, а Пейсенор добавляет:

— Человек без опыта?

А Эвпейт продолжает, рыча:

— Человек, связанный клятвой верности Телемаху?

И они снова начинают спорить.

— Совместное командование, — наконец выдает Пейсенор. — Совет мудрейших Итаки.

— Так не выйдет, это будет...

— Эгиптий, Полибий и Эвпейт во главе, у каждого по двадцать воинов...

— Двадцать? Невозможно!

— Пятнадцать...

— У меня, по-твоему, есть пятнадцать лишних человек?

— Ладно, десять — это будет тридцать копейщиков. И еще десять предоставит семья Одиссея, это будет сорок. Телемах хочет служить... — снова почти все презрительно смеются. — Он приведет еще пять-шесть человек, и я надеюсь, что вы согласитесь: это слишком мало, чтобы доставить неприятности вашей дружине в тридцать молодцов. Я поговорю и с Амфиномом. У него крепкая рука, и его присутствие может удержать Телемаха от... проявлений юношеской дерзости.

Все молчат, шуршат сандалиями. Все недолюбливают Амфинома. Он не просто считается главой всех женихов, прибывших сюда из далекой сказочной страны «не Итаки», но и вдобавок неприятно дружелюбен и честен. Когда его спросили, что он будет делать, став царем, юноша тут же ответил: «Постараюсь прекратить тот горький разлад, что разделил добрых людей западных островов» — и, ко всеобщему изумлению, кажется, действительно имеет это в виду. Конечно, это выставило бы его идиотом, причем не меньшим, чем Эвримах, да вот только Амфином к тому же однажды при помощи мясницкого ножа и отломанной ножки стола уходил насмерть троих, пытавшихся отобрать у женщины на рынке козу. Такие душевные и физические качества не очень нравятся старейшинам архипелага.

— Я согласен. — Египтий встает первым. Решение принято. Эвпейт вторым дает понять, что согласен, пусть даже только ради того, чтобы обогнать в этом Полибия.

— Каждый приводит по десять копейщиков, в бой поведем их совместно. Никто не будет спорить с тем, что, собравшись вместе, мы вчетвером говорим за всю Итаку. Не только за сына Одиссея.

Под стенами Трои ахейцы шли за Агамемноном, а мирмидоняне — только за Ахиллесом. Вот здорово вышло, да?

Пейсенор ухитряется не вздохнуть. Все и так идет плохо, но другого способа он не видит. Так что он встает, смотрит в глаза мужчин, которые хотят, чтобы их сыновья заняли трон, и таким образом возникает очень глупый союз.

STONE HEDGE



Встает луна. Меньше чем через две недели она полностью скроет свой лик. А еще через тринадцать дней снова будет полной, и тогда любой, даже без помощи мощной и мудрой богини, скажет — безо всяких сомнений, — что да, конечно же, в эту ночь морские разбойники явятся снова. Их мелкий набег не потревожит мрачной задумчивости Ареса; блеснувшая сталь не отвлечет Афину от созерцания спящего на Оигии Одиссея. Но для острова Итака эта ночь станет кровавой.

А пока в большом зале дворца идет пир, как и должно быть. Кругом сидят женихи, на поясах у них нет мечей, но в улыбках — лезвия. Давным-давно в доме Пенелопы установили закон, предписывающий тем, кто садится за ее стол, быть невооруженными; ее возмущает, что правила приличия настолько истрепаны, что про это нужно объявлять особо.

В своих покоях, вдалеке от музыки и мужских криков, Пенелопа держит в руке перстень, которого не должно быть на этом острове, смотрит на морской горизонт, и ей кажется, что под густым светом убывающей луны она видит паруса.

— Пейсенор соберет свое ополчение, — говорит Эос, выкладывая на кровати чистый хитон. — Он уверен.

— Мальчишки с копьями, — отвечает Пенелопа, — ведомые мужчинами, желающими только одного: защитить свой урожай, пока горит поле соседа.

— А что говорит добрая мать Семела?

— Она считает, что мы не готовы. Однако женихи заждались; сойдем же вниз.

Эос неглубоко кланяется, кивает. Пенелопа сжимает пальцами матовый перстень: он стал теплый, как ее ладонь, и оттягивает ей руку.

Внизу, в пиршественном зале, плечом к плечу пируют мужчины, воздух теплый от их дыхания, слышен хруст разгрызаемых костей и скрежет зубов. Две служанки устанавливают в углу ткацкий станок Пенелопы, чтобы женихи могли наблюдать за тем, как она работает. Она тклет саван для своего свекра Лаэрта. Когда он будет закончен, она выйдет замуж — так она сказала.

Эта политическая уловка осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, Лаэрт жив-здоров на своем хуторе со своими свиньями и совсем не веселится от мысли, что его ожидаемая и неизбежная кончина стала на острове предметом стольких пересудов. Во-вторых, если что и стало понятно за многие-многие месяцы, пока Пенелопа пытается соткать довольно простой кусок ткани, так это то, что она невероятно неумелая ткачиха.

Кенамон из Мемфиса сидит немного поодаль от других женихов, а служанки приносят вино, мясо, фасоль, горох,

бобы, рыбу, другую рыбу и хлеб, чтобы макать его в подливку в ярко-красных потрескавшихся мисках. Кенамону еще не позволили влиться ни в одну из ватаг влюбленных мужчин. Местные, с Итаки, с подозрением относятся к чужеземцам, явившимся из-за моря, чтобы воцариться в их священной вотчине. Те, кто прибыл из более далеких мест, — женихи из Колхиды и Пилоса, Спарты и Аргоса — может быть, и с большей охотой возьмут египтянина к себе, вот только дадут ему повариться в собственном соку достаточно долго, чтобы он понял: в кровавой гонке к трону ему ничего не светит и его просто терпят за то, что он странноватый и безвредный.

Один из дворцовых псов — серый, лохматый, дряхлый, с пожелтевшими глазами, — который когда-то умел охотиться, а теперь лишь поводит носом вслед исчезающим хвостам проворных крыс, подбредает к Кенамону и тычется мордой ему в ногу. Женихи не очень жалуют псину, но свинопас Эвмей все еще готов погладить ее по пузу, да и Телемах ее любит (когда не витает в облаках); сын Одиссея, видя, как пес трется около жениха, подходит к нему.

— Аргосу ты нравишься, друг. — Телемах всех в зале называет «друг». Произносить имена женихов он не может, потому что его тянет блевать от отвращения и стыда, и он долго придумывал слово, которое сам сможет произносить с ядом, а другие услышат с цветами.

Кенамон чешет пса за длинным обвислым ухом.

— И он мне нравится. — И снова краткое молчание там, где должно было быть имя. Сначала хозяин, потом гость — вот так обстоят дела.

— Телемах, — неохотно признается сын.

— А! Сын Одиссея!

Еще одна вещь, которой Телемах научился, — это превращать болезненный оскал в улыбку. Ведь щуриться

нужно в обоих случаях. Но тут происходит странное: Кенамон встает и слегка кланяется, а в его голосе слышится почти уважение:

— Какая честь познакомиться с тобой. Говорят, что слава Одиссея затмила даже славу его отца. Раз так, то остается лишь диву даваться тому, кто ты таков и чего достигнешь. Я горд, оттого что смогу говорить всем, что встречал Телемаха с Итаки.

— Ты... смеешься надо мной, господин?

— Клянусь, что нет. Прости меня, я незнаком с вашими обычаями. Если я обидел тебя, скажи мне.

Телемаха обижает все и вся. Такая уж у него привычка. Однако этот чужестранец оказывается настолько чужим, что Телемах на миг безоружен.

— Нет, — выдавливают он наконец, — не обидел. Прошу, чувствуй себя как дома. Ешь и пей, делай что пожелаешь. Ни с одним гостем не обойдутся дурно в доме моего отца, пока у меня есть в этом доме место.

Это предложение Кенамону перевести сложно. Тут есть скрытые смыслы — то, что касается отца, владения, положения и того, кто именно что с кем делает. Но он не станет сейчас разбираться: просто кивает, улыбается и поднимает свою чашу, глядя на сына Одиссея, отпивает совсем чуть-чуть — ведь ночь, похоже, будет длинная — и говорит:

— Ты оказываешь мне честь; ты оказываешь честь нам всем.

Телемах ухитряется кивнуть, вместо того чтобы надуться, и отворачивается.

Когда спускается Пенелопа, мужчины колотят кулаками по столам, создают какофонию. Когда-то это было знаком почтения, приветствием хозяйки. Теперь стало громом, нападением, издевательством, на что Пенелопа не обращает внимания, как будто это южный ветер, щекочущий нос.

Служанки несут мясо.

В доме Одиссея почти сорок женщин разного рода занятий. Некоторые родились на Итаке, дочери вдов, которые не могли прокормить своих сыновей, а потому повернулись к дочерям и сказали что-то вроде: «Меланта, это ради твоих братьев», когда пришли работоторговцы. Многие — не с Итаки, и их жизнь на острове одновременно и хороша, и плоха. Да, западные острова некрасивые и жесткие, воняют рыбой, и пиры в этом дворце совсем непохожи на щегольскую роскошь дворов Агамемнона или Менелая. Однако Пенелопа не убивала своими руками мужчину, чтобы изнасиловать его жену, не похищала девочку, чтобы жениться на ней, не глумилась над трупами врагов, не била младенца головой о камни, а ее род не был замечен ни в инцесте, ни в поедании людей. В этом смысле она нечто вроде аномалии среди монархов Греции, да и среди богов Олимпа.

Некоторых служанок мы уже знаем. Смеющаяся Автоноя, которую Гагий из Дулихия попытался однажды прижать к полу на кухне, отчего в результате остался без глаза. Тихоня Эос — она ведет себя так, чтобы никому и в голову не пришло иметь на нее виды, к тому же сидит так близко к ногам Пенелопы, что даже самый дерзкий жених понимает: хозяйка будет рассержена, если что-то случится со служанкой. Но есть другие, очень много других, вот они ходят по залу.

Эвриклея, нянька, с мутным взглядом и языком змеи, маячит у двери. На самом деле здесь ее быть не должно, потому что на пиру заправляет Автоноя. В действительности у кормилицы нет вообще никаких обязанностей, она вольна идти куда хочет, но все еще торчит в дворце, приставучая, как застарелая вонь, мрачно зыркает на молодых служанок, воркует с Телемахом и, насупясь, рассказывает о том, как нынче не так, как раньше. Если бы

царица Антиклея на смертном одре не попросила невестку «не оставить» Эвриклею и если бы Телемах не бросался вмиг на ее защиту, Пенелопа давно бы отправила эту согбенную старую кошелку в какой-нибудь дом на Гирии, чтобы между нею и острым языком Эвриклеи пролегал широкий пролив. «У тебя волосы грязные! — рывкает кормилица на служанку или, почуяв сладкие запахи с кухни: — Что за вонь?! Кто так готовит?»

Ее чуть не сбивают с ног: это Феба пробегает мимо, неся еще вина для мужчин, проскакивает под сложенными на груди руками Эвриклеи с «ой, извини, привет, да я тут, можно, ага!». Феба маленькая и верткая, как лисичка, ее мать тоже служила во дворце Одиссея и так хорошо ограждала дочь от мира за его стенами, что той было почти пятнадцать, когда она впервые потрогала свои укромные места, и уже семнадцать, когда, хихикая, упала в объятия подмастерья кузнеца. Теперь этого мальчика нет, но во дворец Пенелопы, чтобы посвататься к царице, приезжает много молодых людей, и у Фебы богатый выбор покровителей с красивыми улыбками и хорошими зубами.

Вы должны понимать, что служанки тоже не чужды чувственности.

Вот, к примеру, Меланта, проданная своей матерью для того, чтобы лучше жилось ее братьям. Когда на Итаку прибыли первые женихи, она попробовала нескольких, зачарованная этими странными мужчинами, вошедшими в их женский мирок. С тех пор она поняла, что самое вкусное — это безопасность, а потому, оставив никому не известных ничтожеств, сидящих далеко от огня, она сделалась доступной для мелкого господинчика, желающего стать царем, хозяином всей Итаки, и теперь чаще всего можно видеть, как она склоняется над столом Эвримаха, нависая грудью чуть ближе к его носу, чем, собственно,

требуется. Любовник он не выдающийся. Но вот его обещания — это чистый нектар.

— Милая Меланта, — воркует один из женихов, — у тебя такие красивые глаза.

Или:

— Феба! Я не видел раньше этих бусин на твоей руке: тебе подарил их любовник?

Или, может быть:

— Увидимся позже?

— Ты пьян.

— Я почти не прикасался к вину. Испытай меня, я выдержу любое испытание.

— Люди смотрят.

— Но никто не видит. Увидимся позже?

— Может быть. Если будешь вести себя прилично.

Рука мужчины соскальзывает под столом с лодыжки служанки. Некоторые говорят, что целомудренная Пенелопа должна и среди домочадцев блюсти такую же чистоту. Старая Эвриклея шипит и бормочет, что это стыд и позор! Телемах, бедняжка, еще не понимает, но, когда поймет, как он будет рассержен и изумлен, какое возмущенное презрение он будет изливать на бесстыдство этих женщин! Ведь это женщины бесстыдны, не мужчины. Мой муж Зевс это давно прояснил, а смертные учатся у своих богов.

А вот еще посмотрите сюда — есть служанка, которая трудится вместе с остальными, ее волосы цвета запекшейся крови, взгляд вдавлен в пол. Ее зовут Леанира, и в сердце ее и глазах колотится ритм, который бьется в ее теле с того самого дня, как ее вырвали из Трои: «Смерть всем грекам». Мы не раз еще упомянем ее, пока доберемся до конца нашей истории.

Леанира, Феба и Меланта, Эос и Автоноя — эти женщины и еще дюжина других прислуживают на пиру. Когда женихи только появились на Итаке, служанки были такие

же ледяные, как и их царица, замороженные, почти немые. Но это было почти год назад, а эти мужчины — эти мужчины! Они думали, будет так просто забраться в постель к Пенелопе, а когда оказалось непросто, то что им оставалось делать? Что будет делать любое теплокровное существо?

В стороне от всего этого сидит и ткёт Пенелопа, рядом с ней — Эос, охраняет ее, как Аргос в свое время охранял своего хозяина Одиссея. Андремон, тот, у которого красивые руки и нахмуренные брови, сын какого-то далекого восточного владыки, способный метнуть диск так, что никто из женихов не может соперничать с ним, с голосом глубоким и томным, как его глаза, подходит к ткацкому станку.

— Могу ли я поговорить с хозяйкой дома?

Стол за его спиной занимает Антиной со своей свитой итакийских мальчишек — мальчишек, которые знают, что им царями не быть, но думают, что, может, Антиною это удастся, — и они гогочут и насмеваются над дерзостью Андремона. Эос, хранительница ступеньки, смотрит на него несколько мгновений, потом наклоняется и шепчет Пенелопе на ухо. Та шепчет что-то в ответ. Эос делает шаг в сторону: он может подойти.

— Госпожа... — Начало очередной речи: сейчас заведет про любовь, или про богов, или, может, если повезет, предложит подарки. Пенелопа обожает подарки. С их помощью удастся оплатить вино. — Говорят, у вас неприятности с морскими разбойниками.

Пенелопа — очень плохая ткачиха. Ее пальцы на миг замирают над станком. За спиной у Андремона Антиной пытается шутить, насмехаться над соперником, но его не слышно в шуме, поднявшемся за столом Эвримаха. Эвримаху вряд ли светит царский венец, но отец его Полибий имеет достаточно должников, чтобы те, кто идет за его сыном, были вынуждены верить в него.

— С налетчиками справятся, — отвечает наконец Пенелопа. — Пейсенор собирает войско.

— Я слышал об этом и уверен, что войско будет очень храбрым.

Некоторые в нем наверняка будут храбрыми. Аякс был храбрый. Патрокл был храбрый. Гектор был храбрый. Одиссей, когда висел, цепляясь за ветку оливы, над разверзшимся водоворотом, в который целиком уходили корабли, молил и молол чепуху, взывая к милости богов, и в общем и целом у него жизнь идет довольно успешно.

— Надеюсь, тебе нравится пир, Андремон, — задумчиво говорит Пенелопа, дергая за нитку так, будто надеется, что она зазвенит, как струна. — Нет ли у тебя в чем нужды?

— В морях множество опасных людей, госпожа. Воины из-под Трои, которые считают, что не получили того, что им причитается. Я знаю некоторых из них. Мне известно, что они думают, чего хотят.

— Что они думают... чего хотят... — повторяет она. — Скажи мне: как ты считаешь, получают ли они то, чего хотят? Будут ли хоть когда-нибудь довольны, пока у кого-либо другого есть больше, чем у них?

— Если хочешь, я мог бы выступить от твоего имени. Поговорить с теми, кто, как и я, умеет сражаться. У меня много братьев из-под Трои.

Его рука сама собой поднимается к камешку, который он носит на кожаном шнурке на шее. Он не крупнее его большого пальца, отполирован прикосновениями и песком, а в середине его — сквозная дырка. Такое можно было бы подарить ребенку, если бы не было чего-то лучше, но вот только Андремон, если его спросить — а его спрашивают, — с готовностью излагает его историю и говорит так: «Это кусочек камня из стен Трои. С ним я отсюда вернулся — без рабов, без золота, ибо мне не по чину

были такие награды. Я вынужден был полагаться на щедрость своего господина. Мой господин не оказался щедрым, но этот камень — я все еще ношу его, чтобы помнить».

Что за воспоминания заключает в себе камень, он не объясняет. Ведь ему известно, что умолчание — ключ к воображению слушателя, а оно обычно оказывается куда богаче правды.

Вот и теперь Пенелопа видит, как он обхватывает пальцами камешек, и слегка улыбается под своим покрывалом, придавая голосу некоторую жеманность:

— Это было бы очень любезно с твоей стороны, но я не вправе просить гостя о таком одолжении.

— И все же. Ради Итаки.

— Твоя щедрость поражает меня. Но не тревожься: Итака сможет защитить себя.

— Как скажешь. Однако меня заботит, госпожа, что нападения не прекратятся, пока за дело не возьмется кто-то... более знакомый с тем, как думают мужчины. Надеюсь, я не оскорбил тебя, но я так вижу.

— Я совсем не оскорблена и полностью понимаю, что ты имеешь в виду. Спасибо, Андремон, я ценю твою прямоту.

Его отпускают слишком быстро, по его мнению; он бы с радостью остался на месте и довел свою точку зрения до Пенелопы при помощи пощечины — но такое невозможно. Поэтому он вынужден улыбнуться, поклониться и отойти, а свое бессильное раздражение ему придется выпускать в другом месте, где его увидят только боги.

Пенелопа не смотрит ему вслед, вместо этого она спрашивает:

— У нас за ним кто-нибудь следит?

Эос кивает, пропуская между пальцами нить. Пенелопа излишне сильно натянула последний ряд. Ах-ах-ах, какая

жалость, придется его распустить, чтобы исправить ошибку, понемножку выдерживая ут́ок, разравнивая основу.

Теперь подходит советник Медон, но он старый, а поэтому в глазах женихов не имеет веса. Он спокойно стоит у кресла Пенелопы, глядя на зал.

— Что Андремон? — спрашивает он.

— Предлагает свой военный опыт.

— Какой молодец.

— Своеобразное время он выбрал для разговора.

— Он пытается торговаться?

— Еще нет. А если и начнет, то мы явно не в выигрышном положении... Может быть, это совпадение.

Медон хмурится, обдумывая эту мысль, а Пенелопа улыбается и говорит:

— Антиной, сын Эвпейтов, предложил мне все зерно Элиды.

— Очень ценное.

— Эвримах, сын Полибов, предлагает мне торговый флот, способный держать в руках торговлю янтарем от северных гаваней до самого устья Нила.

— Выгодное приобретение. А египтянин?

— Ну, египтянин. У него красивые волосы.

Медон подавляет смехок, однако хоть и продолжает улыбаться, но говорит теперь без иронии, по одному сценическая слова из уголка рта:

— Я гляжу, саван продвигается медленно.

— Сложно сосредоточиться, когда так переполняют женские чувства. В Фенере убили человека по имени Гиллас. Он не наш. Советникам может показаться, что стоило бы разузнать про него побольше.

— Думаешь, может?

— Если будет позволено женщине давать советы.

Медон кланяется, ниже всех в этом зале. Он помнит Пенелопу еще почти девочкой, когда она только прибыла

на Итаку, съезжившись на корме лодки Одиссея. Он видел, как она взрослеет, и хотел бы однажды выразить ей что-то осмысленное по этому поводу; но слова слипаются на его губах, и невместно ему произнести такое.

— Я выясню. Кажется, твой сын хочет чего-то от тебя.

Телемах смотрел на них с другого конца зала, а теперь подходит. Ему не нравится очень часто появляться рядом с матерью. Он теперь мужчина, а не мальчик; нехорошо прятаться за материнскими юбками. Но есть дела, требующие обсуждения, да и женихам полезно видеть его присутствие, уверенную защиту, которую он оказывает женщинам своего дома. Медон снова кланяется, когда царевич приближается, и тихонько уходит.

— Чего хотел Андремон?

Пенелопа улыбается сыну, ее улыбка тонкая, как молодой месяц.

— Помочь чем может. Я слышала, Пейсенор договорился о сборе ополчения.

— Да, и я намерен служить в нем.

— Нет, так не пойдет.

— Матушка, я...

— Я не позволю ставить на кон твою жизнь ради какого-то... подвига.

Он замирает, вытягивается, и в нем появляется что-то от отца: так Одиссей запрокидывал голову, глядя в глаза самому Гермесу и вопрошая: «Эй ты, в прикольных сандалиях, что задумал?»

— На что же еще тратить свое время мужчине, — резко говорит Телемах, — как не на подвиги?

И отворачивается, не дав ей ответить, ведь она наверняка станет отговаривать его, призывая на помощь здравый смысл.

— Телемах! — воркует Антиной. — Телемах! Тебя мама снова в угол поставила?

Рык ярости, вспышка бешенства — у Одиссея тоже ужасный нрав, но он научился превращать огонь в лед, в точность стрелы, а не в ярость топора. Телемах еще до такого не дорос, поэтому он поворачивается к Антиною и рывкает:

— Мне не нужно ждать возвращения отца, Антиной. По крови и по силе я царь этих островов и только ради чести твоего отца и ради законов, установленных богами, разрешаю тебе пировать за моим столом!

Антиной вскакивает, его мальчишки — за ним. Остальные тоже встают. Музыканты постепенно замолкают: они уже играли эту мелодию. Кенамон наблюдает из своего угла.

— Ты слышишь? — шипит Антиной. — Слышишь, как певцы воспевают твое имя? Как люди возглашают его на улицах? Нет. И я не слышу. Пойди спрячься за спиной у женщины, мальчишка. Попроси мамочку защитить тебя. Когда стану царем, я сделаю так, чтобы тебе ничто не грозило.

Пенелопа тоже встает. Да, она хозяйка и должна соблюдать установления. Она не может навредить своим гостям, а они — ей. Но кто расскажет, что произошло на самом деле, когда те, кто пирует у ее очага, достанут кинжалы? Только поэты, а поэтов можно купить.

— Антиной, — вполголоса пытается призвать его к порядку Амфином, спокойный, неторопливый, не сводя глаз с лица Телемаха, хоть и обращается к другому жениху. У него с полдюжины сторонников за спиной, из таких же далеких земель, как он сам.

Антиной выпячивает грудь перед сыном Одиссея.

Эвримах пересчитывает мужчин в зале. Мечей у них, может, и нет. Но есть ножи, которыми можно резать противника, сиденья, кои можно в него швырнуть, столы, о которые можно разбить ему голову. Каждый из женихов

теперь смотрит на соседей слева и справа, прикидывая, кто враг, кто союзник, а кто трус, который просто сбежит.

Телемах сжимает кулак. Рука пока что опущена. А Антиной — недоумок, и он пьян. Он втягивает губы, потом выпячивает и с негромким чмоком посылает Телемаху влажный, похотливый воздушный поцелуй.

Телемах качается, будто его ударили. Рука Амфинома ложится на нож на столе. Я приказываю воздуху застыть, а времени — приостановиться: так замедляется море, перед тем как развернется водоворот; так задерживает дыхание океан, до того как прилив сменится отливом. Взгляните со мной, как разворачиваются события, посмотрите на мир глазами богини. В Дельфах вскрикивает пророчица, царапывает ногтями лицо, а золотая статуя над ее огнем начинает плакать солеными слезами. На Оигии Калипсо прикусывает губу, чтобы не вскрикнуть от наслаждения, — Одиссею в последнее время надоели ее восторженные крики, хотя, несмотря на свою мрачность, он все еще приходит к ней в постель, зажимая ей рот рукой, пока делает свое дело. А у туманных берегов Стикса Кассандра, проклятая знать все и не убеждать никого, досадливо грозит пальцем бесконечному туману и произносит: «Ну я же говорила». Теперь, когда ей перерезала горло мстительная царица, она чаще позволяет себе высказываться начистоту.

Жизни смертных — лишь летящие искры, но давайте сейчас поймем одну и проследим, как она будет сгорать и превращаться в пепел. Посмотрите, как будет разворачиваться время с этого мига, как родится будущее, которое пока лишь возможность. Эринии чистят перья в своих чертогах из расплавленного камня, слепая сова вскрикивает в темноте, и вот: ни Телемах, ни Антиной не нанесут удара, потому что понимают, что оба умрут, если сделают это, нарушив священные заветы гостеприимства. Но ни один не может отступить, поставить под вопрос

свое мужество, хоть за спиной и нет войска, и поэтому... и поэтому... Ах да, вот и он, один из женихов по имени Нис, глупый Нис с гнилыми зубами, — он разобьет горшок о голову Телемаха. Он сделает это не потому, что продумал последствия — Нис вообще не думает, — а потому, что хочет произвести впечатление на Антиноя, показать, как он верен тому, кто может стать царем. Так что, ухмыляясь, скалясь в идиотской улыбке, он поднимется с места, размахнется изо всех сил, осыплет голову Телемаха глиняными осколками и таким образом прольет первые алые капли в кровавой реке, что впоследствии.

Скользкий удар не убьет сына Одиссея: его род славится толстыми черепами, но в этот миг мирная жизнь Пенелопы разлетится вдребезги тоже, и с этого момента будет иметь значение только сила воина, сила мужчины. Телемах в ярости развернется на месте, с налитыми кровью глазами, и швырнет Ниса наземь. Ухватив его одной рукой за горло, Телемах будет сжимать и сжимать, пока у того не выпучатся глаза, не вывалится язык, а ноги не перестанут судорожно колотить воздух, а Амфином не успеет оттащить царевича вовремя: в глазах Ниса померкнет свет, и он станет первым трупом этой бойни. Потом, в мужественной сутолоке вокруг этой смертельной сцены, кто-то из людей Амфинома слишком сильно пихнет одного из людей Антиноя, а тот ответит тем же, и начнется свалка, и один из людей Эвримаха вытащит маленький меч, который скрывал под складками одежды, нагло пренебрегая правилами гостеприимства. Он увидит хаос, услышит рев голосов и крики: «Измена, измена, убийство!» — и воспользуется возможностью: ударит Антиноя под ребра, думая, что никто не заметит (хотя на этот зал будут смотреть уже все боги Олимпа), а потом, надеясь скрыть свое преступление, отбросит оружие, как только побледневший жених упадет.

Таким образом Антиной, а с ним еще семеро погибнут тем вечером, и вдобавок десятеро позже умрут от ран. Пенелопа скроется. Телемах силком затащат в безопасное место, и он будет орать, как его отец — перед сиренами. Пейсенор ворвется в зал, чтобы прекратить безобразие; он погибнет, когда кто-то сильно оттолкнет его и он ударится головой о каменную стену. Погибнут и две служанки, которых схватят и изнасилуют те из женихов, кто, видя, что клятвы нарушены и разразилась война, не найдут лучшего способа доказать свое крошечное вялое мужество, кроме как подчинить своей власти кого-то, кто этого не хочет.

Я прикрываю глаза, глядя на разворачивающееся пророчество, но вижу, вижу: мы не должны бояться, я и вы, увидеть будущее во всей его полноте.

Когда тело Антиноя принесут к Эвпейту, тот зарыдает и провозгласит о такой любви к сыну, какой никогда не выражал, пока тот был жив. Любовь — конечно, это месть. Даже поэты это понимают. А потому Эвримах и его отец Полибий не станут давать Эвпейту неделю на скорбь, а перебьют всех в его доме еще до того, как душа Антиноя дождется Харона и переправы через Стикс. Потом они отправятся во дворец, чтобы захватить Пенелопу и трон, но она... Ее уже там не будет. Она успеет добраться до маленькой бухты, где спрятана некая быстрая лодка, которую могут вести на веслах шесть сильных мужчин — или шесть крепких женщин, — и через узкий пролив сбежит на Кефалонию, чтобы спрятаться там, среди благородных людей этого острова.

Телемах не сбежит. Он будет защищать свой дворец, кидая копья с верха разрушенных ворот, и еще до того, как потемнеет луна, они с Эвримахом умрут от ран; а Менелай уже выдвинется из Спарты под алыми парусами, потирая руки: не беспокойтесь, малыши, сейчас дядя Менелай наведет порядок. Дядя Менелай все сделает как надо.

Так падет дом Одиссея. Если только...

Я простираю руку вглубь себя, к той потаенной силе, которую не показываю ревнивому взору мужа. Это очень опасно: о, если меня увидят, меня ждет расплата, — но, может быть, что-нибудь маленькое, что не привлекло бы взгляда Олимпа, например удачное нападение кобры, это я могу устроить — не самый тонкий ход, конечно, но если уж приспичило...

Влажный поцелуй Антиноя висит в воздухе между ним и Телемахом. Сын Одиссея готов нанести удар. Глупый Нис готов подняться с места.

А потом — и вот этого я не предвидела — пророчество меняется. В той самый миг, когда кровь, неистовство и святотатство должны были сорваться с цепи в этом пиршественном зале, вдруг встает Кенамон, он делает шаг вперед и произносит со своим странным выговором:

— Простите, я незнаком с вашими обычаями. Мы встанем, чтобы выпить в честь Одиссея?

Я, не веря своим глазам, смотрю на египтянина, и все остальные — вероятно, тоже. Кенамон, великолепный ты смертный, я бы сжала обеими руками твое лицо, если от моего прикосновения ты не умер бы на месте, я бы тебя расцеловала, честное слово.

А потом слышу.

Звук настолько тихий, что даже для моего небесного слуха он еле уловим, а для маленьких смертных мозгов неслышен вовсе. Я слышу его в последний миг, перед тем как он исчезает: вот он, вот он, шум белых крыльев.

И я снова смотрю на египтянина и вижу слабые следы прикосновения другого бога, незаметный божественный стимул, угасающий на его лице.

Вот же проклятье.

Твою ж титаномахию, в Тартар и Цербером тебя три раза налево!

...Некогда сейчас.

Телемах мгновение колеблется между собственной ошеломляющей подростковой идиотией и крошечной крупницей здравого смысла. Кенамон неуверенно улыбается и говорит:

— Или, может, мы пьем в честь Агамемнона? Я слышал, ваш царь царей всегда был союзником дома Одиссея.

Будущее висит на кончике меча. Однако это уже в моей власти, и я незаметно кладу Телемаху руку на плечо и шепчу неслышно:

— Не будь дураком, парень.

— Конечно, — произносит он, и сразу после этого пророчество меняется: кровь смывается со стен, а трупы начинают снова дышать и смеяться; по крайней мере пока. Пока. Телемах принимает чашу, поспешно протянутую Автоной. — За величайшего из греков, героя Трои, моего отца. И за великого царя Агамемнона, союзника Итаки, дорогого друга моей семьи, да пусть приносит он на наши земли мир и справедливость еще долгие годы!

Никто не решится не пить за Агамемнона. Трезвость тут бесполезна. Даже Антиной отступает, чтобы поднять свою чашу, и дает тем самым Телемаху возможность выдохнуть, сделать шаг в сторону.

Они сочтутся, но потом.

Не сегодня.

Даже Пенелопа отпивает вина и совсем чуть-чуть наклоняет свою чашу — или мне показалось? — в сторону египтянина, который как раз садится на место.



Луна чертит свой круг по небу, увядает, темнеет.

Я лечу через ночь на крыльях тени, ищу ту богиню, другую обительницу Олимпа, чье дыхание смешалось с воздухом пиршественного зала; но она давно исчезла, наверняка улетела в свои красочные храмы на Востоке или отправилась снова просить милости у ног Зевса. Видела ли она меня? Знает ли, что я тут делаю?

Мне нужно быть осторожной; очень тонко вести свои дела с сердцами людей.

А луна чертит свой круг.

На самой высокой точке Итаки живет Лаэрт, отец Одиссея.

Когда Пенелопе было восемнадцать и Телемах находился в ее выпирающем животе, Одиссей сел рядом с отцом и завел разговор:

— Слушай. Ты не хочешь быть царем, а я хочу. Ты невоспитанный, ленивый, и, честно говоря, от тебя смердит. Я бы хотел, чтобы мы решили дело мирно, так что открой мне: чего ты хочешь?

Лаэрт, который к тому времени действительно вонял, особенно когда открывал рот, прикинул цену:

— Восемь рабов, оливковая роща, три, нет, четыре свиньи, две коровы, две козы, два коня, осел, первый урожай лучшего вина, и раз в год ты устраиваешь большой праздник, где все должны передо мной пресмыкаться, унижаться и называть меня мудрым царем Лаэртом.

— На Кефалонии? — спросил, надеясь на лучшее, его сын. — На Кефалонии у тебя может быть хутор побольше, например, вот тот хороший, у...

— На Итаке, — ответил отец. — Так у моего внука не будет отговорок, чтобы не навещать меня.

Одиссей сумел не закатить глаза и в итоге счел, что ему повезло, раз удалось так легко вытурить старика из царского дворца.

В детстве Телемах с удовольствием ходил в гости к деду. В конце концов, Лаэрт был аргонавтом, греческим героем, сыном Гермеса и готов был поделиться такой мужской мудростью, которую его мать и бабка явно понимали неправильно, например: «Женщина хочет, чтобы ее защищали. Мужчина должен показать силу, свою львиную ярость, свою мощь, чтобы она видела — именно такой защитник ей нужен!»

Телемах в жизни не видел льва, но общий смысл понял.

Раз в год, как и было обещано, Пенелопа устраивала большое празднество в честь своего свекра, и он умищался, брился и приходил с очень самодовольным видом во дворец, а люди толпились вокруг него и говорили ему, какой он замечательный. Даже старики Эвпейт и Полибий,

казалось, откладывали ненадолго свои горькие взаимные обиды, кидались в немытые ноги Лаэрта и восклицали: «Как приятно тебя видеть, приходи ко мне на ужин!»

Когда Антикля, бабка Телемаха, умерла, мальчик плакал навзрыд над ее могилой, а Лаэрт соизволил прийти со своего хутора, положил ему руку на плечо и сказал: «Хватит глупостей! Не хнычь, ты же мужчина, а не девочка!»

Антикля всегда говорила Телемаху, что его отец — герой.

О муже своем, его деде, она не говорила почти ничего, и Телемаху не приходило в голову спросить, почему она живет не с ним, а во дворце. «Да я просто помогаю твоей матери», — вот и все, что она отвечала.

Нужна ли была Пенелопе помощь? Кто ее знает.

— Каким был отец?

Телемах задавал этот вопрос уже стольким людям и столькими способами, но так и не получил удовлетворительного ответа. Для Антиклеи ее сын был самым храбрым, смелым, умным человеком во всей Греции. Для Эвриклеи, старой кормилицы, Одиссей был сладким пирожочком и лапочкой, уж таким сладким пирожочком и лапочкой, и Телемах — тоже сладкий пирожочек и лапочка, ух какие у нас щечки, а кто у нас такой славный, вот какой славный.

Для Пенелопы его отец был хорошим человеком. Больше она почти ничего не говорила, что сильно сбивало Телемаха с толку.

Но потом он спросил, каким был отец, у Лаэрта, и, к его удивлению, старик перестал гонять по беззубому рту разжеванные семена, выплюнул шелуху и, посмотрев в закопченный потолок, наконец заявил:

— Он знал, что умный, и знал, как этим пользоваться. Надо быть достаточно тупым, чтобы другие не видели в тебе угрозы, но достаточно умным, чтобы другие видели,

что ты можешь быть им полезен. Он не строил догадок, не рассусоливал: что, если бы было так или этак. Умный человек делает выбор и держится его. Это сложно. Он старался.

Телемах почти уверен: дед ему чего-то не сказал; чего-то не хватает и в рассеянных объяснениях матери. Он ищет это несколько лет, и вот однажды, когда ему семнадцать, он наконец находит тот вопрос, который так долго ему не давался.

— Дедушка, — спросил он, сидя у очага Лаэрта, — мой отец хороший?

Лаэрт дернулся, будто его ударили, и на миг Телемах испугался, что его дед умрет сейчас — слишком скоро, до того, как мать закончит его саван, и война, которая ждет как раз за линией горизонта, наконец разразится. А потом он услышал карканье, прерывающееся хрипкое дыхание, будто ветер стучит высохшими костями в скелете, и с изумлением понял, что его дед смеется. Лаэрт смеялся так долго, что смех перешел в захлебывающийся кашель, но даже тогда он все еще закатывал глаза от веселья, а потом дрожащей рукой погладил внука по голове.

— Ну ты даешь, — прокаркал он. — Ну и вопрос!

И луна чертит свой круг.



ГЛАВА 12

Во дворце пируют. Пируют! Пируют! Как будто ничего не произошло, как будто смерти всех тех людей не были отсюда на расстоянии чиха. Еще вина! Эй, девка, еще вина нам!

— Амфином, какой ты скучный!

— Эвримах, если будешь так играть, останешься без хитона. Нет, я, конечно, рад забрать твоё золото, ещё раз бросим кости?

— Эй, египтянин. Что это за «письменность» такая, про которую ты говорил?

— Телемах сегодня нет? Он сбежал?

— Телемах навещает деда, отдаёт дань уважения.

— Само собой, сбежал к старику!

Мужчины хохочут, а Пенелопа завязывает очередной узел на ткани.

Еще один вечер, еще один пир: уже поздно, когда Пенелопа возвращается в свою комнату.

— Урания и Семела наверху, — шепчет Эос, когда первые женихи начинают храпеть, уткнув в столы свои лица, измазанные кровью и мясным соком. — С ними какая-то чужеземка.

— Спасибо, — бормочет Пенелопа, сжимая пальцы, уставшие от перекидывания челнока. Она слегка кивает, поворачивает голову туда-сюда, чтобы размять шею. — Доброй ночи, почтенные гости, — говорит она вполголоса, обращаясь к зловонному залу. Никто из пировавших мужчин не двигается, когда она уходит, — только двое, что следят за ней полуприкрытыми трезвыми глазами.

В покоях Пенелопы горит лишь одна лампада. Три женщины обрисованы больше тенью, чем светом.

— Добрый вечер тебе, моя царица, — говорит первая. Ее седые волосы заплетены в косичку, скрюченные руки лежат на коленях. Глаза у нее голубые, а подбородок похож на нос триремы.

Зовут ее Урания, и, как ни странно, ее имя известно за пределами Итаки, хотя ни один поэт никогда не воздаст ей чести. В приморских городах по всему побережью есть немало тех, кто говорит: «А, Урания! Я ее знаю» или «Боги! Еще один родственник Урании!» — потому что за многие годы она успела поторговать всем, чем только можно, и разбирается в качестве шерсти не хуже, чем в цене на древесину. Торгует она не для себя, конечно, а от имени мужа, или, может, отца, или сына. Мужчина, которого она якобы обслуживает, меняется постоянно, а вот правду люди шепчут редко: она делает это для Пенелопы.

Рядом с ней стоит Семела, дочь матерей, мать дочерей, земледелица, которая смеет определять себя не через мужчину. Сейчас она одета так же, как в ту ночь, когда спасла Теодору: в грязный хитон, с охотничьим ножом

на поясе; в темных кустах она такая же, как в царской опочивальне. Руки сложены на груди, а лицо похоже на сухое дерево, которое она каждый день рубит для своего очага. От Урании пахнет майораном, которым надушены ее старые запястья. От Семелы исходит запах пота и дыма. Обе — купчиха и земледелица — составляют нечто вроде совета царицы Итаки, такого же, каким, вероятно, Египтий, Медон и Пейсенор считают себя для отсутствующего Одиссея. Они вхожи туда, куда не может попасть пребывающая в трауре царица; соглядатаи Урании рассеяны по всем западным морям; у Семелы сестры и подруги — во всех деревнях и хуторах. Эти две женщины не должны дружить и поначалу, некоторое время, пытались враждовать, но потом им надоело.

Обе часто появляются в гинекее дворца. Третья здесь впервые.

Посмотрим же на эту последнюю, развалившуюся в любимом кресле Пенелопы. Лицо свое от грязи она в основном отмыла и большей частью выковыряла землю, забившуюся под длинными обломанными ногтями, но это все, что она сделала по случаю посещения столь возвышенного места, как личные покои царицы. Когда-то существовал мир, в котором у нее были очаровательные ямочки на щеках и улыбка, менявшая лицо, словно морские волны. Этот мир сгорел дотла восемь лет назад. Ее угольно-черные волосы коротко, небрежно подстрижены, и во многих землях это знак позора, хотя единственная, кто считает, что она его достойна, — это она сама. Глаза у нее глубоко посаженные, цвета летней пыли после дождя. Она небольшого для своего народа роста, но восполнила это тем, что откусила ухо мальчику, смеявшемуся над ней, когда ей было семь, а ему — девять; а потом — снова, выдавив глаза другому, который попытался потрогать ее за укромное место, когда ей было четырнадцать; наказали ее не очень сурово, если принять

во внимание все обстоятельства. На ней грубый хитон из потертой шкуры и штаны, заканчивающиеся выше колен, и это было бы страшно неприлично, если бы кто-нибудь решился заговаривать о приличиях с той, у кого на поясе столько острых лезвий. Сандалии ее так высоко и плотно зашнурованы, что тому, кто захотел бы ограбить ее труп после отгремевшей битвы, понадобилось бы почти полчаса, чтобы снять каждую. У нее около дюжины шрамов, начиная легкими, полученными в учебных боях, на тыльной стороне ладоней, и заканчивая двумя глубокими на правой руке, один — ниже локтя, другой — выше, там, где она пропустила удары вражеского лезвия. У нее также шрам на спине от раны, которая должна была убить ее, если бы в тот раз Аполлон не вспомнил, что он бог врачевания, о чем обычно этот самодовольный придурок забывает.

Зовут ее Приена. Она сидит развалившись у открытого окна, и, хотя она не принадлежит к моему народу, сегодня вечером от нее будет польза тем, кому я покровительствую.

Пенелопа — уставшая и встревоженная событиями, над которыми, как она чувствует, у нее пока нет власти, — улыбается одними глазами хитрой Урании, кивает мозолистою Семеле и наконец обращает гораздо менее убедительную улыбку к Приене.

— Урания, Семела, прошу прощения, что заставила вас ждать. Надеюсь, вас не оставили одних?

— Твои служанки были, как всегда, предупредительны. Ах, а это тот самый ткацкий станок? — Урания встает, как раз когда Автоноя и Леанира вносят станок, чтобы еще одну ночь он провел вдали от мужских глаз. — Саван Лазрта будет... очень искусный, я уверена.

Урания когда-то была рабыней во дворце. Как только человек, который должен был следить за качеством зерна, стал пренебрегать своей работой, она взяла его задачу на себя и справлялась с ней весьма успешно, чего никто

не ожидал от женщины. Освободившись, она стала работать еще лучше, хотя во всей Греции не найдется поэта, который осмелился бы упомянуть это обстоятельство.

Сейчас же, этой безлунной ночью, Пенелопа откалывает последнюю пряжку, держащую ее покрывало, бросает взгляд на кресло, которое, вообще-то, принадлежит ей, решает не спорить за него с вооруженной женщиной и плюхается на край своего ложа.

— Какие новости из дальних краев? — спрашивает она наконец.

— Разные, в зависимости от того, у кого спросить. Ходят слухи о том, что в Микенах неладно. Что-то там с Агамемноном и его женой.

— У Агамемнона и Клитемнестры вечно что-то неладно. Они счастливее всего, когда порознь.

— У меня есть один родственник... — У Урании полно родственников по всему Эгейскому морю, и некоторые действительно являются таковыми. — Он говорит, что, как только Агамемнон сошел с корабля, первым делом поселил своих троянских наложниц в старые покои жены.

— А куда, интересно, поселила своего любовника Клитемнестра?

— Уверена, что в надежное место. Она с большим удовольствием управляла, пока ее муж был в отъезде и грабил южные моря: издавала приказы, законы, карала врагов...

— Этим, собственно, и должна заниматься царица.

— Ах да, конечно. Я забыла.

Пенелопа поджимает губы. Она откидывается на согнутые локти, двигает шеей туда-сюда, полуприкрывает глаза, полулежа под сенью оливы, из ствола которой выполнены сама спальня и кровать.

— Пейсенор собирает ополчение, — говорит она.

Тут в первый раз что-то произносит Приена: а именно — презрительное фырканье. Это не тихое «пф», не учитывая

женская попытка проглотить неприличный смех, нет — это настоящее насмешливое, хрюкающее фыркание с вылетающими из носа соплями. Пенелопа приподнимается, смотрит на нее с удивлением.

— Приена, да? Тебя зовут Приена?

Та пожимает плечами. Ее саму давно не заботит, как ее зовут.

— Если бы я сказала тебе, что войско мальчишек, выращенных без отцов, вооружается последними обломками брони и копий, что есть на острове, чтобы сражаться в полночь с иллирийцами у моря, что бы ты ответила?

Снова фыркание, и оно потише только потому, что всю желчь и презрение к идиотской ситуации Приена вложила в первое.

— Мой сын собирается войти в него. Он очень хочет стать героем.

— Иллирийцы перережут горло только воину, — отвечает Приена. — Чтобы стать героем, придется стать убитым героем.

— Я пыталась это ему объяснить, но в последние годы...

Пенелопа вздыхает. Есть вещи, которые она, гордящаяся некоей своей прямолинейностью, никогда не произносила вслух, даже обращаясь к мутной тени собственного лица в бронзовом зеркале.

— Я в сложном положении, Приена. Урания считает, что ты можешь мне помочь. Мои острова подвергаются нападениям людей, которые одеваются как иллирийцы, но убивают как греки. Два месяца назад они напали на Лефкаду, потом — на Фенеру на самой Итаке. Они приходят в то время, когда море заливают свет полной луны. Это слишком скоро для иллирийцев, которым нужно сплавить домой и вернуться. Они начали появляться как раз тогда, когда на меня стали всё сильнее давить, вынуждая выйти замуж за того, кто смог бы защитить наши берега. Они напали

на деревню, основное занятие которой — контрабанда. Об этом, конечно же, был бы осведомлен итакиец или тот, кто долго живет здесь. Но иллириец? Знал бы иллириец о тайнах Фенеры? Вот такое сложное у меня положение.

— Это не единственная твоя сложность, царица.

Пенелопа почти смеется, прижав ладони к глазам. Она устала, она так устала.

— Да. Да, это так. Мой сын собирается присоединиться к ополчению, во главе которого четверо: двое хотят его убить, одному все равно, а один и щита поднять не сможет. Мой сын будет мрачно ходить туда-сюда по берегу и искать разбойников, а когда они наконец явятся, то убьют его. Мои земли сгорят, моих подданных угонят в рабство, и даже вероятность — очень слабая вероятность — того, что мой муж еще жив, не будет более сдерживать тех, кто считает, что я должна выйти замуж. Либо я выхожу за того, кто может собрать войско и победить в междоусобной войне, либо западные острова на моих глазах погрузятся в хаос, и в этот миг Менелай с большим удовольствием явится сюда как наш героический спаситель и потом долго-долго нас не покинет. Обе эти возможности неприемлемы. Так что мне надо убить нескольких разбойников.

Приена пожимает плечами.

— Ты царица. Это твоя работа.

— Нет, моя работа — сохнуть от тоски по мужу и не мешать сыну.

— Тогда твой остров сгорит.

— Ты знаешь, как Итака выживала последние восемнадцать лет?

Приена не знает, ей все равно.

— Кто приносит хворост для очагов? Кто отгоняет волков? Кто охотится на кабана, ставит ловушки в лесу, чинит стены, когда западные ветра разрушают их? Кто остался делать это, когда мой муж увез всех мужчин под Трою?



Приена не отвечает, но и лицо ее не морщится от привычного презрения. Она бросает быстрый взгляд на Семелу, похожую на треснувший плавун, на Уранию, потом отводит глаза. Приена так далеко от дома, от тех дальних земель, где когда-то Пентесилея вела в бой своих воительниц, скача на украшенной клыками колеснице. Приена не может вернуться туда.

— Охотники не воины, — произносит она наконец. — Невозможно снять с грека шубку, как с зайца.

— Невозможно. Но мы живем на острове волков, а не зайцев, — говорит задумчиво Пенелопа. — Меня спросила одна женщина — девушка, почти девочка, — зачем я, царица, нужна. Я не делаю прилюдных заявлений, почти не показываю лица, скромно держусь поодаль от голосов мужчин. И все же я царица и буду защищать свое царство. Понимаешь меня, Приена?

Приена втягивает губы, вытягивает губы, подбирает колени, потягивается, ощущая старый шрам на спине, морщится, а потом наконец садится ровно и говорит:

— Я не работаю на греков.

— Тогда зачем ты пришла?

— Иногда греки платят мне, чтобы я убивала других греков.

— Приена, разве я не предлагаю тебе именно это? Я слышала, что в твоем племени женщины дерутся как мужчины. Что твоя царица...

— Не произноси ее имени! — Голос такой громкий, что служанки переглядываются за дверью: может, им войти? Может, позвать подмогу? Им, конечно, дали четкие указания на этот счет, но Пенелопа ценит и самостоятельность в тех случаях, когда дело идет о жизни и смерти.

Урания окаменела, почти не дышит. У Семелы на поясе нож, но сложенные на груди руки не дрогнули. Пенелопа выдыхает.

— Прости. Я слышала, что она была храброй, благородной и мудрой. Но мне нужно войско, которое не будет драться благородно. На востоке твоего племени бояться. На западе, если станет известно, что Итаку защищают вдовы и дочери мужчин, которые так и не вернулись домой, то к нашим берегам явятся все наемники, отсюда до мийского дворца. Пускай мой сын играет в героя в доспехах, если без этого никак. Но я должна победить. Женщины уже собираются. Они встречаются в лесу над храмом Артемиды, но они, как ты и сказала, охотницы, а не воительницы. Мне нужно, чтобы они были и теми и другими. Ты поможешь мне?

На востоке, у племени Приены, есть одетая в золотой огонь богиня, хранительница священного очага. Я видела ее однажды: она пламенела над спокойными водами реки, а вокруг нее мужчины, одетые женщинами, становились на колени и приносили ей кровавые жертвы. За нею стояли боги поменьше: Папай и Фагимасада, Апи и Гойтосир, — они пришли поклониться ей, но она... она возвышалась над всеми, и заря над долиной лежала в ее алеющей длани. Я спрятала от нее лицо и скрылась на Олимпе, пока она не увидела меня и не прочла в моих глазах зависть и отчаяние.

Царица Приены мертва, и она поклялась не служить другой. Но, к своему удивлению, она, поджав губы и сложив руки, обдумывает сказанное Пенелопой. Наконец встает, кивает Пенелопе, чуть ниже кланяется Урании и Семеле: вероятно, в глазах старой охотницы видит что-то знакомое.

— Через два дня, — гаркает она, — ты получишь мой ответ.

А потом — вероятно, потому что ей не нравятся гул голосов внизу или прижатые к двери уши служанок — она подходит к окну и вылезает через него так, будто это самое приличное и естественное дело.

STONE HEDGE



Посмотрим на мальчика, который совершенно точно не мужчина.

На Телемаха.

Каждый день на заре он приходит сюда. Это место далеко от дворца, рядом с грязной тропинкой, пахнущей свиным навозом. Строго говоря, этот хутор принадлежит ему — по крайней мере, его отцу, разница тут довольно неявная. За хутором присматривает Эвмей, свинопас Одиссея, которого продали еще ребенком в рабство и так и не освободили, потому что ему никогда не приходило в голову хоть малейшее представление о свободе, а его хозяевам оно не приходило в голову вообще.

В доме спят свиньи. Свет солнца все еще прикрыт, будто серой паутиной, уходящей ночью. Тут лежат метательное копьё, меч, щит. К стене прислонено соломенное чучело. Иногда здесь лежит еще и лук отца, выкраденный

из оружейной: Телемах пытался его натянуть, пыхтя, потев и выбиваясь из сил, но проклятая деревяшка не поддается. Теперь он реже крадет его, а когда крадет, то это знак позора.

Телемах — мальчик, но он, конечно же, хочет быть мужчиной. Любой мальчик на Итаке, как только ему исполняется двенадцать, уверен, что он новое воплощение Ахиллеса. Безусловно, не погибни Ахиллес под Троей, он был бы просто нытиком и маменькиным сынком, переодетым девочкой, лишь бы его не забрали воевать; но, чтобы привлечь внимание поэтов, нет средства лучше, чем славная война или побоище-другое.

В минуты просветления — будем честны, у мальчика они случаются — Телемаху приходило в голову, что если он хочет прославиться в веках, то ему придется поучаствовать в какой-нибудь крайне впечатляющей войне, а то и устроить ее самому. Хороший такой геноцид, может, еще с вулканом или землетрясением, как минимум на полсотни тысяч безымянных трупов и на полдюжины настоящих героев.

Может, когда-нибудь он станет человеком достаточно хорошим, чтобы понять, что это негодная мера для доблести. Но сейчас он все еще недомерок с копьем и его нравственные ориентиры нечетки.

Он упражняется с мечом и копьем на соломенных чучелах. Иногда с ним упражняются воины — древние итакийцы, которые по дряхлости не могли поднять щит уже тогда, когда отплывал Одиссей, или те доверенные стражники с других островов, кого вездесущий запах рыбы не отвратил от того, чтобы остаться здесь жить. Он не так уж плохо дерется. У него есть несколько друзей, мальчиков его возраста. Они подружились с ним, благоговея перед именем его отца, но большинство их постепенно

полюбило и самого Телемаха, а он, хоть и не блестящий собеседник, по меньшей мере верен своим друзьям. Он подсчитал, что если бросит клич своим союзникам на Итаке, Кефалонии, Закинфе и полудюжине островов поменьше, россыпь которых и составляет царство его отца, то сможет собрать восемьдесят копий.

Он наносит удар по соломенному чучелу. Оно не сопротивляется.

Восемьдесят копий.

Этого хватит, чтобы убить женихов. Особенно если застать их врасплох. Закрывать дверь оружейной, напасть на них, когда они пьяны. Этого хватит. Сложно будет собрать столько людей тайно, но, если он будет умным, как отец, и мудрым...

Шмяк — он погружает лезвие в соломенную шею, из нее сыплется солома, но в общем противник не возвращается.

Иногда, когда долг вынуждает его смотреть Антиною в глаза, он представляет в мелких подробностях, как именно будет его убивать, этого жениха, который лишь ненамного старше его самого, но хочет быть его отчимом. Оказалось, такое упражнение помогает вежливо удерживать взгляд другого и не выглядит так, будто он рассчитывает, под каким углом лучше всего будет всадить ему нож под ребра.

Шмяк — он проворачивает меч в соломенных кишках. Однажды он слышал, как один старый воин сказал, что честный бой — для дураков. Сначала надо выжить. Потом придумать историю о том, как именно.

Кто-то говорит:

— Э-э-э, прошу прощения, я... ой.

Он поворачивается, замахнувшись мечом, готовый драться, готовый убивать, кто-то ворвался в его святилище, и он...

Но человек, стоящий у него за спиной, не вооружен. Он улыбается немного смущенно, поднимает руки, будто сдается, и произносит:

— Прости. Я услышал шум оружия и подумал... Но я не хотел тебе мешать.

— Египтянин, — пыхтит Телемах, опуская меч, и его розовые щеки, как всегда, невольно заливает краска стыда. — В смысле... Кенамон, да? Зачем ты пришел?

— Я гулял. Стараюсь пройти по всем путям, ведущим от дворца, чтобы получше изучить остров. Как уже сказал, я услышал удар меча, его ни с чем не перепутаешь, и подумал... Но теперь вижу, что здесь твое личное место. Приношу извинения. Я ухожу.

Дверь домика со скрипом приоткрывается на ширину пальца, доносится запах свиней. Эвмей приник одним глазом к щелке, недостаточно решительный, чтобы выйти, и недостаточно хитрый, чтобы оставаться внутри. Свинопас Одиссея всегда был более верным, чем мудрым. Кенамон поворачивается, чтобы уйти прочь, плащ его наброшен на одно плечо — так, замечает Телемах, ему будет удобно выхватить меч, если понадобится, — это надо запомнить, это по-мужски, — и Телемах кричит ему вслед:

— Послушай, ты не мешаешь мне. Пожалуйста. — Он опускает меч, хотя сам не понимает, зачем это надо было, и делает шаг в сторону от запаха свиней. — Я должен... поблагодарить тебя... за вчерашнее.

Мальчику стыдно, так стыдно, что от этого воспоминания он хочет свернуться в клубок и заплакать, но Телемах будет мужчиной, а мужчины честны, и встречают лицом к лицу свои страхи, и признают заслуги других мужчин, когда они достойны признания.

— Я здесь новичок, — улыбается Кенамон, — и подумал, что неправильно понял обычаи пира.

Поравнявшись с египтянином, Телемах рассматривает, как тот стоит. Колени расслаблены, готовые к бегу; ступни крепко стоят на земле, одновременно устойчиво и легко — как он это делает?

— Позорно, когда чужестранец оказывается более любезен, чем некоторые греки. Но, вероятно, нам всем бывает нужно, чтобы чужестранец напомнил нам, сколь ценно то, к чему мы привыкли и что принимаем как данность.

— По-моему, человек никогда не ценит того, что есть у него дома, пока не окажется от него далеко.

Телемах кусает губу, но тут же заставляет себя прекратить это и улыбается.

— Если ты исследуешь тропинки Итаки, может быть, я могу показать тебе самые живописные места? Лишь немногие из женихов выходят за пределы города, а между тем у нас есть водопады, ручьи и высокие холмы с отличными видами, которые, может быть, смягчат твою боль от разлуки с родиной.

— Я бы очень хотел этого, но не хочу навязываться.

— Ты не навязываешься. Ты — мой гость, я — хозяин дома. Пожалуйста, давай пройдемся.

Некоторое время они молча идут в гору на звук текущей воды, по каменной округлой низине, под сенью деревьев, которые не пропускают сюда жара начинающегося дня. Иногда Кенамон спрашивает, что это за растение либо какая птица поет в серебристых ветвях. Телемах отвечает, как может, и предупреждает его, что тут водятся дикие звери, и Кенамон спрашивает:

— А кто же на них охотится теперь, когда мужчин нет?

И Телемаху приходит в голову, что на этот вопрос есть, вообще-то, только один ответ и что его самого этот вопрос никогда не посещал.

И Телемах подумывает о том, что Кенамон, наверное, примерно ровесник его отца или на несколько лет моложе.

Он, конечно, видел мужчин такого возраста и раньше, но никогда не бродил с одним из них по утреннему лесу.

Они пробираются через рощицу хвойных деревьев к вершине водопада, который обрушивается вниз с таким шумом, что не слышно слов, и Кенамон смеется и, перекивая шипение воды, сообщает, что он такого никогда не видел и в Египте единственное место, где вода так грохочет, — это стремнины на самом юге, где земля разбивается на тысячи плавающих островов, покрытых непроходимыми зарослями.

Потом они забираются еще выше, оказываются над верхушками деревьев, на выбеленных солнцем камнях, которые венчают самый высокий холм, и смотрят вниз, на море, в зеркальных водах которого блестит и сверкает ослепительное солнце, и Телемах задает вопрос, который так давно вертится в его голове:

— Ты был воином?

— Да, был.

— И сражался в битвах?

— Не в таких битвах, как ваша большая битва под Троей, если ты это имеешь в виду. Но я участвовал в кровавых стычках на юге, в ночных сражениях на полях багровой глины.

— Я тоже скоро буду сражаться, — задумчиво говорит Телемах, — чтобы защитить то, что мое по праву.

— Против кого? Надеюсь, не против женихов?

Он качает головой, хотя на самом деле, конечно, да — однажды, да.

— На наши земли совершаются набеги. Я присоединился к ополчению.

— А, это хорошо. Ты умеешь сражаться? — Вопрос задан в шутку, но лицо Телемаха так стремительно сменяется, что даже дружелюбная улыбка Кенамона застывает на губах. Он сглатывает. Протягивает руку, но не

разрешает себе положить ее на плечо юноши, отворачивается к небу. Потом к морю. Хочет что-то сказать, но вместо этого произносит:

— А это что?

Телемах смотрит туда, куда и Кенамон, на влажный горизонт.

Там на воде три черных паруса, они приближаются с востока. Он тут же поднимается с насиженного места на вершине — принадлежащего его отцу — принадлежащего ему — *этого* царства и быстро говорит:

— Мне пора, — и бежит вниз. К морю и к дворцу.



Когда раздается крик, Пенелопа считает овец вместе с Леманирой. Она большую часть жизни считает какой-то скот. Без постоянного подвоза рабов и награбленного в набегах добра, который обычно обеспечивают цари, ей пришлось вкладывать энергию в такие приземленные дела, как сельское хозяйство, производство и торговля. Никто не относится к такому серьезно, конечно, но ведь если никто не относится серьезно, то никто и не оценит, какие доходы может получить от этого хитроумная царица, хорошо разбирающаяся в овцах.

— Моя царица! — это Феба бежит, запыхавшись, от самой пристани. Мало кто из служанок Пенелопы обращается к ней «моя царица», если только это не какое-нибудь неуклюжее светское мероприятие, которое надо оживить, или дело слишком важное, чтобы тратить время на более длинные обращения. — Черные паруса!

— Сколько кораблей? — спрашивает Пенелопа, тут же бросив считать скот, и добавляет: — Леанира, принеси мое покрывало.

Леанира бежит в дом за символом вдовьей скромности, а Феба выговаривает, задыхаясь:

— Три, с востока. Гребут изо всех сил.

— Сбегай за Эос, потом скажи Автоное, чтобы собрал мой совет и воинов. Где мой сын?

— Я, э-э-э... — Феба не знает и слишком запыхалась, чтобы придумать отговорку. Пенелопа машет рукой, отменяя вопрос.

— Пошли к Семеле, предупреди ее; потом — к Урании, скажи, чтобы готовили мою лодку. Бегом!

Феба убегает, Леанира возвращается с покрывалом в руках.

— Черные паруса? — спрашивает она, помогая госпоже поудобнее приладить ниспадающие складки.

— Значит, дурные вести, — отвечает Пенелопа. — А три корабля — это больше, чем нужно, чтобы просто привезти плохие новости.

— Может, это твой муж?

Ответ на миг застревает у Пенелопы в гортани. Как странно, думает она, ей даже не пришло в голову, что это именно он. Но нет — она качает головой.

— Он не вернулся бы домой, на Итаку, под черным парусом. Новости о нем... может быть. Сейчас пойдут пересуды. Но если это так, мы должны встретить корабли раньше всех и как можем уменьшить ущерб. Пойдем. Нельзя дать возможность Полибию и Эвпейту получить новости первыми.

Полибий и Эвпейт уже в гавани, когда Пенелопа добирается туда. Их сыновья, Эвримах и Антиной, были выдернуты из постелей с приказом привести себя в порядок. Рядом стоит Андромон со своим слугой, темноглазым

Минтой, завернувшись от соленого морского ветра в тусклый плащ; потом — Амфином и еще около дюжины женихов. Рысцей прибегает Телемах; понимает: все видят, что он бежит рысцей; снижает скорость, пытаясь превратить бег в нечто более похожее на величавую поступь, и присоединяется к растущей толпе.

Пенелопу сопровождают шесть служанок и шесть верных стражников, следом за ней поспешает Медон, чтобы добавить мужского авторитета. Если она не может прийти быстро, то надо это сделать хотя бы красиво. Все служанки в покрывалах, заранее выказывая почтение к тем мрачным новостям, которые привезут с собою черные паруса.

Все, конечно, пришли на пристань гораздо раньше кораблей. Поэтому вскорости становится невыносимо скучно. К тому же в гаванях Итаки и без того большое движение и завести в маленькую бухту три корабля под эбеновыми парусами — дело очень небыстрое. По кривым мосткам несется: «Чуть левее — чуть правее — осторожнее с веслом!» Старый Полибий, который быстро устает, приказывает принести себе кресло, и Эвпейт, чтобы его не превзошли, требует того же. В итоге только Пенелопа и ее свита остаются стоять, являя нечто похожее на достоинство.

Женщины счастливы, что на них покрывала. Им можно не делать вид, что они не помирают со скуки, а вот Телемах и мужчины страдают, удерживая многозначительное глубокомыслие на нахмуренных лицах или вежливые улыбки, которые вот-вот понадобятся. В каком-то смысле Пенелопа рада и тому, как много времени требуется, чтобы пришвартовать корабли, потому что она успевает поразмыслить над десятком разных сценариев, которые сейчас начнут разыгрываться. Только в одном из них участвует ее муж — это если корабли прибыли,

чтобы рассказать ей о его окончательной, подтвержденной смерти. Она надеется, что они не привезли тело. Если будет тело, то ей придется многие часы прилюдно плакать над ним, а оно, скорее всего, будет весьма уродливым, особенно если он утонул. Это необходимое проявление горя также отнимет у нее драгоценное время, которое стоило бы посвятить тайным и очень быстрым действиям.

В небольшой полукруглой бухте примерно в часе ходьбы отсюда Урания и ее служанки готовят суденышко на полдюжины гребцов, чтобы увезти Пенелопу и ее сына в безопасное место. Пенелопа не знает, понадобится ли оно, и это не первая тревога, но лучше приготовить-ся к худшему.

И вот наконец первый черный корабль пришвартован, но с него никто не сходит на берег.

Все злятся и чувствуют себя обманутыми. Во-первых, ожидающей толпе придется ожидать еще дольше — а многозначительная торжественность начинает уже натирать непокрытые лица мужчин. Во-вторых, можно сделать вывод — и это тревожный вывод, — что на одном из других кораблей есть кто-то настолько важный, что его спутники должны вежливо ждать на палубе, пока он не ступит на землю. Вся эта история становится еще более значительной. Лучше всего было бы, если бы это оказался некий мелкий царь, которого прислали, чтобы добавить веса какому-то заявлению от Менелая или Агамемнона. Может, Писистрат, сын Нестора, или сам Нестор. Старик вполне мог бы явиться лично, если Одиссей погиб: он всегда любил пышность. Нестор был бы полезен: никто не начнет междоусобицу, пока этот почтенный старик, любимый союзник Одиссея, будет рядом с Пенелопой, а ему самому, наверное, не придет в голову сразу забирать Итаку себе. Может, придется женить Телемаха на одной из дочерей Нестора — вот Эпикаста вроде ничего, поэзию

любит, — но это невысокая цена за то, чтобы острова остались у Пенелопы.

Однако роспись на носу корабля — то ли бык, то ли лев — не в стиле Нестора. А на щитах воинов, стоящих на палубе самого большого корабля, узор — она видела его раньше, когда приплывали микенцы, чтобы призвать ее мужа на войну. Ох как засосало у Пенелопы под ложечкой...

Самый большой корабль привязывают к деревянным мосткам, звучит громкий, плоский, неприятный вой костяного рога, окованного бронзой. Сначала на сушу сходят несколько воинов и выстраиваются, чтобы между ними смог пройти тот, кого они с таким почетом сопровождают. Пенелопа наблюдает, как среди воинов появляются две фигуры: он облачен в одежды государственного деятеля, растрепанные путешествием, она — в простом сером хитоне, на лице зола. Они приближаются так мрачно и невыносимо медленно, что даже самые выносливые из зрителей чувствуют, что у них сжимается мочевого пузыря: ну, давайте уже, подходите!

Пенелопа первая узнает их и первая делает шаг им навстречу. Она приседает чуть ниже, чем ей положено — она ведь царица этих островов, — но монарху мелкого царства стоит вести себя с большой долей смирения. Приближающиеся останавливаются, и те двое, что идут в середине, подходят к ней с приветствиями.

— Благородный Орест, милая Электра, досточтимые дети Агамемнона, — говорит она негромко, без выражения, а в ее голове роятся возможные варианты развития событий, среди которых ни одного хорошего, — никому из греков не рады на Итаке больше, чем вам.

Я могу назвать вам десять имен греков, которым Пенелопа была бы меньше всего рада на Итаке, и благодаря своей непогрешимости и всемогуществу заявляю с полным

знанием дела, что Орест и Электра занимают в нем девятое и шестое места соответственно. И сейчас это вряд ли изменится, ведь взгляните: Электра провела две линии золой от макушки до подбородка, испачкала сажей ногти, насыпала пепла в волосы. Наверно, у нее на корабле горел огонь — это очень опасно, — раз все выглядит таким свежим, думает Пенелопа. А может, у нее с собой коробочка с углем — это разумнее, — вероятно, смешанным с воском, чтобы лучше держался. Если бы Пенелопе предстояло отправиться на несколько дней в просторы моря, сдаться на милость соленой воды и ветра, она бы точно смешала с чем-нибудь свою краску, чтобы не стерлась.

Орест избрал другой образ, но ведь мужчине и не пристало выражать такие же сильные чувства, как его сестре. Вместо этого, положив руку на рукоятку меча — отцовского меча? — он отвечает нараспев голосом чуть ли не таким же безжизненным, как у самой Пенелопы:

— Благодарим тебя, благородная жена Одиссея. Но мы более не дети Агамемнона. Наш отец мертв.



Вот какова была смерть Агамемнона, величайшего из греков, могущественнейшего царя Востока и Запада, покорителя Трои, владыки Микен.

— Проклятая шлюха, проклятая шлюха, а ну, иди сюда, дрянь, а ну!.. Попадись мне только, я!..

Один из недостатков роскошного дворца из белого мрамора и золота состоит в том, что слова очень громко разносятся по его залам. Рабы отворачиваются; царедворцы прячутся в тени, когда мимо проносится государь. Но даже в огромном микенском дворце в конце концов оказывается некуда больше бежать.

Потом, после того как он схватил жену за загривок и доходчиво познакомил ее со своим мнением, она мылась, а он, посмотрев на ее мокрые волосы, отведенные от лица, сказал:

— Ты выглядишь как проклятая...

Остальное предложение было оборвано ножом, который его жена вонзила ему в горло так, что он вышел сзади. Некоторое время Агамемнон еще стоял, поддерживаемый заткнувшим его лезвием, которое она продолжала сжимать. Потом его туша, отъевшаяся на требухе и налитая багряным вином, стала слишком тяжелой, и царица выпустила нож, и ее муж, истекая кровью, упал наземь.

Конечно, когда об этом рассказывают поэты, они добавляют художественности: он был в ванне; или его жена как раз ласкала его в миг этого порнографического предательства; или он был убит любовником Клитемнестры, потому что мужчины для такого дела гораздо надежнее; или он рассматривал богатства, награбленные в Трое и некоторых других местах. Если и упоминают его опьянение, то оно, говорят они, сделало его кротким и медлительным, потому что если мы хоть на миг предположим, что женщина — женщина! — и в самом деле смогла заколоть покорителя Трои, убийцу Приама и его семьи, то, конечно, ну безо всяких же сомнений, Агамемнон не мог не быть немного пьян. Милое, ягнячье опьянение, нежное и печальное, а не та красномордая ярость, в которой он на самом деле пребывал.

Я смотрела сверху на его смерть, как и многие другие боги.

Даже мой муж Зевс, который питает слабость к буйным мужчинам, лишь досадливо цокнул языком и отвернулся. Когда-то Агамемнон был любим и благословлен, но теперь все как один боги Олимпа считали, что дело зашло слишком далеко. Так что не случилось никаких чудес, не было дано знамений, не было оказано милостей. Просто нож прошел сквозь горло, и наполовину раздетое вялое тело оказалось на полу.

Во дворце Одиссея Пилад, слуга и побратим Ореста, рассказывает все немного иначе. Усыпанные пеплом дети

Агамемнона сидят на почетном месте и слушают, и даже женихи притихли и молчат, пока микенец повествует историю о безжалостной царице, которая сошла с ума от сладострастия и власти. «О, коварство женщин, о, предательство и фантасмагорическая жестокость бешеной Клитемнестры — будь прокляты коварные женщины!» — завывает он.

В Микенах, Финее, в самой Олимпии это заявление было встречено криками одобрения, оглушительным согласием. Будь прокляты коварные женщины, коварные женщины!

На Итаке лишь гробовое молчание. Даже самые глупые из женихов молчат, лихорадочно соображая.

Пенелопа сидит чуть поодаль от высоких гостей, спрятанная за своим покрывалом, которое ее дыхание почти не колышет.

Все мужчины выстраиваются в очередь, чтобы совершить возлияние в огонь. Их не предупреждали, что будет жертвоприношение, и позже им придется бежать домой за какими-нибудь более приличными жертвами, чтобы прилюдно сжечь на священном алтаре. Но даже в присутствии смерти Пенелопа показала себя как хорошая хозяйка и повелела, чтобы мужчинам выдали по пригоршне зерна и чаше вина из дворцовых запасов, их потихоньку раздают служанки, пока Пилад говорит, чтобы ни один из мужчин, когда придет время вставать с места, не оказался не готов выказать свое преклонение перед великим убитым царем.

Даже Кенамон, чьи обычаи другие, делает то же, что и все, и выливает вино из чаши к ногам посеревшей Электры и каменнолицего Ореста, детей убитого монарха, и бормочет короткую молитву, хотя не знает, кому из богов может понадобиться такое сердце, как у Агамемнона.

В этот вечер и еще неделю не будет пира, и Пенелопа, с одной стороны, испытывает облегчение от такого поворота событий, а с другой — обеспокоена. Передышка в семь вечеров — это очень хорошо для дворца, но куда денутся все женихи, что они будут делать, если она не будет следить за ними?

Орест что-то говорит, какие-то слова, полные возмездия и крови. Электра не говорит ничего, но берет его за руку, когда он садится, и сжимает так сильно, что Пенелопе кажется: из-под ногтей у него показывается кровь, оставляя лишь бледную плоть, — хотя сам Орест если и замечает это, то, похоже, не потревожен.

Детям Агамемнона отдают лучшие покои. Не комнату Одиссея, конечно, — то было бы святотатством, — а старые опочивальни Лаэрты и его покойной жены Антиклеи. Может быть, есть некая гармония в том, что первая, кто ляжет в пыльную кровать мертвой матери, будет дочерью мертвого царя.

Пенелопа ловит Телемаха за руку, когда он проходит мимо.

— Держись рядом с Орестом, — шепчет она, но он вырывает руку:

— Я сам знаю, что мне делать, матушка.

— Теперь, после смерти отца, он станет самым могущественным человеком в Греции. Тебе нужна его поддержка.

— Он мой двоюродный брат. Мне не нужно... женских уловок... — Телемах спотыкается о слова, пытается найти те, которые полностью передадут его презрение к этим тайным сговорам и сделкам. — У нас общая кровь и общая честь.

— Только что мать этого мальчика убила его отца. Его отец убил его сестру. Его дядя жаждет занять микенский трон. Во имя Афины думай, перед тем как что-то сказать.

Телемах разворачивается, и, хотя он собирался совсем в другую сторону, ему приходится идти в противоположную, потому что это единственное направление, которое он может выбрать, чтобы оказаться спиной к матери.

Позже, после того как она уходит, он пробирается туда, куда ему нужно, тайком, чтобы не испортить впечатления.

Эос стоит рядом с Пенелопой в ее вдовьей спальне из оливкового дерева и вместе с ней смотрит на море.

— И что теперь? — просто спрашивает она.

— М-м-м?

— Что теперь будем делать?

— Не знаю.

— Тебе нужен корабль? Мы бежим?

— Пока нет. Может быть, придется. Но пока — нет. Мне надо подумать. Это все меняет. Только страх перед Агамемноном удерживал властителей Греции. Если Орест не сможет занять престол, то единственным, кто способен поддерживать мир, окажется Менелай, а он...

А что Менелай? Он слушает новости о смерти брата, перебросив ногу через золотой подлокотник своего трона и запустив руку в мягкие кудри Елены, своей жены, сидящей у его ног. Он кивает в пространство, слушая новости, и прикусывает губу, и не плачет, и не хмурится, и не смеется, а просто спрашивает, когда вестник замолкает: «А где сейчас Орест?»

Так новости добираются до Спарты.

На Итаке Эос смотрит в пол.

— Ты подумала, увидев паруса, что это Одиссей?

— Это было возможно.

— Ты надеялась?

— Надеялась? — слово кажется непривычным на языке Пенелопы, непонятная ей идея. — Что мой муж погиб?

— Или что он жив?

Страннее и страннее! Пенелопа перебрала столько вариантов, но вопроса о том, что делать, если Одиссей окажется жив, среди них не было.

Это открытие на миг веселит ее и в то же время печалит, но странная пляска чувств длится лишь мгновение, а потом она снова хмурится — она точно постареет раньше времени.

— Нет, я не надеялась.

Тихий стук в дверь — это Автоноя, она отбрасывает покрывало с лица, поскольку зашла в личные покои. На людях все служанки будут неделю носить покрывала или, если покрывал на всех не хватит, обмажут себе лица золой, добавив в нее что-нибудь, дабы не приходилось тратить лишнее время на подновление благочестивого вида.

— Госпожа Электра хочет с тобой поговорить, — проносит она негромко, и в ее голосе слышится предупреждение. В нем не звучит горечи по поводу смерти царя, лишь сокрушение о том, что должно за этим воследовать.



В комнате Электры, в которой раньше жила мать Одиссея, горит только один светильник. Он отбрасывает на стены резкие танцующие тени, выпускает через черные углы мрак Аида. Одиссей почти пять лет назад встретил на берегах Стикса свою мать. Она слизывала с его пальцев кровь, впавшие глаза видели только красную жидкость, которую он ей предлагал, пока наконец, когда она немного насытилась, в ее пустом черепе не вырос заново язык и она не рассказала ему о скорби и о мертвых.

Пенелопа об этом, конечно же, не знает, а все, кто отправился с Одиссеем в землю ушедших, теперь сами стали лишь тенями, бродящими по полям почерневшей пшеницы. Но здесь сегодня ей кажется, что она чувствует на шее поцелуй мертвеца, и она спрашивает себя, не ее ли это муж.

Электра все еще в золе. Это свидетельствует о целенаправленной преданности, которая и раздражает Пенелопу, и внушает ей невольное уважение. Дочь Агамемнона на несколько лет старше Телемаха, но до сих пор не замужем: она ожидала, как сама говорила, чтобы отец выбрал ей мужчину и благословил ее. Хотя у нее есть общая кровь с Еленой, в честь ее красоты ни в одном дворце не напишут фрески. Она унаследовала от отца ястребиный нос, а от матери — упрямый подбородок, и ее профиль похож на согнутый лист металла.

Волосы у нее в тугих завитках, связаны очень крепко — сейчас так не носят — и слишком густы, чтобы быть послушными. Глаза огромные, но о мечтательных глазах ее брата поэты скажут, что в них есть очаровательная открытость, а у Электры поворот головы напоминает движение хищной птицы, ее глаза впитывают свет так, будто каждый рядом с ней — всего лишь дрожащий заяц. У ее отца были такие же глаза, но он научился поворачивать голову медленно, как лев, который решает, сожрать вас сейчас или в его желудке пока достаточно крови, а он сыт и не хочет нападать.

Электра худая как жердь, одета в серый хитон. В детстве она носила золотые браслеты, подаренные матерью, и та прижимала ее к себе так крепко, что Электра боялась переломиться, и шептала ей на ухо: «Ты будешь жить. Ты будешь жить, моя дочь, и никто не причинит тебе вреда».

Электре было пять лет, когда ее сестру Ифигению принесли в жертву на алтаре Артемиды окровавленной рукой отца. Она почти ничего не помнит о сестре — только редкие вспышки боли.

— Госпожа моя Электра, — говорит Пенелопа, усаживаясь напротив девушки в темной комнате. С Электрой прибыли две служанки, такие же пепельные, как она сама, и теперь по вялому мановению костлявой руки они

исчезают. Непонятно, как обращаться к этой худенькой сгорбленной девушке. Она не царица, но теперь, когда ее брат Орест вот-вот станет царем Микен, она, по сути, сестра величайшего монарха всей Греции. И все же что такое в наше время сестра без мужа?

— Пенелопа... можно называть тебя Пенелопой? Мы ведь родственницы, верно?

Пенелопа улыбается и кивает.

— Хорошо, Электра. У тебя есть все, что нужно? Может, принести еще лампаду?

— Нет, спасибо, этого хватает. Твоего гостеприимства вполне достаточно.

Итак именно что достаточно. Это, можно сказать, девиз острова.

— Вся Греция скорбит о твоей потере. — Удачно, что царица может использовать эти простые слова. Таким образом задача по пролитию моря слез и вырыванию волос распределяется на множество разных людей, а твоей собственной красивой прическе не грозит непосредственная опасность расчленения.

— Я знаю. Моего отца любили.

Агамемнон — мясник Трои, который повел величайших мужей Греции на смерть в десятилетней войне по причине похищенной царицы. Поэты его точно любят; а когда кости станут прахом, а прах развеется над морем у руин сгоревшей Трои — в тот день любовь поэтов действительно станет единственным, что будет иметь значение.

Пенелопе нечего на это ответить.

Повисает молчание. Вместо него должна звучать светская болтовня. Пенелопа, хоть и умная, не очень умеет заниматься этим. Ей было позволено восемнадцать лет глубоко скорбеть по отсутствующему мужу, и это оказалось чем-то вроде подарка судьбы, приемлемым покровом ее молчания. Но в этой темной комнате должны

быть соблюдены определенные ритуалы и действия, которые Пенелопа теперь пытается раскопать в памяти, вытащить из-под слоя беспокойных мыслей.

Она открывает рот, чтобы начать с какого-нибудь незначительного замечания: может, о том, какого хорошего быка забьют в честь Агамемнона; или, может, с какой-нибудь истории, рассказанной ей мужем, когда они были молоды, о чудесах, связанных с этим великим царем. Все истории Одиссея были про его молодость. Пенелопа не знала его старым.

Потом Электра говорит:

— Ты хочешь узнать, зачем мы прибыли?

Ох, боги, вот спасибо, думает Пенелопа, а вслух говорит:

— Любой из дома Агамемнона всегда...

— Ты хочешь узнать, зачем мы прибыли на Итаку? — перебивает ее Электра, что ужасно грубо. Но грубость здесь желанна, освежающая, благословенна. — Мы могли бы прислать гонцов. Многие люди, в том числе и великие цари, узнали новости от жалких рабов. Даже мой дядя Менелай получил их от любимого виночерпия. Ты хочешь узнать, зачем мой брат и я лично приплыли на Итаку, на остров, который... — она морщит нос, пытаясь подыскать слово, которое было бы точным, но притом не оскорбительным, — так далеко находится от сферы интересов Микен?

— Мне приходил в голову этот вопрос, да.

Электра кивает. Ее мать любила лесть, любила остроумие. Однажды к ней пришел хороший поэт и ослепил ее своими играми, танцем слова; он не был воином, не был могущественным царем, но Клитемнестра обняла его, и он...

...Неважно. Достаточно о том, каким он был. Электра поклялась больше не думать о таких вещах. Она отреклась

не только от крови матери, но и от всего, что Клитемнестра могла бы с этой кровью ей передать. Любовь к музыке. Любовь к свежему, теплему хлебу. Длинные волосы, заплетенные в косу и уложенные вокруг головы. Желтый цвет. Упоение словами. Все это должно умереть вместе с женщиной, которая убила ее отца.

— Клитемнестра. — Даже просто произнеся это слово, Электра неуютно ежится, ей противно оттого, что оно у нее во рту, но есть дело, его надо сделать, и она его делает. — Убив нашего отца, она скрылась. Ее любовника мой брат умертвил, но сама она сбежала. Это... немужественно... неприемлемо... это оскорбление перед лицом богов, что убийца моего отца жива. Понимаешь?

— Думаю, да. Но это не объясняет, зачем вы приплыли на Итаку.

— Разве?

Электра сверкает глазами, вот оно снова: ястреб и лев; может, она и говорит сама себе, что сила у нее от отца, но и мать ее казалась такой же, когда мужчины начали шушукаться у нее за спиной, они шептали, что женщина не должна править как мужчина.

Будь Электра доброй, она бы выразила то, что у нее на сердце, рассказала бы все. Но она не добрая. Она поклялась больше не быть доброй.

Пенелопа ерзает в кресле, пытается найти слова, которые не будут признанием вины или угрозой.

— Хорошо. Раз мы так откровенно говорим друг с другом, как, вероятно, и положено родственницам... Орест не может быть царем, покуда не убьет мать, — заявляет она. — Ни один грек не пойдет за человеком, который слишком слаб, чтобы убить женщину. Сильные мужчины с алчными сердцами устремят взгляды на пустой трон Агамемнона. Например, твой дядя Менелай. Воин из-под Трои. Так что Оресту нужно действовать быстро, чтобы

отомстить за убийство отца и оборвать жизнь матери. Зачем приезжать на Итаку? Зачем тратить время на этот остров?

Пенелопа снова смотрит на Электру, ждет, что она произнесет то, что должно быть сказано, но Электра молчит. Ее молчание красноречиво. Оно говорит Пенелопе о многом, что ей не нравится в этой микенке.

— Вы приплыли, чтобы убить Клитемнестру.

Даже лев вдохнул бы воздуха перед ответом. Электра — нет.

— Да.

— Вы думаете, что она в царстве моего мужа?

— Да, думаем.

— Почему?

— У меня есть сведения, что она пробирается на запад. Итака — ворота в западные моря, и, если она хочет бежать, ей нужно сесть на корабль в твоей гавани. Ее след привел нас сюда. Нам кажется, мы ее почти догнали.

— У меня есть глаза и уши в собственном царстве. Я бы знала, если бы моя двоюродная сестра была здесь.

— Ты уверена? И что бы ты тогда сделала?

Осторожно — так осторожно — Пенелопа ищет слова.

— Если бы она пришла ко мне как царица, я бы приняла ее с честью. Теперь, когда я знаю, что она убийца, я с удовольствием посмотрю, как она сгорит.

Это ложь. Я кладу руку на плечи итакийской царицы, слегка сжимаю. Всемогущий Зевс если и взглянет вниз с Олимпа, то будет смотреть скорее на юного Телемаха, слоняющегося по галерее у двери Ореста, или на микенских мужчин, расхаживающих по палубам своих кораблей, или на блеск в углу глаза Менелая, слушающего новости о смерти брата. Мой муж не смотрит на эти покои, на этих женщин. Сегодня вечером божественное присутствие здесь лишь мое.

— Ну что ж, — наконец задумчиво произносит Электра. — Ну что ж. Моя мать хитра. Она умеет прятаться.

— Я могу отправить гонцов, потребовать, чтоб обыскали все корабли, все...

— Да, сделай это: закрой гавани.

— Мы небогатая земля. Через наши гавани проходит не только олово и янтарь. Еще и зерно для моих людей, корм для их скота.

— Тогда придется найти ее быстро, верно?

Пенелопа давится вдохом, проглатывает его, поворачивает голову к слабому, мерцающему огоньку, потом снова к Электре.

— Мой муж был союзником твоего отца. Западные острова в твоём распоряжении, как всегда.

Электра улыбается, и это улыбка голого черепа, что смеется шуткам, которые нравятся только Аиду. Она слегка наклоняет голову, и Пенелопа встает. Служанки в тени уходят еще глубже во тьму, как будто говоря: «Кто, мы? Нас вообще тут нет».

Потом, когда Пенелопа уже открывает дверь, Электра говорит:

— Ты играла в детстве с моей матерью, верно? Вы обе росли в Спарте.

Когда-то на лугах Спарты играли три царицы, три босоногие девочки бегали под солнцем. Где они теперь? Глаза Пенелопы устремлены куда-то далеко.

— Клитемнестра дергала меня за косы, а Елена говорила, что я хожу как утка.

— Она управляла Микенами, как ты теперь правишь вместо своего мужа.

— Да, — задумчиво говорит Пенелопа, — так и было. Однако я уверена, что завтра Орест обратится к моему совету, к верным людям, которые любят Одиссея, и будет обсуждать эти важные вопросы с моим сыном, а как

только они закончат, пошлют за мной и скажут, что гавани должны быть закрыты, а весь архипелаг — обыскан. И какая царица — или царь — смогла бы не согласиться с таким мудрым советом?

Электра почти не знает свою двоюродную тетку, но ей кажется, что она видит в ней что-то от своей матери, и хочет любить ее и ненавидеть, попросить ее благословения и плюнуть ей в лицо.

Электру никто не обнимал уже одиннадцать лет, с того самого дня, когда она оттолкнула Клитемнестру и закричала: «Я не Ифигения!» — и убежала из комнаты, и больше не была любима своей матерью. Электра однажды поцеловала мальчика-раба за кузней, и его руки дотянулись до ее укромных мест, и она заплакала и захотела еще, а потом оттолкнула его и убежала от запаха металла и пламени, а потом продала его, чтобы его глаза больше не могли обжигать ее лицо, и больше не взглянула на мужчину.

Мое божественное мнение — а я в этих делах разбираюсь как никто — таково: у Электры невероятная каша и в голове, и в сердце.

Так что она отвечает:

— Все так, как ты говоришь, сестра моя. Все так, как ты говоришь.

И всю ночь не спит, кроме тех часов, когда спит, но поэты скажут другое.



Итака спит и видит сны.

Телемаху снятся свистящие копья и разбитые щиты, боевые кличи и солнечный блеск на доспехах отважных мужчин. Он будет упражняться каждый час каждого дня и иногда даже ночи, чтобы послужить своей отчизне, чтобы быть таким же героем, каким был — является — его отец. Но во сне он направляет копье в какого-то окровавленного врага, а оно замедляется, застревает в воздухе, становится таким тяжелым, что не удержать, и в Телемаху со всех сторон вонзаются проворные кинжалы, и он умирает во сне.

Афина иногда посылает ему сны получше, но, покуда жив отец, она часто забывает про сына.

Электре снится, как она заглядывает в дверь комнаты своей матери и видит, как женщина кричит от блаженства, а между ног у нее губы поэта. Электра не представляла,

что женщина может испытывать наслаждение. Когда она спросила об этом у своих учителей, ей сказали, что это непотребство, и послали за жрицей Афродиты, и та одним действительно выдающимся днем рассказала Электре, откуда берутся дети, что у нее пойдет кровь в соответствии с движением луны и наслаждение женщинам дается только для того, чтобы служить наслаждению их мужей. В этой беседе не упоминалось о том, что мужчины иногда отрывают женщин от мужей, чтобы доставить себе наслаждение, потому что зачем в самом деле вдаваться в такие мелкие подробности?

С того дня, как был убит отец Электры, луна два раза прошла свой круг. Все это время у Электры не шла кровь. Она задается вопросом, пойдет ли она когда-либо снова.

Оресту снятся три тени у его двери, он слышит смех эриний и знает, что жизнь его распадается на куски.

Служанки тоже видят сны — даже те, кого поэты не назовут по имени. Эос снится, как однажды она станет, как Урания, женщиной с сокровенной властью и тайнами. Она будет вертеть мужчинами как захочет, о ее мощи будут шептаться по всем берегам широкого моря, и никто не будет знать ее имени. Ей кажется, что это предельная сила, и она улыбается при мысли о том, сколько мужчин отдало жизни за то, чтобы помниться поэтам, хотя сама она предпочла бы жить, жить, жить чудесную, длинную и счастливую жизнь и быть немедленно позабытой после смерти. Конечно, ей еще много придется поработать. Но она знает, как сделаться незаменимой, а для рабыни это тоже своего рода власть — может быть, иной у нее и не будет.

Автоное снится бесконечный черный лес, из которого она не может выбраться. Она пытается смеяться, улыбаться, победить тьму весельем, как она побеждает все остальное, отогнать страшный сон своей непокорностью; но дурные сны не оставляют ее.

Леанире — как они с сестрой еще до пожара бегут к храму Аполлона, маленькие ноги несутся по пыльным тропинкам, маленькие руки воздеты к золотым фигурам. Но даже в это нетронутое воспоминание приходит пожар. Он прокрадывается в ее детство, заполняет отрочество кровью и дымом, выжигает и опустошает черепа ее братьев и матери, кричащих на полу. Пожар Трои забрал у нее даже прошлое, даже сны, и у нее не осталось ничего, кроме огня.

В доме, где пахнет жасмином и рыбой, Приена тоже видит сны.

Она видит во сне Пентесилею, свою воинственную царицу, и тот день, когда пришли гонцы из Трои, призывая союзников на войну. Ей снится день, когда она увидела вдалеке танцующего Ахиллеса — о, какой это был танец: бронза, и солнце, и гибкость тела. Он сражался как женщина, не грубой силой, а хитростью и скоростью. Он не ждал, чтобы оценить, сильнее ли он, чем противник, а отпрыгивал в сторону от тяжелого, неуклюжего копья, чтобы поразить бьющуюся вену нелепого огромного воина. Он давал своему увесистому мечу оттянуть себя в сторону, чтобы потом метнуться под руку сопернику и вогнать лезвие в щель между блестящими доспехами. Но и Пентесилея не давала ему спуска: двигалась так же, как двигался он, не поддавалась на легкие ловушки, не приближалась, когда его длинная рука взмахивала в окровавленном воздухе, искала сухожилия и суставы, запястье и пальцы, дотягиваясь до чего могла, прежде чем начать убивать.

Во сне Приена бежит, бежит к Пентесилее, бежит помочь своей царице. Хоть эта владычица востока и была несравненной женщиной, рожденной в краях, где бродят волк и медведь, ее тоже заразила болезнь поэтов, потому что перед этой единственной битвой против Ахиллеса она

провозгласила: «Я буду сражаться с ним одна». Очевидное безумие. Вздорный отказ от собственных воинских традиций — ведь начиная с того самого дня, когда они впервые все вместе пили молоко кобылицы под серебряным небом, они были сестрами и стаей. И все же она сказала: «Мое имя будут воспевать как имя убийцы Ахиллеса». И, таким образом, от рук поэтов не меньше, чем от меча Ахиллеса, она погибла.

Приене снятся лошади, скачущие по равнине, и комары над рекой, и что, когда она дышала, рана на спине открывалась и закрывалась, словно рот выброшенной на берег рыбы, и тогда она просыпается и дотягивается до своих ножей, а они всегда близко, и, обнаружив их под рукой и утешившись, снова падает на ложе, и спит, и видит сны.

Была ночь под стенами Трои, когда Афина вошла в сны Одиссея и проговорила (я просто пересказываю): «Ух ты, какая хорошая лошадь».

Была ночь в Спарте, когда Афродита опустила пальцы в чашу Париса, окрасила его губы красным и пробормотала: «Какая у его жены милая попка, правда?»

Я нечасто захожу в сны смертных, ибо мой муж считает, что я способна посеять в них какой-то образ себя, могу прикоснуться губами к их сонным губам, позволить себе непристойную близость под звездным небом. Даже самые лестные изображения меня во всей моей славе показывают меня слегка располневшей, с двойным подбородком — мать, которая немножко себя запустила. Никто не хочет, чтобы во мраке ночи к ним пришла толстуха Гера. Но сегодня я смотрю на Приену, спящую воительницу с востока, и вспоминаю, как выглядела ее богиня, вздымавшая руки над великою рекой, текущей к морю, как ее глаза сияли, а язык трогал приоткрытые губы, и, оглянувшись украдкой через плечо, чтобы удостовериться, что никто

не подглядывает из-за летящих по небу облаков, я проникаю в сны Приены.

— Узри меня, дочь моя, — шепчу я, и мой голос как бегущая вода, волосы как танцующее пламя. — Научи моих женщин сражаться.

Приена так давно не видела во сне своих богов. Она думала, что они оставили ее, и теперь она простирает ко мне дрожащие руки и восклицает на своем родном языке: «Матерь, Матерь, Табити, Матерь!» Я не задерживаюсь, не отвечаю. Хотя мы и далеко от ее страны, но госпожа востока может разгневаться, если увидит, что кто-то перехватывает обращенные к ней молитвы — пусть даже он настолько великолепный, как и я.

— Научи моих женщин сражаться, — выдыхаю я, и ночь превращается в день.



На второй день траура мальчики Итаки собираются на занятие.

Да, повсюду слышится вой, и в память об Агамемноне на алтарях воздаются обильные возлияния. Да, в залах Одиссеева дворца сегодня не будет пира. Но луна все еще чертит свой круг, да, чертит — она была тонкой и темной, будто тоже рыдала над тираном Агамемноном, а теперь снова толстеет, целуя море серебряными лучами, и в этот раз население западных островов с ненавистью смотрит на ее ширящуюся улыбку, потому что вместе с полной луною придут морские разбойники.

Под сенью дворцовых стен Пейсенор наставляет мальчиков, у которых не было отцов, в искусстве войны.

Это жалкое зрелище.

Не то чтобы у этих юнцов не хватало воли или дарования. Многие — особенно те, кто близок к Телемаху, —

с готовностью пошли добровольцами, увидев возможность покрыть себя славой, защищая отечество. Некоторые учились мечевому бою, когда были помладше, но поскольку никто особенно не занимался их обучением, то они откладывали меч, несколько раз разрубив металлом воздух, потому что этого было достаточно, чтобы казаться доблестными; но они не изучали искусство убивать. Многие из них — выброшенные щенки, о которых ни Полибий, ни Эвпейт не будут горевать, если они погибнут. Самому младшему четырнадцать, и он едва может поднять свой щит.

— Ладно! — рычит Пейсенор. — Еще раз!

Остальные наблюдают. Четыре воеводы этого маленького отряда: Эгиптий, Пейсенор, Полибий и Эвпейт — смотрят на толпу мальчиков, едва ставших юношами, которые машут друг на друга мечами, то и дело принимают героические позы, шатаясь под весом оружия, и всячески стараются выглядеть бодрыми в этом бесполезном танце.

Ни Антиноя, ни Эвримаха среди них нет. Их отцы не станут ставить под угрозу их жизни. Амфином сказал, что поможет, но ему нет нужды заниматься. Он придет, когда его позовут, так он сказал. Так он сказал.

Еще один жених смотрит на то, как Пейсенор наставляет свои войска. Кенамон из Мемфиса ловит себя на том, что качает головой, и пытается остановиться, понимая, что, если это кто-то увидит, его сочтут очень невежливым.

За столом совета из тиса и черепахового панциря старый Медон выплевывает шелуху семян, медленно пережевывает их мягкие внутренности и наконец с полным ртом изрекает:

— Ну что, мы в заднице, как я погляжу?

Обращаясь к мудрым старцам советникам, Медон несколько более осмотрителен в выборе слов. Но когда обращается только к царице, которой, скажем прямо, есть чем



заняться, он чувствует себя вправе просто говорить уже все как есть, не тратя времени на риторические украшения.

— Я бы так не сказала, — отвечает Пенелопа.

— А как еще это назвать? Клитемнестра на Итаке? Если так, то мы все плывем в дырявой лодке по Стиксу.

— Если мы найдем и отдадим ее детям — то нет.

Медон с удовольствием ругнулся бы еще раз, но даже у Пенелопиной выдержки есть свои границы, так что он просто нагло скалится и задирает брови. Пенелопа вздыхает. Она часто вздыхает в последние дни. Не стоит, пожалуй, винить кормилицу Эвриклею за то, что привила ее сыну такую привычку.

— А что еще ты хочешь, чтобы я сделала? Если Орест ее не найдет, его положение в Микенах станет весьма шатким. Его место займет дядя. Можешь себе представить Менелая царем и Спарты, и Микен? Тирана, рядом с которым его брат — сияющий образец умеренности? А если он решит, что именно мы укрываем преступную царицу, то лучшего предлога для вторжения и не придумать. Менелай всегда с жадностью смотрел на западные гавани. Нет, нам придется либо отыскать Клитемнестру, либо найти какой-то способ доказать Электре, что ее больше здесь нет.

— Оресту?

— Что?

— Ты сказала: доказать Электре. Хотела сказать: Оресту?

— Да-да, конечно, — досадливо отмахивается царица.

Медон втягивает воздух долго и медленно, так, что под его подтянутой вверх губой становятся видны редкие кривые зубы, пожелтевшие от меда.

— Что? — рявкает она. — Говори.

— Почему Итака? Если Клитемнестра и правда здесь, то почему? Она могла убежать на юг, на Крит, или на север, к варварам. Почему на Итаку?

— Ты считаешь, она пришла ко мне за помощью?

Медон пожимает плечами. Кто-нибудь так подумает. Наверняка уже подумал. Почему бы ему не исполнить свой долг мудреца и тоже не подумать так же, просто чтобы не отставать от событий?

Вздых Пенелопы почти переходит в рычание.

— Кровь у нас, может, и общая, но нет никаких родственных чувств, не говоря уже о дружбе. Знаешь, что она сказала, когда Одиссей взял меня в жены? «Уточка Пенелопа наконец-то входит в воду с сыном гуся».

— Но ты царица.

— Да что ты? Слава Гере, а я и не заметила.

— Две греческие царицы, обе потеряли мужей...

— Но никто не рвался получить руку Клитемнестры, пока ее мужа не было дома, вот странно, правда?

— Может, потому, что ее рука была засунута по локоть в задницу поэта?

— Какая мерзость.

Медон снова пожимает плечами. Он просто пытается думать как обыватель, чтобы быть полезным.

— Все это знали. Агамемнон, наверное, был единственный, кто не знал. Представляешь, как он удивился, когда выяснил это?

— А представляешь, как удивилась Клитемнестра, когда он вернулся? Она столько лет управляла страной: сначала десять лет отсылала припасы для его бесконечной осады, потом еще семь, пока его скучающие, обозленные воины медленно двигались домой, помаленьку промышляя грабежом, а он сам совершал набеги в южных морях. И вдруг в один прекрасный день он возникает на пороге и кричит: «Дорогая, я дома, вот мои сокровища, а вот мои наложницы, найди-ка им комнату».

Клитемнестра, убегая из дворца, перерезала горло Кассандре, царевне Трои. Кассандра не сопротивлялась. Спустя год после того, как Агамемнон затащил ее за волосы

к себе в постель и лез языком ей в рот, держа за горло, она поняла, что крики ничего не изменят. Спустя два года даже он сам поверил, что ее молчание — это некий знак согласия, и придумывал истории, в которых она была счастлива, что принадлежит ему. Когда, спустя семь лет, Клитемнестра убила ее, Кассандра бросила говорить вовсе, зная, что никто не поверит ей и всем будет наплевать. Так умерла пророчица Трои, игрушка богов и людей.

— Если закрыть гавани, будет худо, — размышляет Медон в мрачной многозначительной тишине. — Мы ведь торговцы и больше никто.

— Ты уже отправил вести на север?

— Гонец отплывает с вечерним приливом.

— Может, ему стоит сначала заехать на Закинф?

— Зачем? — Медон впивается ей в глаза подозрительным взглядом. — Ветер сейчас не попутный, это только затянет его поездку.

— Но с Закинфа постоянно уходят корабли в западные колонии, к тому же, если бы она была на севере, разве мы не узнали бы?

Медон суживает глаза, словно жмурится от злого солнца. Мгновение он гадает, кому верить: девочке, которую знал, или царице, которая стоит перед ним. Он выбирает. Он раскаивается.

— Хорошо. Пусть сначала отправится на юг. Может быть, нам повезет. Возможно, Клитемнестра вовсе не на Итаке, — выдыхает он, и по его голосу понятно, что он не верит в это ни на грош.

Пенелопа научилась прятать лицо от взгляда мужчин, но Медон хорошо изучил ее молчание, поэтому поднимает голову и резко спрашивает:

— Что? Что такое?

— Я нашла перстень. В Фенере.

— Что ты делала в Фенере?

— Работала царицей! Любой царь отправился бы туда и сказал героическую речь про отмщение, кровь и всякое такое. Мне нужно делать так. Мне нужно... Там под скалами был труп, человек по имени Гиллас, контрабандист. Ты веришь в то, что это иллирийцы грабят наши берега?

— Нет. А ты?

Пенелопа поджимает губы, склонив голову набок и оценивая этого человека, которого она знает почти всю свою взрослую жизнь и которому она все же не может доверять, пока не доиграна эта игра, точно так же как никогда не сможет доверять никакому мужчине.

— Нет, я думаю, это греки, переодетые в варваров. Наверное, кто-то из женихов платит им, пытаюсь вынудить меня к браку. Выходи замуж — или будь проклята. Храбрый ход. Безрассудный, но храбрый.

В ее словах даже нечто вроде восхищения. Гектор тоже восхищался Ахиллесом до самого конца.

— А ты знаешь который?

— У меня есть подозрения. Но, кто бы ни были эти разбойники и кем бы ни были подсланы, им нужны рабы, а не трупы. Этот Гиллас — ему не пробили мечом сердце, не вспороли грудь. Была одна ножевая рана вот тут. — Она прикасается к верхней части горла, там, где к шее примыкает челюсть, такое странное место для прикосновения, она даже удивленно вздрагивает. — Маленькое лезвие, нечто вроде...

...Того, что могла бы прятать на теле царица; та, которая боится, что ее обесчестят, и не уверена, что эринии ответят, если она будет взывать к ним. Говорить такое вслух неразумно, даже перед таким достойным человеком, как Медон.

— Хотела бы я знать, как близко надо подойти, чтобы убить человека таким образом? — Она поднимается, оценивая расстояние между собой и Медоном. Старый



советник отступает на шаг, даже не осознавая этого. — Либо ты издали видишь, что тебя идут убивать, но тебе некуда бежать, ты прижат к стенке, бессильный и замерший, как заяц перед волком... либо убийца так близко, что ты даже не видишь ножа и ничего не подозреваешь до того самого мига, как оказывается, что железка в горле мешает тебе дышать.

— Я понятия не имел, что ты так много знаешь о смерти, — бормочет Медон, и на миг он ошарашен, поняв, что девочка-царица при дворе Одиссея становилась взрослой женщиной под влиянием неких сил, которые он не до конца понимает.

— Я очень мало знаю об убийствах, — отвечает она, пожав плечами. — Это дело мужчин. Но ведь именно женщины обряжают трупы убитых и причитают над ними, правда?

Жена Медона умерла, когда у нее в груди образовалась черная опухоль. Пока была жива, она не позволяла ему отвести в сторону ткань, которая стягивала этот скорбный сгусток боли, а когда умерла, женщины унесли ее на кладбище. Медон облизывает губы, отводит внутренний взор.

— Ты говорила про перстень.

— Ах да. Он был спрятан у Гилласа. Золотой, с царской печатью. Печатью Агамемнона.

— У контрабандиста?

— У мертвого контрабандиста. Это меня больше всего беспокоит. Живой контрабандист, вероятно, получил этот увесистый перстень в уплату за свои услуги, то есть, надо надеяться, за то, чтобы увезти мою двоюродную сестру как можно дальше от Итаки. А вот мертвый контрабандист, у которого все еще при себе очень узнаваемый перстень, который он не успел переплавить... Значит, он не успел предоставить свои услуги.

— Ты думаешь, перстень дала ему Клитемнестра?

— Думаю, да, чтобы оплатить перевозку. Но если он погиб и погиб на Итаке, то встает вопрос, состоялась ли эта перевозка.

Они погружаются в тревожное молчание, размышляя над этим. Наконец, глядя куда-то в пространство или скорее в собственные дурные мысли Медон бурчит:

— Это ополчение — дурацкая затея.

— Согласна.

— Ты знаешь, что у него всего сорок мальчишек? Египтий попытается выставить дозоры, Полибий захочет защитить гавани, Эвпейт прикажет им охранять житницы... К тому времени, когда они узнают о набеге и соберутся вместе, либо будет уже поздно, либо их окажется недостаточно.

— Я знаю. — Голос тихий, как крыло бабочки, невесомый, как паутинка, а Пенелопа смотрит в будущее, и как же она устала в него смотреть. — Я всю надежду полагаю на то, что наши воеводы настолько плохо справятся с делом, что мой сын останется жив.

— Ты ведь знаешь, что с ним все будет хорошо. Он сын...

— Если ты сейчас скажешь, что он сын Одиссея, так, будто это какой-то священный оберег, я закричу, — предупреждает она голосом, звонким, как пустой барабан. — Я буду выть, выдирать себе волосы, все как положено. Клянусь Гёрой, я так и сделаю.

Детка, шепчу я, я рядом, я помогу. Как часто, когда мой муж возвращался, вдоволь наразвлекавшись, я пролила бурные водопады слез, разрывала на себе одежды, бросалась на землю и клялась, что умру, царапала себе лицо, до крови раздирала свою небесную кожу и колотила его кулаками в грудь. Надолго это не изменит его поведения, но, по крайней мере, мне удастся поставить его в неудобное положение, сделать ему неприятно на одну тысячную тысячной доли того, как он унижает,

уничижает, обесчещивает и обесчеловечивает меня. Так что ты давай вой. А я принесу оливки.

Возможно, Медон слышит в воздухе эхо моего голоса или от моего дыхания по его коже побежали мурашки, потому что ему хватает совести отвести глаза и помолчать немного, прежде чем спросить:

— Что будешь делать?

— С чем? — вздыхает она. — С налетами? С сестрой? С Электрой и Орестом? Со своим сыном?

— Со всем этим. Я тут думал... со всем этим.

— Медон...

— Восемь лет прошло, как Троя пала. Я знаю, что это будет катастрофа, понимаю, но, если ты выйдешь замуж за одного из них... это катастрофа меньшая, чем то, что произойдет в ином случае.

— Так, небольшая междоусобная войнушка? Незначительная кровавая банька сейчас, зато потом не произойдет нечто более ужасное?

— Ну, если честно, то да. Скажем, ты выйдешь за Антиноя: да, придется воевать с Эвримахом, но, по крайней мере, житницы будут в безопасности, и, когда он сядет на трон...

— А что, если победит Эвримах?

— Ну ладно, за Андремона. Царем он будет ужасным, но, во всяком случае, у него есть военный опыт и связи, и это позволит тебе...

— Амфином не потерпит Андремона на троне, и он достаточно умен, чтобы иметь союзников на Кефалонии...

— Пенелопа! — он повышает голос. Он этого не делал с того далекого дня, когда ей было восемнадцать и она швырнула горшком в Эвриклею за то, что та утащила Телемаха из колыбели. «Кто у нас тут маленький герой? Вот он, наш маленький герой, уютюшеньки», — ворковала нянька, а сын Пенелопы хватал ее за палец с силой, не вполне достойной Геракла. — Моя царица, — поправляется

он, — война все равно будет. Ты не можешь ее предотвратить. Выбери кого-то сейчас, пока Орест на острове; используй это время с пользой для себя. Ты просто оттягиваешь неизбежное.

— Я делаю не это.

— Пенелопа, моя царица...

— Не это. Медон, поверь: я не это делаю. Я не оттягиваю неизбежное. Я знаю, что мне придется снова выйти замуж. Знаю.

— Ты ждешь мужа.

— Что? Нет. В смысле... Ну да, это тоже влияет на меня.

— Ты все еще его любишь?

Пенелопа хорошо научилась прятать лицо от мужских взглядов, но иногда даже она бывает ошарашена.

— Что?

— Я имею в виду, учитывая твои слезы, горе...

— Очень полезные, очень удобные слезы и горе.

— Так ты не... — пытается произнести он, выталкивая слова изо рта будто зараженный нарыв.

— Мы поженились, когда мне было шестнадцать. Он был мил, все было мило, я была очень рада, что это он, а не... почти кто угодно другой. Я помню, как оглядывала двор своего отца и мужчин Греции и думала: «Ну что ж, слава Гере, все могло быть гораздо хуже». Это любовь?

Пенелопа, девушка, которая еще не стала женщиной, лежала в объятиях мужа под звездным небом и чувствовала... так много всего. Она была юной, начинала познавать свое тело, саму себя, ту, кем хотела стать, и она так хотела любить. Она прижалась носом к его груди, и он крепко обнял ее, у нее мерзли руки, а лицо нагрелось от тепла его тела, и она подумала: «Может быть, это любовь?» — и ее мысли были полны грез о том, что это может значить.

Поэты редко говорят о любви за пределами мига восторга или предательства. Геракл, убивший жену и ребенка

в лихорадочном сне. В его безумии винят меня, но я лишь дергаю за струны мужских сердец, я их не создаю. Великолепная Медея, осмеянная и осмеивающая; Аталанта, поклявшаяся сохранять девственность, чтобы у нее не отняли ее силу; Ариадна, которую швыряли друг другу, как тряпичную куклу, боги и люди. Поэты не поют песен о мирной, тихой жизни, о мужчине и женщине, безмятежно стареющих вместе.

«Можно ли любить, — думала Пенелопа в том первом своем и последнем путешествии на Итаку, — не будучи героем?»

И все же она вспомнила, как Менелай взял Елену под подбородок, посмотрел ей в глаза и сказал: «Ты моя», и как ее двоюродная сестра неискренне улыбнулась и превратила это все в игру, и как она боялась. И как потом, после того как Менелай с хрюканьем вторгся в нее, лапая ее тело, Елена сказала: «Хорошо принадлежать мужчине. Хорошо знать, что мне не о чем беспокоиться». Может быть, Елена думала, что если скажет это вслух, то и сама поверит, — но, очевидно, она не вполне убедила себя к тому дню, когда на горизонте показался Парис.

Шестнадцатилетняя Пенелопа покинула дворец своего отца, чтобы выйти замуж за человека, которого знала три недели, и она стояла на носу корабля, направлявшегося на Итаку, и закрыла глаза, и повторяла: «Я буду любить, я буду любить, я буду любить». Она найдет свое место, будет довольна и назовет это любовью. Любовь — это больше, чем то, на что может рассчитывать царица, но самое меньшее, что может сделать женщина.

А теперь ей приходит в голову — не первый раз, — что горюющей одинокой женщиной она была гораздо дольше, чем счастливой замужней женой, делящей ложе с супругом. Что она гораздо чаще хмурилась и натягивала на лицо приличествующую ей глубочайшую скорбь при

упоминании о нем, чем улыбалась ему. Что она произносит его имя лишь для какой-то политической игры, а не потому, что слышит его шаги и хочет окликнуть мужа.

«Я буду любить, я буду любить, я буду любить», — шепчет Пенелопа дневным теням.

Однажды, вероятно, она будет любить снова — пусть даже пока не знает кого.

— Если это не любовь, то чего ты ждешь, можно спросить? — это Медон. Он когда-то любил свою жену, но такому мужчине, как он, не пристало говорить о любви.

— Что?

— Если ты не ждешь возвращения Одиссея и если знаешь, что должна выйти замуж, то зачем ждать? Все равно будет война. Что даст ожидание?

— «Все равно будет война». Мне не нравятся неизбежности.

— Думаешь, есть способ ее предотвратить?

Губы Пенелопы становятся тоньше, и миг она размышляет, не рассказать ли ему о воительнице с востока, о женщине с ножами в руках и во взгляде. Но не рассказывает. Если Медон не говорит о любви, то и Пенелопе не стоит говорить о войне.

— Может, и нет. Но я обязана попытаться ради своего народа, ради наследия мужа.

— Как долго ты будешь пытаться? Сколько времени ты будешь ткать саван Лаэрта?

— Так долго, как смогу.

— Извини меня за прямоту, но выглядит это все не как то, что ты делаешь ради Итаки. Похоже, ты делаешь это ради себя самой.

— Ради... себя? — в ее голосе подавляемая ярость, она словно хлестнула словами ему по щеке. — Ты полагаешь, я позволяю сотне мужчин пускать слюни над своим телом и над своей землей каждый вечер — ради себя? Думаешь,

я выношу их бесконечную клевету, их непрестанные разговоры, оскорбления, унижаюсь каждый день — ради себя? Я делаю это для своего народа и для своего сына!

Пенелопа прикрывает рот рукой, боясь, что ее громкий голос привлек внимание чутких ушей в галереях дворца. Они с Медоном несколько мгновений стоят беззвучно, прислушиваясь к легкому топоту торопливых ног и еле слышному смеху за полуприкрытой дверью. Ничего. Только чайки дерутся над подтухшей рыбиной; только кости булькают в котле на кухне.

Наконец Медон произносит:

— Ты не сможешь вечно защищать Телемаха.

Она горбится.

— Знаю.

— Ему придется самому пробивать себе дорогу.

— Если бы он делал все, чего хочет, то, как только ему исполнилось шестнадцать, собрал бы вокруг себя всех верных слуг моего мужа, кого смог, и потребовал бы Итаку себе. Можешь себе это представить? Мальчишка на троне, не прошедший ни одной битвы; нас бы захватили через неделю.

— Орест ненамного старше, а станет царем в Микенах.

— Да? А почему до сих пор не царь? Ах да, вспомнила: ему же сначала надо убить свою мать, доказать, что у него есть мужество, чтобы править. Убить свою мать, чтобы доказать свой царский авторитет! Не хотела бы я, чтобы Телемах принял эту идею близко к сердцу.

— Он бы никогда... Неужели ты думаешь, что он смог бы?!

— Что бы ты сделал, если бы я завела любовника?

— Немедленно ушел бы с должности и уехал бы по-дальше отсюда.

— Почему?

Медон не отвечает, и она улыбается, кивает. Кажется, вот-вот заплачет. Она не помнит, когда плакала в последний

раз не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а потому, что ей просто хотелось поплакать.

— В тот же миг, как заведу любовника, я буду опозорена как жена Одиссея. Женитьба на мне перестанет быть способом занять трон, притязания женихов будут уничтожены моей нечестивостью, и я стану для Телемаха только обузой. В лучшем случае ему придется отправить меня в какой-нибудь далекий храм, чтобы я там каялась и посыпала голову пеплом. В худшем — чтобы все знали, что он не сын своей матери, ему придется сделать то же, что и Оресту: доказать, что он мужчина, сын своего отца, достойный того, чтобы защищать честь и трон Одиссея.

— Он не стал бы.

— Не стал бы? А я вот иногда задаюсь этим вопросом. Я ведь не всегда была... Когда любишь ребенка, иногда бывает сложно его защитить.

Медон некоторое время молчит, потом складывает руки на груди, заранее защищаясь от того, что последует.

— Ладно, — говорит он решительно, — выходи за Амфинома. Он не хуже остальных готов к войне, будет сносно относиться к тебе и, вероятно, не станет сразу убивать Телемаха. Уговори его в обмен на твою руку отправить сына в изгнание — назови это походом! Пусть Амфином пошлет Телемаха в очень героический поход с какой-нибудь доблестной целью: за щитом Ахиллеса или хвостом сфинкса, чем-нибудь таким, — а вы пока выиграете войну и приведете все в порядок; и, когда Телемах вернется, он либо будет достаточно силен, чтобы убить Амфинома и потребовать себе свое — и тебя ему не придется убивать, ты ведь была в честном браке, а мужественность свою он уже доказал своим походом, — либо достаточно повзрослеет, чтобы успокоиться и не создавать сложностей. В любом случае все выиграют.

— Или мой сын погибнет в бессмысленном походе.

— Или твой сын погибнет в бессмысленном походе, — соглашается Медон, отрывисто кивнув. — Но с гораздо меньшей вероятностью, чем оставаясь на Итаке, где Антиной или Андромен перережут ему горло во сне. Что скажешь? Ты, Амфином, все золото Итаки и все копья, которые ты сможешь собрать, у алтаря, послезавтра?

Медон так близок к завершению этой сделки — можно подумать, он торгуется за рыбу на рынке, — что чуть было не плюет себе на ладонь и не протягивает ее Пенелопе. Она мгновение смотрит на этого торгаша, не зная, что и думать по поводу его решительно сдвинутых бровей и выпирающего подбородка, и наконец начинает смеяться. Она смеется, и через мгновение он тоже начинает смеяться, и смех не разрешает никаких сложностей, и они не могут вспомнить, когда в последний раз смеялись вместе, да и порознь тоже, и некоторое время я смеюсь вместе с ними — ибо где мне еще находить веселье, как не в чужих жизнях?

Когда смех стихает, они, икая, сидят некоторое время молча, и наконец Медон прокашливается и говорит:

— Ну и что теперь?

— Я не могу запретить Пейсенору обучать свое ополчение, а цена за то, чтобы разбойники перестали нападать, мне определенно не по карману. Я кое-что придумала взамен, но это довольно... — Она тянет звук, машет рукой в воздухе, ища слово.

— Богопротивно? — спрашивает Медон. — Неосмотрительно?

— И то и другое понемножку, да. Что же до Клитемнестры... Нам надо ее найти. У меня есть идея, где стоит поискать.

— Присутствие Ореста может оказаться для тебя полезным. Никто не начнет войну, пока дети Агамемнона пребывают на твоём острове.

— Может быть. Но каждый час, что отделяет Ореста от воцарения в Микенах, — это час, в который его дядя может решить, что пришла его очередь. Может, моему сыну стоит присутствовать на венчании Ореста на царство? Тогда он на несколько месяцев уехал бы с Итаки, и ему может пойти это на пользу...

— Это безопаснее, чем поход, и он как следует познакомится с двоюродным братом...

— Именно. А может, его укачает на корабле и он сочтет это достаточным приключением.

— Я всегда восхищался тем, какие высокие цели ты готова ставить своему сыну.

Пенелопа открывает рот, чтобы отрезать, ответить что-нибудь грубое, выдать какой-нибудь звук из тех, за которые в детстве ее били, но тут стук в дверь заставляет ее подавиться вдохом.

Дверь осторожно приоткрывает Автоноя, просачивается внутрь, шепчет на ухо Пенелопе.

— Ага, — бормочет Пенелопа, — понятно. Прости, Медон. Меня охватила женская слабость, и мне нужно уйти к себе.

— Я всегда восхищался безупречной своевременностью твоих женских слабостей.

— Рада, что кто-то это оценил.

Он слегка кланяется, снова улыбаясь ей: на миг ей становится хорошо, и она удивляется непривычности этого чувства. Потом дверь закрывается, выпуская ее в узкую галерею; взгляд налево, взгляд направо, высматривающий наблюдающие исподтишка глаза, а потом следом за Автоноей почти бегом — быстрее царица двигаться не смеет — поднимается вверх.

— Она вошла в ворота? Ее видели? — шепчет она.

— Нет, влезла в окно.

— В мое окно?!

- Да.
- Отличная у меня охрана.
- Я послала за Семелой и Уранией.
- Хорошо, тогда...

Автоноя открывает дверь опочивальни. Приена сидит в любимом кресле Пенелопы, в ее опочивальне, ее святая святых, с таким видом, будто бы выросла там вместе с оливковым деревом. Уголки ее губ смотрят вниз, голова опущена, руки висят, будто она вся скользит вниз, вниз, вниз, словно глина после дождя по склону холма, слишком уставшая, чтобы держаться прямо. Она не встает, когда входит Пенелопа, не отдает почестей иноземной царице. Вместо этого чуть приподнимает голову, ждет, пока выйдет Автоноя, а потом буркает:

— Ты заплатишь мне очень, очень хорошо. Говорят, у тебя в пещерах спрятано золото.

Пенелопа медлит — складывает руки на животе, выпрямляется. Каждый раз, торгуясь за зерно, она понимает, что ее самое полезное качество — это готовность не торопиться, спрятать отчаянную потребность за медлительностью, иногда похожей на сонливость.

— Нам придется обсудить более подробно, что такое «очень хорошо», — говорит она. — Я правильно понимаю, что в целом мое предложение ты принимаешь?

Приена поднимается, распрямляя по конечности зараз. Андремон, вероятно, распознал бы повадку воина в этой женщине, которая не хочет тратить хоть на каплю больше энергии, чем необходимо, пока не настало время убивать. Приена тоже кое-что узнала бы в Андремоне и оскалилась бы.

— Никаких тяжелых копий, как у мужчин. Никаких бронзовых доспехов. Будем пользоваться луками, стрелами, ловушками, двойными лезвиями, огнем.

— Я согласна.

— Никто не будет оспаривать мои приказы. Даже ты. Никто. Что я говорю, то все и делают. Так?

— Если то, что ты говоришь, будет направлено на защиту моих островов, то да. Твой авторитет будет непре-
рекаем. Но если ты начнешь подстрекать к мятежу или попытаешься обратить против меня мой народ, то знай: я пробыла царицей Итаки гораздо дольше, чем женой Одиссея. Мои женщины ценят меня, и я узнаю об измене.

Приена улыбается оскалом волка.

— Есть еще одно, — задумчиво говорит Пенелопа не-
много отстраненно: так, бывало, ее отец выносил приговор невинному человеку. — Если разнесется весть о нашем... предприятии и выяснится, кто на самом деле защищает Итаку, мое царство станет целью для каждого наемника в Греции. Мы не такие, как твой народ. Наши мужчины не верят в то, что женщины умеют сражаться. Крайне важно соблюдать тайну. Понимаешь?

Приена пожимает плечами.

— Если твои женщины не будут болтать.

— Нет, не в этом дело. — Пенелопа смотрит Приене в глаза, заставляет ее не отводить взгляда. — Когда сражаются женщины, мужчин нельзя оставлять в живых. Ни один не должен иметь возможности рассказать о том, что видел. Никакой пощады. Никакой жалости. Урания говорит: ты жаждешь убивать греков. Это одна из причин, почему я попросила ее разыскать тебя.

— Царица Итаки, — Приена, помнится, улыбалась так, когда победила сильнейшего мужчину своего племени, и теперь она вспоминает, какой силой был полон тот день, — ты не найдешь мясника лучше, чем я.



Мужчинам, конечно же, все равно нужна пища.

Музыки на пиру нет, и Пенелопа не ткёт саван Лаэрта.

За столами все сидят притихшие, а все вино, что приносят служанки, возливается в честь мертвого Агамемнона и его сына, окоченело восседающего с остановившимся взглядом.

Я сижу в уголке и нахожу все это чудовищно скучным. Где Эрида, богиня раздора, когда она нужна? Где драки, где заговоры, где ножи в спину? Клянусь сама собой, я скучаю по грязным шуткам Медеи и тем фокусам, которые Талия может проделать с гибкой палкой.

Хотя... вот Леанира подходит к креслу в темном углу, где сидит Пенелопа, наклоняется и шепчет ей на ухо:

- Андремон хочет поговорить с тобой.
- Боюсь, я сейчас в трауре по Агамемнону.
- Я ему сказала.

— Извини, но придется сказать еще раз.

— Он настаивает.

— И ты тоже настаиваешь ради него, да?

Леанира кивает без улыбки и отворачивается. Андремон искоса следит за ней, она не смотрит ему в глаза.

Телемах сидит рядом со своим родичем Орестом в кресле пониже и пытается вести мужской разговор.

— Значит, э-э-э... твой отец, должно быть... ну, то есть, конечно же, твой отец... но, э-э-э... Значит, ты жил в Афинах?

Орест отвечает только глазами, губы его слишком устали, чтобы рождать слова.

— Да, он жил в Афинах, — отвечает за брата Электра, перегибаясь через него и положив руку ему на колено. — После того как наша мать опозорила себя и принесла нам бесчестье, мой брат понял, что у него нет выбора, кроме как бежать в Афины и там продолжить учиться на воина и царя, пока он не сможет вместе с нашим отцом воздать возмездие.

— Э-э-э, да, конечно, в смысле, да, это... конечно.

— Я оставалась в Микенах. Кто-то должен был быть свидетелем богохульства нашей матери. Наш отец заплакал, когда я рассказала ему. Он впал в ярость. Он схватил меня за горло, вот здесь.

Электра двумя пальцами прикасается к основанию шеи. Шея у нее такая тонкая, что сквозь кожу проглядывает ребристое дыхательное горло, словно лестница, спускающаяся к ее ключицам.

— Он швырнул меня на пол и сказал, что если я лгу, то он перережет мне глотку на том самом камне, на котором принес в жертву Ифигению. Он был человеком безусловной власти.

Орест тоже когда-нибудь станет человеком безусловной власти. Если я шелкну его мизинцем по виску, упадет ли

он, не разведя коленей, не изменив выражения лица, — статуя, свалившаяся наземь от прикосновения божества? Есть ли в его жилах кровь? Э-эй! Орест! Есть кто дома?

Электра снова улыбается, в уголках накрашенных глаз прячутся скорбь и тьма.

— Я ведь видела Одиссея один раз, когда была маленькой, — говорит она задумчиво. — Он поддерживал руку моего отца, когда тот вонзил нож в грудь Ифигении.

Выходит, думает Телемах, Электра видела его отца намного раньше, чем он сам, — не то чтобы это было так уж сложно.

Также, думает Телемах, как это ни странно, он в жизни не встречал женщины, которая пробуждала бы в нем больше желания, чем Электра, притом что в это же самое время она обладает всей привлекательностью открытого кровотечения. Ему очень сложно разобраться в этом парадоксе, хотя, может быть, со временем он все поймет.

Он переводит разговор на другое и, будучи итакийцем, выбирает тему, в которой разбирается лучше всего.

— А ты, э-э-э... любишь рыбу?

А потом в воздухе что-то меняется — меняется оттенок закатного света. Мое сердце леденеет, щеки горят, я чувствую ее присутствие в тот же миг, как только она входит в зал, и перевожу взгляд с Телемаха на дверь. Она переоделась, придумала тоже, в нищего и запаха подпустила такого, что дышать нечем. Нижняя губа завернута, изо рта течет слюна, и я не сомневаюсь, что, если провести рукой по ее волосам, оттуда вылетит воробей. Я еле сдерживаюсь от того, чтобы не вскочить с места и не крикнуть: «Приемная дочь, немедленно вымойся и приведи себя в порядок, иначе я тебе сейчас задам!» — но мы на Итаке. Ее храм, пусть хилый и бесполезный, больше моего. Это меня не должно быть на пиру, а не ее.

Она это, конечно же, знает; сразу видит меня. Хмурюсь, но не склоняюсь под ее взглядом, а, наоборот, встаю чуть прямее, чуть выше. Она двигается медленно, очень медленно, ковыляя от стола к столу, выпрашивая кусок мяса, пригоршню зерна. Антиной приказывает ей, этому вонючему хрому калеке, убираться, уйти, вон, вон! Эвримах притворно улыбается, говорит: «Конечно, конечно» — и не дает ей ничего со своего блюда. Амфином протягивает ей кусок лепешки, обмакнув в жидкую кашу. Андремон делает вид, что не замечает ее. Кенамон останавливает ее и пытается даже разговорить: «Расскажи мне о себе, расскажи, как ты сюда попал, это так интересно». И она целую минуту снисходит до него, а потом ей надоедает, и она бредет, хромя, дальше. Когда она подходит к Пенелопе, царица приказывает, чтобы нищего посадили у огня и дали еды и питья во исполнение традиций дворца, а Электра замечает: «Это правильно, что кто-то, столь близкий к смерти, посетил пир в честь мертвого», потому что в этой жизни не осталось ничего, что Электра сейчас не привяжет к своему отцу.

И вот наконец она сидит на почетном месте у очага, ставит поудобнее палку, напоказ обсасывает жирную кость, держа ее липкими пальцами, а подо рваной одеждой слишком уж чистая. И наконец, почти сойдя с ума от ее неучливости и заносчивости, я рывкаю:

— Что, во имя Аида, ты вытворяешь? Ты выглядишь совершенно нелепо, нельзя же просто... Ты посмотри на свои волосы! А что это за вонь, это что...

— Свиное дерьмо, — отвечает Афина, и ее тихий небесный голос слышен только мне. — Отличный способ отвести глаза, если хорошенько намазать им запястья и загривок.

Я отшатываюсь, выпучив глаза, и чуть не вскрикиваю: «Все твоему отцу расскажу, обязательно расскажу, он такого не потерпит, погоди у меня, погоди...»

Но Афина только улыбается, как будто уже слышит слова, которые я могла бы произнести, словно уже знает все это и то, чем кончится; самодовольная коза, дрянь, вечно тычет всем в нос своей так называемой мудростью, так называемым интеллектом, это просто... как же она меня... Клянусь собой, я ненавижу ее!

— А ты у нас кто? — спрашивает она наконец.

— Купец из Аргоса, — резко отвечаю я, проводя унизированной кольцами рукой по намасленным волосам. — Хотя они видят меня только краем глаза и сразу же забывают, как только отворачиваются. В отличие от некоторых, я не нуждаюсь в том, чтобы на меня все обращали внимание, стоит мне войти.

— Купец из Аргоса, — повторяет она без выражения. — В бирюзе? И красных сапогах? И с золотыми бляшками на поясе?

Ее презрение так же сильно, как и желание не рассмеяться.

— По крайней мере, я надушена умиротворяющей амброзией, а не фекалиями свиней! — шиплю я. — Во всяком случае, когда люди меня почти не видят, они почти не видят чего-то приятного для их смертного взора, а не... вот такое! — Яростным жестом я обвожу ее рваную одежду, но она только ухмыляется, показывая притворно желтые зубы, и отрывает ими еще кусок хлеба. Я в омерзении отворачиваюсь, отгоняя от себя это зрелище, как зудящего комара.

На миг между ней и мной только это: она жует, я презираю. Но она явилась сюда неслучайно; и я не доставлю ей удовольствия, не облегчу ей задачу, отвечая на еще не заданный вопрос.

Любопытство наконец пересиливает гордость, и Афина говорит с набитым ртом, оглядывая зал:

— Я почувствовала твое присутствие на острове в этот последний месяц, но не думала, что ты опустишься так

низко, что будешь ходить среди смертных. Между женихами была драка — точнее, была бы драка. Я, конечно, предотвратила ее; но ты находилась здесь. Зачем ты явилась на Итаку, госпожа козней?

— А где мне быть, богиня-воительница? На Олимпе, умолять Зевса послать твоему Одиссею попутный ветер? Или тебе надоело унижаться ради мужчины?

— Ты говоришь о нем так, будто он мой питомец, а сама меж тем пришла в его дворец. Что скажет про это твой царственный муж?

— Не беспокойся, падчерица, к утру я буду на Крите, пить жертвенную кровь из золотой чаши, — резко отвечаю я. — Но даже самым великим пристало порой вспоминать о более... мелких из своих подданных. Какие забавные у тебя здесь, на Итаке, поклонники. Пусть от них не дожидаться обильных жертв, учтивости, богатств, культуры и харизмы, но они восполняют это любовью к рыбе... и некоторым почтением к твоему имени.

— Между нами есть разница, мачеха, — отвечает она с акулей улыбкой. — Я зарабатываю поклонение себе ученостью и делами. Земледельцу я даю оливковое дерево, воину — щит. А ты просто... ожидаешь поклонения и ничего не делаешь, чтобы заслужить его. И потом удивляешься, что во имя тебя на Итаке не приносят жертв из мяса?

Во имя меня не приносят жертв из мяса потому, что на Итаке не так много мяса для принесения жертв. Незамужние женщины и вдовы молятся тихонько, про себя.

— Ты слишком долго следила за Одиссеем и забыла, что Итака — остров женщин. Мужчины, может быть, и молятся тебе, и проливают кровь в твою честь, но, когда отходят воды, матери призывают мое имя.

Афина смотрит на меня широко раскрытыми глазами, похожая на сову, приносящую вести от нее. Нечасто

увидишь богиню мудрости в недоумении, и, когда это происходит, она выглядит так, будто ее мозг столкнулся с непостижимой для нее стеной: словно, если что-то существует за пределами ее понимания, оно не может существовать вовсе. Потом медленно, слово за словом, как будто бы разбираясь в каком-то великом, неподвластном разуму предмете, она произносит:

— Кого заботят... матери?

Мать Афины мой муж проглотил в свое время живьем, чтобы она не родила ему дочь, но та все равно выбралась наружу через его череп, испачканная кровью и липкая от мозговой жидкости. Зевс по непонятной для меня причине сразу же полюбил девчонку, а Афина, со своей стороны, ни разу не упомянула про съеденную мать, чтобы не огорчать его неудобными вопросами.

Если бы я собралась съесть Афины, то повелела бы подать ее на подушке из фиников. Ноги можно было бы потушить, живот — обжарить в масле. Иногда эта мысль развлекает меня, но, если задуматься, наверняка у меня из-за нее будет несварение.

— Кого... кого заботят матери? — повторяет Афина, будто опробует слова и находит их подходящими. — Поэты не поют... о родах. Поэтам все равно, легко или трудно приходит к матери молоко. Единственная мать, о которой стоит говорить, — это та, что приветствует сына, вернувшегося с войны! Единственные песни, о которых помнят, единственные, что поются в царских дворцах, — это песни о мужчинах, добившихся славы! О воинах и героях, умирающих в бою, чтобы прославить свое имя! Кого колышут твои вшивые матери?!

— Похоже, я задела тебя за живое, — говорю учтиво, с удовольствием глядя, как багровеет ее шея.

Когда она в ярости, щеки у нее раздуваются, как у рыбы. Это она унаследовала от моего мужа, только у него

еще вена на шее бьется и извивается, как выброшенный на берег угорь.

— Ты зачем сюда пришла, старуха мать? — рявкает она наконец. — Твой муж заподозрит тебя в большом неблагоразумии, если увидит, что ты тут ошиваешься.

На Олимпе, обратиться она ко мне в таком тоне, я бы повернулась к Зевсу и пронзительно вскричала: «Ты что, позволишь ей так разговаривать с мной?!» — а потом — к Посейдону, который презирает ее чуть ли не больше моего, и заплакала бы, и спросила бы: «Почему все мои братья оставили меня?» — и они бы смутились, и почувствовали себя неудобно, и сказали бы Афине, что она плохо себя ведет, и на несколько недель, пока страсти не улягутся, она бы удалилась дуться куда-нибудь на восточные острова под видом пастуха, а я бы лежала, и несколько нимф разминали бы мне ступни и обмахивали опахалами мое лицо, пока мне не надоело бы слушать их бесконечную болтовню. Нынче я считала бы это победой.

Но сегодня на Итаке только смертные, а они не понимают слов богов.

— Может, я присматриваю за семьей Одиссея. Может, кто-то должен.

Афина скалится от отвращения.

— Я защищаю семью Одиссея. Я его защитница.

— Его, а не их. Ты видела этот зал? Какую именно защиту ты им даешь? Бормочешь на ухо какому-то египтянину? Насылаешь колики на жениха, который переел кабанятины?

— Их время придет. Одиссей вернется.

— Ах, Одиссей вернется! Ну тогда все в порядке. Я так рада, что у тебя все под контролем.

— Я могла бы рассказать Зевсу про твое неразумие, — рычит она.



Я наклоняюсь к ней, и во мне все еще есть тень, частичка того огня, что дается только молитвами истекающих кровью женщин, молящихся, чтобы не умерло их новорожденное дитя.

— А я — своему брату Посейдону, который любит меня почти так же сильно, как презирает моего мужа, и, хотя нас и покарают за это, мы могли бы вздыбить моря и утопить малютку Одиссея, скормить его медузам. Я готова была бы понести кару назло тебе.

Афина — богиня войны и мудрости. Я видела, как она поднимает копье с печалью в глазах, словно говоря: «Ну что ж, я ведь хотела оказать тебе милость, но ты слишком глуп, чтобы жить», и когда этот миг наступит, ее уже не остановить, нет надежды на искупление или спасение. Когда имеешь дело с пламенеющим Аресом, то, по крайней мере, можно молиться, чтобы сердце его, воспламенившись, после растаяло.

Мгновение мы стоим друг против друга. Мы могли бы взбеситься — о, мы могли бы разнести этот остров и его стены по камешку, меряясь божественностью, не уступая друг другу, — но кто увидит? На Итаку обратятся глаза Олимпа, и меня наверняка накажут за то, что я вмешалась в дела людей — в мужские дела, сказал бы мой муж, в дела самих мужчин, а не каких-то там матерей! — но и Афине вряд ли придется лучше. Хоть она и поклялась блюсти девственность, ночами я замечаю, как она смотрит на остров Калипсо и по ее алым приоткрытым губам пляшет язычок, пока Одиссей стонет в жемчужной постели нимфы. Если какой-нибудь богомуж увидел бы ее взгляд, что он сказал бы? Какое насилие приказал бы совершить Зевс, если бы понял, что его дочь все же не чужда эротике?

На миг я забываю, как ненавижу ее самодовольное лицо, и хочу шепнуть ей на ухо: «Давай я пришлю кого-нибудь

в твою постель. Не хочешь мужчину — возьми женщину. Боги не в состоянии постичь, что мы можем получать чувственное наслаждение, когда рядом нет мужчины, чтобы это наслаждение доставить. Это не нарушение правил, это так... развлечение, не больше. Вот. Чувствуешь что-то вот здесь? Разве ты не хочешь почувствовать побольше? Деметра и Артемида, даже скучная старая Гестия знают, о чем я говорю. Под покровом тьмы, безлунною ночью, мы вытворяли нечто такое, вскрикивали в таком экстазе, что если бы наши мужчины слышали это, то сам Зевс усомнился бы в собственной хваленой мужской силе. И ты так могла бы, Афина, если бы на миг бросила думать как мужчина».

Мне кажется, я вижу что-то у нее в глазах, как будто она оценивает все, что стоит между нами. И то, что стоит над нами: мужские глаза, следящие за каждым нашим движением. Потому что она вдруг откидывается назад, отворачивается, подняв подбородок, будто тут все в порядке и будто все в мире в порядке.

— Смотрю, прибыли дети Агамемнона, — говорит она, спокойная, как море.

— Прибыли.

— Ищут мать, конечно.

— Конечно.

— Ужасное преступление, когда сын убивает мать, но преступление также и сыну не отомстить за убийство отца. Интересно, как Оресту удастся сочетать это в своем сердце.

Я пожимаю плечами. Меня не заботит, как и удастся ли вообще.

— Ты ведь любила Клитемнестру, я помню. Она вела себя как сам Зевс. Издавала указы. Судила. Шествовала по дворцу, и все кланялись ей в ноги. Брала любовников, которые посвящали себя не только своему, но и ее

наслаждению. Сколько раз она молилась тебе, чтобы ее муж не вернулся? Некоторые из ветров, которые не давали Агамемнону возвратиться к родным берегам, мне кажется, исходили не от трезубца Посейдона. Твой брат, властелин морей, знает, что ты перехватывала у него северный ветер? А твой муж?

Я ничего не отвечаю, но ей хватает совести не улыбаться.

— Ты сама знаешь, что Клитемнестре придется умереть. Орест станет царем, великим человеком. Так будет.

— У тебя слабость к убогим молодым людям, да? Как ты думаешь, поблагодарит ли богов Орест за то, что они повелели ему убить мать? Считаешь, что легок будет венец на его толстом черепе, когда это будет сделано?

— Его имя воспоют поэты, и я буду рядом с ним. — Ее глаза устремляются на мальчика, сидящего у ног Ореста, и в них проскальзывает блеск, который мне не нравится. — И рядом с Телемахом.

— Похоже, на этот раз нам с тобой для разнообразия нужно одно и то же. Я не враг Одиссею.

— Но подруга Клитемнестре.

— Я подруга всем царицам. И Пенелопе — тоже.

— Пенелопе? Пенелопа не... — Афина смотрит на женщину, молча сидящую в дальнем углу.

Может быть, мне стоило помолчать. Афина с несвойственной ей отрешенностью на лице рассматривает жену Одиссея, будто видит ее впервые. Нос дергается, словно ей встретилось что-то непривычное. Она встает с места — нищенские лохмотья висят на ней слишком свободно, а вокруг нее начинает светиться небесная аура, и даже недовольные женихи бросают на нее взгляды, и глаза их невольно обращаются кверху: взоры их слепы, но сердца видят отблеск Олимпа.

А потом она исчезает во всплеске золотого тумана, и я поспешно накладываю заклинание на мутные глаза,

видевшие это, чтобы они не ослепли от зрелища божественности, чтобы забыли, что видели ее.

Как это похоже на Афину! Вечно за ней другие должны разгребать. Боюсь, мне придется столкнуться с ней снова до конца этой истории.

STONE HEDGE



Рядом с храмом Артемиды есть лощина, она запрятана за кривыми деревьями, глубоко в лесу, куда ходят только дикие звери. Оттуда течет в море ручей: он так часто скрывается под камнями, что его источник обнаружить очень сложно. Лощина прикрыта от ветра высокими шершавыми скальными стенами, хотя сердитый голос может донестись из ее верхней точки до самого края острова.

Именно сюда приходят женщины.

Собрала их Семела: по всему острову ее слова шепотом передали женщинам Урания и ее услужливые родственники. Забытым женщинам послала она свое сообщение: незамужним дочерям мертвых отцов, вдовам потерянных мужей. «Приходите, — говорила Семела, — не бойтесь. Вы можете кое-что сделать».

Сегодня приходит и Теодора, дочь сожженной Фенеры, поднявшись с грубой лежанки в сарае, что стоит рядом

со скрытым за листвой храмом, закинув лук за спину. У Теодоры нет дома, нет семьи, нет мужчины. Она идет вслед за женщинами в ночь.

Она идет, находя путь по приглушенному свету лампад и яркому свету звезд, в самую середину острова, туда, где лес черен, а воздух теряет привкус соли; туда, где могут рычать медведи или выть волки; она идет к роще, обрисованной огнем костра, где ждут женщины. Некоторых она вроде бы знает: вот Семела, вот ее дочери; вот жены, которые говорят: «Он просто пропал без вести, просто пропал»; вот матери, которые, напрягая руки и упрямо задрав подбородок, продолжают трудиться и отворачиваются от отчаяния и горя. На Итаке иначе нельзя. Надо просто продолжать трудиться. Сегодня собралось сорок женщин. Завтра будет больше.

В середине прогалины стоит другая женщина, одетая в обрывки шкур, на талии пояс, на поясе ножи. Она оглядывается, оценивает это пестрое будущее войско брошенных и потерянных, осматривает их оружие: топор лесоруба, нож рыбака, серп хлебороба, лук охотника. Непохоже, чтобы она осталась недовольна.

— Ну ладно, — говорит Приена. — Кто из вас может убить волка?

В тусклом свечении рассвета я слышу, кажется, крик совы. Афина где-то рядом — конечно, рядом, делает свое дело, — но, как и я, не хочет быть замеченной. Нехорошо будет, если Зевс подумает, что мы, богини, слишком уж сильно вмешиваемся в дела людей.

Лунный свет отражается от серебряного зеркала моря, и высоко в дворце Одиссея мужчина проводит пальцами по спине служанки, лежащей рядом с ним, пересчитывая позвонки, и шепчет: «Ты будешь свободной. Ты будешь свободной. Ты будешь свободной».

Другие тоже пытались затащить ее в постель, ничего ей за это не обещая, просто считая само собой разумеющимся, что имеют право на ее тело, так же как и на ее труд. Она пиналась, кричала и кусалась, и все, кроме одного, сжались. Он первый, кто обнял ее и сказал: «Ты будешь свободной».

Ты будешь свободной.

Она подозревает, что он лжет ей; на самом деле она в этом почти уверена; и все же эти слова делают его таким желанным.

Ты будешь свободна.

В свете зари Телемах надевает доспехи и бежит по холмам Итаки.

Ему известно, что мирмидоняне, эти легендарные воины Ахиллеса, бегали в доспехах. Они надевали свои шлемы с перьями и, взяв копья и щиты, взбегали на вершину горы, неслись вдоль линии прибоя. В полдень они останавливались, но только лишь для того, чтобы побиться друг с другом, нанося друг другу тяжелые увечья, дабы приучиться к боли, а потом бежали дальше, пока наконец вечером, уставшие от мужественных усилий, не усаживались у огня пить вино и иметь женщин, которые приходили в экстаз от их мощи и удали, ибо кто же устоит перед мужчиной, который бегал двенадцать часов подряд.

Именно так понимает Телемах обычаи мирмидонян, и почти во всем он глубоко неправ. Он теперь может целых двадцать пять минут бежать в полных доспехах, прежде чем рухнет, вымотанный почти до потери сознания, с колющейся головой и свинцовыми ногами, подобный в своей мужественности одуванчику. Если бы он знал своего отца — если бы тот был рядом, чтобы научить его военному искусству, как и положено отцу, — то вот что сказал бы Одиссей, усевшись рядом с сыном:

— Во имя Афины, мальчик мой, что ты делаешь? Не надо учиться бежать в бой — только из боя! Я рассказывал тебе о гениальной стратегии под названием «трехминутный забег»?

Такое никто, кроме отца, Телемаху не объяснит. Это немислимо. Из уст кого угодно другого это будет звучать как позорная трусость. Из уст Одиссея то была бы родительская мудрость. У Телемаха странные представления о родительской мудрости. (Мой-то родитель проглотил меня, как только я появилась на свет: те еще у нас с Телемахом отцы.)

И все же...

Хватая ртом воздух, он добирается до вершины холма за хутором Эвмея, но там уже кто-то другой — тот, кто с утра пораньше предпочитает бодрую прогулку. Кенамон сидит, подняв подбородок, лицом к югу, словно надеется, что восходящее солнце донесет до него на золотых своих лучах запах дома. Есть ли у него своя Пенелопа, что ждет его где-нибудь в устье Нила? Выбелит ли он этот камень солью своих слез, отправится ли наперекор богам домой по мстительному морю? Может быть — но поэтам нет до этого дела.

Телемах сбавляет шаг: с одной стороны, он рассержен, что этот чужеземец вторгся в его тайное место, его вотчину, его утро и его упражнения, но с другой — ему любопытно. Как и мать, он совсем позабыл, каково это — когда на острове есть взрослый мужчина, причем не страдающий от похмелья и не торгующийся за рыбу; лицо Кенамона так покойно, что Телемах решает, что жених, наверное, молится; а прерывать чье-то общение с богами не стоит, даже с чужими богами, которые не слушают голосов, возносящихся к небу так далеко от родного дома.

(Точно ли не слушают? Свист крыльев, черный силуэт на фоне солнца — это сокол! Гор, если это ты и не принеси мне даров, вот я тебя, мелкий наглец, а ну-ка, вернись!)

(Может, просто сокол...)

Потом Кенамон открывает глаза, видит Телемаха, встает, кланяется.

— Царевич Итаки, доброго утра тебе.

Телемах отмахивается: мол, ничего-ничего. Ему нравится делать этот жест. Он очень царственный. Его мать иногда тоже делает его, но у нее он выходит более мягкий, как будто она с женским вздохом говорит: «Ах, вы делаете мне честь, но на самом деле я недостойна вашего уважения». Телемах терпеть не может, когда она так делает, и поклялся, что сам он, когда будет отмахиваться от людей, будет делать это как следует, по-царски.

— Вижу, у тебя появилось любимое место, — говорит он, опускаясь на траву рядом с египтянином.

— Именно так. Спасибо тебе, что показал мне его. Какое... раздолье, но одновременно и заточение, — говорит Кенамон, — когда тебя окружает так много воды.

И Телемах мысленно пинает сам себя, потому что это он должен был сказать, именно такое остроумное и глубокое замечание должен был сделать сын Одиссея. Вместо этого он в тупом молчании погружается в собственный внутренний монолог и толком не слышит, что говорит египтянин, пока тот наконец не спрашивает:

— Как твои упражнения?

— Что?

Телемах весь потный, при всех доспехах, на холме; сложно не вспомнить, зачем он бежит по утрам; но он, кажется, действительно забыл.

— А, ополчение! Оно... я думаю, у нас все получится. Мы все усердно учимся. Сам я прихожу сюда утром, до того как нас собирает Пейсенор, потому что... ну... — слова Телемаха замирают, и Кенамон заканчивает за него:

— Ты сын царя. Твой долг — быть самым сильным, самым храбрым, защищать своих людей, да?

Когда поэты говорят об Ахиллесе, они кое о чем не упоминают: стараются не вдаваться в подробности относительно того, как часто он плакал на груди у Патрокла и какими сопливыми были эти слезы. Они довольно невнятно говорят о том, как раскисали мирмидоняне, распевая хором песни о братской любви и о разнице между тем, чтобы мужественно шлепнуть соседа по бедру и нежно погладить его ногу. И они совсем не упоминают о том, как Ахиллес довольно неуклюже махал мечом, пока учился, или как он однажды стукнул себя по голове собственным копьем, пытаясь красиво вращать его легким движением падающей с платана крылатки, потому что работать над своим героизмом — это так неизящно. Героизм, если верить рапсодам, — это врожденное качество, и идея о том, что мужественным приключениям предшествует пятнадцать лет подготовки, потянутых мышц и упражнений с детским луком, нарушает общую атмосферу доблести.

Представления Телемаха о том, что такое быть героем, почерпнуты от рапсодов, а не от отца. А они уверяют, что Одиссей уже в тринадцать лет мог голыми руками завалить дикого вепря, одновременно обводя вокруг пальца самого Гермеса и сочиняя эпические поэмы на морскую тему. А вот я, для которой время — лишь завеса, которую можно отодвинуть, словно облака, рассказала бы ему, что самое лучшее юношеское стихотворение Одиссея было таким:

Утром я видел козла,
Он стоял на холме,
Я хотел его поймать,
Но он убежал,
Как краб.

Конечно, Пенелопе на руку, что поэты поют более занимательную версию жизни Одиссея. Иногда она даже

тайком доплачивает им, чтобы они добавили строфу-другую типа «трам-пам-пам, и, когда он вернется, трам-пам-пам, то убьет всех, кто осквернил его дом, трам-пам-пам, о могучий Одиссей». К сожалению, Телемах не знает о коварстве матери и вместо этого слушает старуху Эвриклею, которая ему рассказывает, как Одиссей в два года загрыз ядовитую змею, а в пять — говорил на трех языках и уже видел сон про орла, а это точно признак величия.

Телемах ни разу не видел во сне орла, хотя, Аполлон свидетель, он очень старается.

А теперь он сидит рядом с чужеземцем из далекой страны, и его охватывает ужасное подозрение, что, в отличие от героев древности, недоумка Геракла и всех, кто благословлен богами и поэтами, он, Телемах, сын Одиссея, будет вынужден действительно постараться, если хочет выжить. Не будет ему ни дара сверхъестественной скорости, ни легкого танца меча, ни умения составлять изящные речи. Не будет ему роскоши какого-нибудь олимпийского похода — найти руно, убить мать, — чтобы доказать свое геройство. Вместо всего этого его ждут морские разбойники и жестокая схватка на морском берегу, полные заговоры и пьяные насмешки мужчин, желающих стать его отцом. А если он хочет остаться в живых, то должен вставать каждое утро и бежать, пока не кончатся силы, и каждый вечер учиться воевать, и признавать — как это бесит его! — признавать, когда совершает ошибку.

Наступает миг кризиса.

Я поднимаю взгляд на небо, удостовериться, что Афина не смотрит сейчас; если она и смотрит, то хорошо спряталась.

Я сажусь рядом с Телемахом — слева богиня, справа чужестранец — и беру его руку в свою.

«Давай, мальчик, — шепчу я ему на ухо. — Вот она, твоя возможность повести себя не по-идиотски».

У него в сердце поэты поют о великих подвигах. Есть там и место, где должен был быть его отец, но его заполнили истории о других мужчинах, рассказанные женщинами, создававшими образ отца, которого никогда не могло существовать, который никогда не мог быть живым человеком.

«Ты герой, Телемах?»

Я приближаю уста к его уху и задаю другой вопрос: «Ты мужчина?»

Кенамон говорит:

— ...в общем, люблю рыбу, ее можно очень хорошо приготовить, но там, откуда я родом, рыбы не так много, и к такому питанию трудновато привыкнуть, и получается, что...

Телемах выпаливает:

— Ты научишь меня?

Кенамон поворачивается и спрашивает:

— Что?

— Ты научишь меня сражаться? Ты говорил, что был воином, а Пейсенор... он не очень... А отец не успел показать мне, как пользоваться его луком.

У него дрожат губы, будто он ребенок, застигнутый рядом с разбитым горшком. Можно ли быть мужчиной и быть ранимым? Может ли мужчина попросить подмогу, может ли мужчина обратиться к другому мужчине за помощью? Ведь Одиссей молится Афине, падает ниц и рыдает — и как же ей нравится, когда он призывает ее имя.

— Но ополчение... — говорит озадаченно Кенамон. — Я думал, Пейсенор...

— Он нас учит стоять рядами и держать копье. Если бы я был в войске, сражался с троянцами под их стенами, в этом был бы смысл. Но мы будем сражаться с разбойниками, с иллирийцами. Они не будут стоять рядами. Они не будут сражаться... благородно. И когда зажгут

костры и нас созовут, я сомневаюсь... я не знаю... я не знаю наверняка, сколько на самом деле нас соберется. Если сын Одиссея незаметно погибнет во мраке ночи, я думаю, может быть... Наверное, для всех так было бы проще всего. — Так близко к честной правде Телемах еще ни разу себя не подпускал даже в мыслях, не говоря уже про то, чтобы произнести вслух. Долго это, конечно, не продлится. — Когда отец вернется, будет кровопролитие. Он убьет всех женихов. Будет война. Возникнет необходимость очистить Итаку.

Кенамон сжимает губы, хмурится. Он знает слово «очистить», но подозревает, что в этом предложении у него какой-то другой смысл. В диалекте этого острова есть что-то неподвластное его учености.

— Те, кто будет моими союзниками, — продолжает Телемах, — останутся в живых. Но это опасно. Каждый прошедший день, который не вернул моего отца домой, увеличивает угрозу мне. Угрозу от тех, кто... сражается неблагоприятно. Я должен живым встретить отца, когда он вернется. Пейсенор учит меня тому, что знает, но... А ты был воином. Ты можешь... научить меня.

Кенамон молчит несколько мгновений. Его разум не так ясен для меня, как у греков, но я все-таки могу в него заглянуть. На миг он — один из женихов, глядящий на мальчишку, который, если не быть осторожным, может обратиться против него и перерезать ему горло. Сделает ли это Телемах? Кенамон не знает. Телемах тоже не знает.

А потом Кенамон снова становится просто мужчиной, вспоминает день, когда родился его племянник, и как он любил играть с игрушечным мечом в вечернем свете, под стрекот цикад; он видит, какой Телемах юный, и на мгновение чувствует себя стариком.

— Хорошо, — говорит он наконец, — царевич Итаки, я научу тебя сражаться.

Они пожимают друг другу руки, крепко сжимают. Это настоящий мужской союз, и ночью Телемах увидит во сне соколов, что, конечно, еще не орел, но, по крайней мере, уже шаг в правильном направлении.

В свете зари, когда ее сын скрещивает меч с чужеземцем из далекой страны, Пенелопа вместе с Эос стоит на утесе над Фенерой, закутанная в покрывало.

— Ну ладно, — говорит она наконец. — Будь ты моей двоюродной сестрой, куда бы ты отправилась теперь?



Пенелопа шагает по утесам над Фенерой.

Она часто так делает. Стоять на утесе со скорбным видом и смотреть в море — очень подходящее занятие для жены Одиссея. С одной стороны, оно дает правильное и соответствующее ее положению ощущение целомудренной общности с далеким супругом, а с другой — возможность сбежать от неизбывной вони женихов во дворце. Если кто-то увидит ее, то скажет: «Вот Пенелопа, вот наша скорбящая царица, давайте не будем ей мешать, ведь ясно, что сейчас она отдается своему страданию, для того чтобы позже выказывать ледяное спокойствие. Ах, бедное ее горемычное сердечко! Как удивительно видеть женщину, которая дает волю чувствам лишь наедине с самой собой и глубоким черным морем!»

Обычно она выбирает утес поближе к городу на случай тревоги, но сейчас в покоях для самых дорогих гостей

дворца обитают Орест и Электра, и это отдаляет опасность внезапного насилия, дает некоторую передышку и неожиданный миг напряженного спокойствия, и она может отойти подальше.

Она уже несколько дней не видела сына, но эта мысль еще не обрисовалась у нее в голове со всем богатством вытекающих из этого выводов. Когда обрисуется, Пенелопа почувствует, как у нее сжимается горло, как ее подташнивает, как подводит живот, и придет к выводу — в который уж раз, — что она ужасная мать.

А пока она стоит на утесе с целомудренным видом, что также дает ей возможность вышагивать по вышеупомянутому утесу, вокруг него или рядом с ним, предпочтительно так, чтобы ветер трепал ее одежду, дабы картина воочию воплощала как свирепую бурю в ее скорбящем сердце, так и стойкость женщины, что противостоит жестокой стихии, укрепляемая своей верностью и храбростью.

Иногда она ловит себя на мысли, что Клитемнестре стоило бы жить поближе к морю. В роскошном достатке Микен с их мягкими ветрами, плодородной землей и сочным урожаем гораздо сложнее, наверное, было выказывать потребную царице богоугодную тоску по мужу. Может, будь у нее больше возможностей добротной изобразить смирение и капельку благонравного невнимания к себе, Клитемнестре не пришлось бы бежать прочь от пронзенного копьем трупа своего любовника и слышать себе в спину крики сына, вопиющего о ярости, ярости, отмщении и ярости.

Надушенная Урания, торговка всем, что можно продать и купить, — прежде всего тайнами, — стоит на некотором отдалении от царицы, а Эос — рядом. Женщинам можно быть свидетелями ее душевных страданий, они даже придают им некоторой значительности. Наконец, поскольку,

кроме ветра и трех женщин, никто не уловит ее голоса, Эос говорит:

— Андремон снова требовал встречи с тобой вчера вечером.

— Вот как.

— Антиной поссорился с Амфиномом. Антиной сказал, что раз его отец платит за ополчение, то он, таким образом, как бы служит в его рядах и поэтому ему не надо воевать. Амфином стал смеяться и сказал, что Антиной всегда был трусом, и они чуть не подрались.

— А теперь они где?

— Антиной дуется в доме отца. Амфином упражняется с копьем.

— Пусть кто-то предупредит Амфинома, чтобы не добивался особых успехов. Будет жаль, если его раньше времени прирежут темной ночью.

— Его взгляд часто останавливается на Мелитте. Я ей скажу, чтобы нашептала ему на ухо.

— Скажи, пожалуйста, а где Электра и ее брат?

— Орест молится.

— Нет, я имею в виду, где он... что, правда? — Пенелопа останавливается, перестает вышагивать, смотрит на свою хмурую служанку. — Все время?

— Все время. Я приставила к нему Фебу, чтобы прислуживала день и ночь, и она говорит, что он почти ничего не ест, пьет только воду и постоянно молится Зевсу. Он, похоже, очень... набожный.

— Можно и так сказать. А Электра?

— Она тоже молится, но более привычным образом. Она нашла хорошее место в тени около водоема, где ты любишь купаться.

— Камень над выемкой, куда падает вода?

— Именно так.

— Отлично подобрано место. Продолжай.

— Она там моется достаточно, чтобы счесть это ритуалом, потом намазывает лицо глиной, затем снова купается. Леанира и Автоноя прислуживают ей, но, как только кто-то приходит, она тут же украшает себя грязью и принимает рассеянный и печальный вид. А как только этот человек уходит, она перестает притворяться, ведет вдумчивые беседы с этим своим Пиладом, отправляет приказы и слушает доклады. Позднее, вечером, она возвращается во дворец, снова посыпается пеплом, отправляется в комнату брата, остается там до тех пор, пока не начинается пир, а потом идет за ним, как могла бы идти кормилица за ребенком.

— Как думаешь, Орест знает, что всем управляет его сестра?

— Автоноя сомневается, что Орест вообще что-то знает или что ему до чего-то есть дело. Он погружен в себя.

— Ну да, если человеку вскорости нужно будет убить собственную мать, то, наверное, это неудивительно. На него можно положиться?

— Вероятно, это зависит от того, что ты имеешь в виду. Он никому не грубит, не пристает к женщинам, если они вообще ему интересны. Он всем говорит «спасибо», а у Автоноя спросил, как ее зовут, — она говорит, вполне искренне, — не меньше чем четыре раза.

— А как он с Телемахом?

— Он только дважды спросил твоего сына, как его зовут.

Пенелопа вздыхает.

— А Электра? Она... обращает внимание на моего сына?

— Она ему улыбается, иногда берет за руку и говорит, как благодарен ее брат за помощь Телемаху и каким верным союзником Итака всегда была для ее отца. Но Телемах так занят попытками поговорить с Орестом, что

я сомневаюсь в том, чтобы он заметил внимание сестры, даже если там было что замечать.

Пенелопа изо всех сил сдерживается, чтобы не закатить глаза.

— Я поговорю с ним. Как там с поисками Клитемнестры?

— Микенцы не знают острова. Они начинают вести себя... невежливо. Семела говорит, вчера они обыскали ее хутор и грубо обошлись с ней и с девочками, украли сколько-то зерна. Чуть не нашли оружие.

— Пошли Семеле мои извинения и подарок. Ты хорошо знаешь Фенеру, Эос? А ты, Урания?

— Недалеко здесь растут цветы, которые, стоит их растереть, источают благоухание, — произносит Эос, подобно поэту, и добавляет более практичным тоном: — Бывали суровые зимы, когда нам приходилось кое-что покупать у фенерцев, что они контрабандой провозили мимо наших гаваней.

— Если бы тебе понадобилось ночью сбежать отсюда, куда ты пошла бы?

— Там, в заливе, много кто рыбачит, — говорит Урания, не сводя глаз с лица Пенелопы. — И дворец недалеко.

— А еще?

— Есть пещеры, но их надо знать. Еще храм Артемиды или хижина старого Эвмея, хотя он не особо гостеприимен.

Пенелопа рассеянно кивает, снова смотрит на море.

— Нам надо сделать так, чтобы микенцы ушли с Итаки.

В пальцах она перекачивает золотой перстень с печатью, которому не место на этом острове. Эос она знает с самой юности, ее и своей: одна — царевна, другая — рабыня, силком приволоченная на Итаку. Урания держала Пенелопу за руку, пока она кричала, рожая Телемаха. И все равно сейчас Пенелопа сомневается. Потом, тряхнув головой, она протягивает руку Урании; перстень лежит на ладони.

— Возьми это.

Урания медленно берет его, поворачивает. Она не сразу осознает, что видит; а потом понимает, и по ее обычно безмятежному лицу разливается страх.

— Это что же... Где ты это нашла?

— На теле мертвого контрабандиста в Фенере.

— Это... ее?

— Думаю, да. Моя двоюродная сестра никогда не принимала ценности всех своих прекрасных вещей. Видимо, у нее было их слишком много.

— Что мне с ним сделать?

— Увезти подальше отсюда.

— Не легче ли просто швырнуть его в море?

— Мне нужно, чтобы оно вернулось.

— Вернулось? Зачем? Когда?

— Как можно быстрее. Нужно, чтобы оно попало на север, на Гирию. Я отправила несколько дней назад гонца, чтобы он разнес весть о моей сестре по западным островам и приказал закрыть гавани. Я отправила его... медленно. Если будешь действовать быстро, то успеешь на Лefкаду раньше него. Никто, кроме нас, не должен об этом знать. Я не могу сейчас допустить, чтобы Орест... потерял уверенность в нас. Кто знает, что учинят женихи, если Микены перестанут давать защиту дому Одиссея.

— Я все сделаю. Что-то еще?

— Да. Наша лодочка для срочных случаев. Кто о ней знает?

— Я, Эос, Автоноя...

Пенелопа кивает, слушая вполуха, глядя на небо, будто ища знамения.

— Может понадобится посвятить в эту тайну других. Урания сжимает перстень, поднимает брови.

— Что именно ты хочешь сделать?



В конце пыльной извивающейся тропки, в маленькой долине в самом сердце Итаки, стоит храм, обрамленный невысокими серыми деревьями, которые цепляются за камни этого острова, как скрюченные волосы в подмышке. Более заметный храм Афины, который отсюда примерно в двух часах ходьбы, выглядит потрепанным, но этот смотрится еще хуже. На него явно потрачено меньше царских богатств. Меньше награбленного было принесено сюда в дар, и меньше людей с толстыми животами и заплывшими жиром мозгами приходит кланяться и лебезить на его земляном пороге.

Но посмотрите повнимательнее, и вы увидите, что его грубые деревянные стены и чисто выметенный пол говорят кое-что о преданности тех, кто здесь служит, хотя та, кому они поклоняются, даже не заметила бы этого и ей все равно.

Здесь в воздухе пахнет темно-зеленой хвоей, а еще свежей кожей, сохнувшей на солнце. Между камнями, которые прислонены к западной стене, растут дикие белые цветы, как будто бы храм вырос из самой земли, а не построен руками смертных, а над дверью висят гирлянды плюща и сухих лоз.

То дитя, которому посвящено это место, ничто по сравнению со мною и редко показывается среди людей, если только не случается какое-то из ряда вон выходящее святотатство, — но я все же приближаюсь осторожно. Слишком много семейных ссор началось из-за недолжного уважения к храму, а про Артемиду можно сказать одно: она великолепно затаивает зло. В этом мы с ней похожи.

Охотнице служат здесь несколько женщин, но нам есть дело только до одной, потому что мы ее уже видели. Это Анаит, которая стояла на кровавом берегу у Фенеры и знала, как именно режет меч иллирийца. Жрица как раз возвращается из леса с двумя убитыми зайцами на поясе, довольная своей работой, и с изумлением видит, кто пришел помолиться сегодня. Обычно ее прихожане — довольно небогатый народ, а сегодня перед алтарем на коленях стоит сама Пенелопа. Это уже привлекло внимание: верующие, которые приходят сюда еще и обменяться слухами и попробовать меда из храмового улья, наперебой стараются выказать несвойственное им благочестие, чтобы оказаться поближе к молящейся царице. Собрались и жрицы помоложе, стоят, кое-как завязав непослушные волосы, спрятав в кулаках грязные ногти, стараются не ерзать, не выглядеть слишком уж потрясенными тем, что их посетила царица.

Анаит все это видит, но Анаит не такая, как другие женщины Итаки. Она, как ей говорили, вообще не такая, как все. Она не любит людей, которые говорят не то, что думают. Она не понимает, почему кто-то может сказать: «О, Гестия, какая у тебя сегодня прекрасная прическа!» — хотя на самом

деле это значит: «О нет, опять эта Гестия, сейчас все со скуки сдохнут. Гестия, только не рассказывай ту шутку про земледельца и ячмень, ее все уже знают, она и в прошлый раз была несмешная, ой, все-таки начала. Быстро, кто-нибудь, налейте мне вина, да покрепче». В этом смысле у нее много общего с моим сыном, моим любимым Гефестом, которого невежественные родственники осмеивали так часто, что теперь если он и входит, хмурясь, в залы Олимпа, то даже не здоровается с ними, потому что знает: ответы, которые он получит, в конце концов его утомят.

В Анаит, жрице Артемиды, я узнаю что-то от моего сына, и по этой причине она получит от меня больше обхождения, чем, вероятно, заслуживает.

Именно потому, что она такая, Анаит при виде склонившейся у алтаря Артемиды царицы не бежит к ней кланяться и угождать, как делают все жрецы, быстро переводя разговор на починку крыши или более приличную выгребную яму. Вместо этого, не сняв с пояса истекающих кровью зайцев, она подходит к царице, кивает грубо вырезанной деревянной фигуре на алтаре, которая напоминает женщину, но ничем не сходна с богиней, и спрашивает:

— Что ты здесь делаешь?

Пенелопа медленно поднимает голову. За это время Анаит еще раз обдумывает свое положение и добавляет:

— Моя царица.

— Разве царице не пристало выказывать почтение всем богам?

— Я думала, тебе покровительствует Афина.

— Афина покровительствует моему мужу, — отвечает Пенелопа с легчайшей, пустой улыбкой. — Я более гибка в своем внимании к богам.

Анаит не нравится слово «гибкий». Она слышала, как люди используют его и потом смеются так, что ей становится очень неудобно. К тому же она не уверена, что можно

выбирать, кому поклоняться, так же легко, как сменяется ветер. Конечно, перед выходом в море приносишь жертвы Посейдону, а перед тем, как раскидать по ветру семена, — Деметре; но если смотреть на жизнь в целом, то Анаит всегда говорили, что нужно избрать себе покровителя и держаться его — ведь будет больше оснований рассчитывать на небесное вмешательство одного хорошо знакомого божества, которое искренне готово тебе помочь, чем с бухты-барахты бежать молиться Аресу, когда припекло.

В этом смысле, как и во многих других, Анаит права: многие рабы, которые бормочут молитвы, думая о своем, могли бы поучиться у нее неколебимой преданности. Но кому же посвятить себя царице? Ведь она возглавляет целую страну. Разве она не просит за кузнеца и за кожевника, за продажную женщину и за пастуха? Какому бо- жеству молиться, когда, для того чтобы не развалилось царство, нужно благословение от каждого из нас?

«Молись мне, царице цариц, — шепчу я ей голосом, мягким, как кожа только что освежеванной лани. — Я научу тебя льстить им так, что они все окажутся твоими слугами».

Налетает холодный ветер, гоняет листья вокруг храма, и я быстро отхожу в сторону и пытаюсь снаружи уловить их голоса, чтобы Артемида не заметила моего присутствия на посвященной ей земле.

Анаит не знает, как спорить с царицей. Она переступает с ноги на ногу. У нее есть ощущение, что в случае с царицей то, что должно быть простым и очевидным, непросто и неочевидно. Ей удастся понизить голос до шепота, подобного бегу лисицы по зимнему лесу.

— Я видела женщину с востока на холме над храмом вчера ночью и с нею других. Она сказала, что не станет молиться греческим богам, но любому хорошему охотнику сразу ясно, чем она занимается. Знают ли мужчины? Я слышала про ополчение.

— Нет, не знают. А что, ты передумала давать убежище тем женщинам в роще?

— Нет, Артемиде было бы приятно. И Афине — тоже, я думаю.

Афина будет в ярости, когда выяснит, хотя я не уверена, по какой именно причине: потому что она настолько повернута на выходках своих героических мужчинок или потому что не она первая это придумала. Так или иначе, крику будет много; но в случае с этим делом она мне уступит. Если она хочет, чтобы Одиссей когда-либо вернулся домой — если она хочет, чтобы Одиссею было куда возвращаться, — она уступит.

— Если женщинам понадобится воевать, ты пойдешь с ними? У тебя явно верный глаз и крепкая рука.

— Может быть, — задумчиво говорит Анаит. — Они будут убивать женихов?

— Ну... нет. По крайней мере, пока.

— Почему?

— Потому что если мы убьем женихов, то навлечем на себя вторжение с большой земли. Женщине не пристало убивать мужчин в своем дворце, тем более с помощью войска, состоящего из других женщин. Это будет совершенно неприемлемо, и даже наши старейшие союзники — даже Нестор — будут иметь полное право вторгнуться на Итаку и отрезать мне голову. Или заставить это сделать моего сына, что было бы правильнее, если он хочет пережить нападение этих людей, желающих занять наш трон.

— Но... если вернется Одиссей? Он разве не убьет их?

— Вероятно.

— А это не навлечет вторжение?

— Может, и нет. Он царь. Убить сотню невооруженных — это то, что пристало царю.

— Ясно.

Ничего Анаит не ясно. Она, конечно, понимает, что таково общество, что оно так устроено. Она умная, она усвоила уроки. Чего она не понимает, так это того, почему общество, раз уж оно таково, настолько тупое и почему им управляют безмозглые идиоты. И в этом тоже я с ней согласна.

— Я, наверно, поняла, почему ты пришла помолиться Охотнице, а не девственной воительнице, — добавляет она, удобнее усаживаясь на корточки рядом с Пенелопой.

— Ты, вероятно, видела микенцев?

Анаит хмурится.

— Вчера приходили. Вели себя грубо.

— Они не осквернили храм? Не вошли на священную землю?

— Нет, до такого даже они не опустятся. Артемида удерживала всю греческую армию, пока Агамемнон не принес в жертву свою старшую дочь, чтобы усмирить ее гнев, — добавляет она, веселясь при этой мысли. — Они не рискнут снова гневить ее.

«Па-апа-а! Папа, папа, папа, папа, они убили моего священного оленя, папа, папа, папа, папа, па-апа-а! — ныла Артемида в ухо моему мужу. Она не совсем такими словами говорила, но это примерный перевод того лихорадочного визга, с которым она принеслась на Олимп, когда Агамемнон убил одного из ее проклятых священных оленей. — Папа, папа, папа, папа, папа, папа, ПАПА!»

«Ладно! — рывкнул мой муж. — Пускай принесут тебе твое несчастное человеческое жертвоприношение!»

Зевс всегда такой, он никогда не продумывает свои действия до конца.

Клитемнестру за шкуру держал Менелай, чтобы она не выцарапала глаза мужу, пока тот вгонял нож в грудь Ифигении. Никто из богов не наблюдал за этим, даже Артемида. Когда все было сделано, Гермес пошел и рассказал

ей, и она сказала: «А, да?» — и вот ветры задули в сторону Трои. Только мы с Аидом смотрели на ребенка на алтаре, пока Клитемнестра кричала, а Электра, еще совсем маленькая для вида такого количества крови, плакала, не понимая, что происходит. Ифигении было девять лет. Поэты делают вид, что она была старше и мудра не по годам. Мудра настолько, что согласилась умереть. Таким образом можно было обойтись без рассказа о том, как греческим героям-воителям пришлось держать ее на алтарном камне за запястья настолько тоненькие, что они выскальзывали из их хватки, пока нож взламывал ее ребра.

«Ну, слушай, ты отдал Артемиде дочь Агамемнона, а мне почему нельзя взять спутников Одиссея?!» — надулся Гелиос, когда моряки зарезали его священных быков, и действительно, а почему? Мой муж позволил отцу убить собственного ребенка ради случайно загнанного оленя — так что отдать Гелиосу, с которым и так всегда сложно, жизни последних мужчин Итаки показалось только справедливым. Вот так, по недомыслию, и создаются опасные прецеденты, когда царь богов занят тем, что разглядывает грудь какой-нибудь смертной, вместо того чтобы править как положено.

— Артемида — поистине великая богиня, — соглашается Пенелопа, думая, в свою очередь, о том, насколько гибок термин «величие». — Защитница женщин.

Анаит не смотрит на Пенелопу, перекатываясь с пятки на носок.

— Ну, защитница женщин. Да.

— И ее храм — это святилище, которое мужчины не посмеют тронуть.

— Богиня уничтожит их, — отвечает чопорно Анаит, и она, вполне вероятно, права. Афина обожает, когда какой-нибудь мускулистый воин в бронзовых латах стоит на коленях перед ее святыней, а когда на ее алтаре мужчина

изнасиловал женщину, то именно женщине в наказание за такое святотатство она вырастила змей на голове вместо волос. Вот такая у нас мудрая Афина. А Артемида... Артемида гораздо меньше влюблена в мужские качества.

— Тебе... требуется убежище?

— Нет. Пока нет.

— Но... может потребоваться?

— Надеюсь, до этого не дойдет. У меня есть союзники на Кефалонии, которые, я надеюсь, помогут мне, если станет... сложно.

— Я слышала, гавани закрыты.

— Есть и другие способы добраться до Кефалонии, не только через гавани. На острове полно бухточек и скрытых мест, где можно держать небольшой корабль, быстрый, с парусом и веслами, с которыми управится женщина. Люди Фенеры это понимали.

Анаит кивает и, поскольку ей нечего сказать, ничего и не говорит.

Пенелопа прикрывает глаза, произнося куцую молитву — она почти не колышет воздуха этого маленького святилища. Я наблюдаю, как ее молитва возносится, словно пыль в солнечном луче, потом она встает, быстро пожимает руку Анаит, на миг кажется, что поклонится ей, а после разворачивается и поспешно покидает святилище под сенью листвы и хвои.

Эос стоит снаружи, ждет.

— Ну, как прошло? — спрашивает она тихонько, но Пенелопа подносит палец к губам и молчит, пока они не отходят от храма настолько далеко, что долину закрывает выступ леса и их не услышит никто, кроме богов.

— Очень хорошо, — говорит она наконец. — Если поведет, то к закату половина острова будет знать про нашу лодку.



Вечерняя встреча в галерее. Электра все еще в сером. Пенелопа закутана в покрывало. Ей пока удавалось избегать столкновения со своей микенской родственницей — вместо этого Пенелопа посвящала все внимание Оресту. Но Электра изучила галереи дворца, нашла даже оружейную, где хранится лук Одиссея, и разузнала о привычках его обитателей.

— Если она пошла в мать, то захватит оружейную, наставит на нас копье и будет требовать того, что ей надо, — предупреждает Эос.

— Если она пошла в мать, то зачем ей оружейная? Она возьмет мясницкий нож на кухне да и перережет нас всех во сне, — поправляет ее Автоноя, с сочной улыбкой снимая кожицу с фиги.

Теперь Электра стоит перед Пенелопой, за спиной у каждой — маленький отряд служанок под покрывалами.

Рядом с царевной к стене жмутся Орест и Пилад, как будто они не могли решить, обогнать женщин или отстать, и в итоге оказались зажаты рядом с ними. Галерея слишком узка для такой неуклюжей процессии. Первой пытается сгладить неловкость Пенелопа и спрашивает, придавая голосу выражение, среднее между тревожным и мягким:

— Как идут поиски твоей матери, добрая сестра?

А Электра рывкает:

— Плохо!

Тут же натягивает на перекошенное лицо улыбку и голосом, сладким, как нектар, повторяет:

— Плохо. Нам придется обыскать святилища, а может быть, даже сам дворец.

— Безусловно, обыскивайте дворец, безусловно! Но святилища! Разве это не разгневает богов?

Стоящий рядом с Электрой Орест кивает. Он все знает о том, как разгневать богов, его семья знаменита этим. Электра тоже знает, что ее род проклят, но считает, что раз уж ты проклят, то хуже все равно не будет, так что пошло оно все к Аиду. Что еще могут сделать им боги?

Маленькая моя, шепчу я ей на ухо, мы еще даже не начинали.

— Может быть, нужно больше людей, — задумчиво говорит Электра. — Может быть, попросим дядю прислать людей из Спарты, воинов, чтобы полностью закрыть выход с этих островов.

— Какая прекрасная мысль, — щебечет Пенелопа. — Я пошлю к Нестору на Пилос и ко всем царям Греции. Я уверена, что все, у кого доброе сердце и благородный дух, хотят, чтобы это дело завершилось успехом.

Улыбка Электры тонка, как кинжал, который ее мать вогнула в сердце ее отца, остра, как лезвие, убившее ее сестру. Она кивает Пенелопе, а та делает шаг в сторону, чтобы пропустить ее.

Вечером — унылый пир.

Орест ест только тогда, когда Электра кормит его. Она держит перед ним блюдо, подцепляет хлебом мясо, просит его: «Ешь, милый брат, ешь», и он молча съедает то, что она ему дает.

Два микенца за его спиной осматривают зал так, будто думают, что Клитемнестра переоделась и теперь, притворяясь одним из женихов, сидит здесь, пытаясь заполучить руку Пенелопы.

Поэты поют песни об Агамемноне, о его величии, его мощи, его невероятной силе. Один заводит было песню, в которой упоминается, как отец Агамемнона убил детей своего брата, а потом угостил его ими на пиру — так он стал вторым в этой семейке, кто подал на стол собственных родичей, — но, оценив настроение толпы, быстро перескакивает через эту часть.

Служанки ходят по залу, молча услуживая сгорбившим широкие плечи мужчинам.

Поэты не поют о женщинах.

О, когда-то, когда-то они провозглашали мое имя, поднимали ввысь образ благословенной богини-матери, с круглым животом и вздымающимися грудями, они впивались пальцами в землю и зывали: «Матерь, Матерь, Матерь!» Но однажды мой брат Зевс утомился своими трудами в делах смертных и богов. Он увидел то, что есть у других, и захотел себе еще больше — хоть его и без того считали великим, громовержцем, повелителем молний. Но он думал иначе. Изобилие даров у других уменьшало его собственное богатство. Честь, оказываемая другим, ему казалась уроном его собственному величию. Быть великим среди равных ему казалось мелким и обычным, и потому он возвысил себя — а поскольку ему, отцу богов, подниматься выше было уже, в общем-то, некуда, то ему при необходимости пришлось для этого унижать других.

Поэты не поют о женщинах, а женщины поют только на похоронах или вдали от мужчин.

Но когда пир закончен и воздух темнеет, пока дремлют поэты, а громовержец храпит под золотым небом, я буду петь, и вы услышите мой голос. Пойдемте со мною; заглянем в сердца молчаливых служанок, пока мужчины Итаки и Микен спят в пьяной роскоши.

Эос было тринадцать лет, когда Одиссей вручил ее Пенелопе в качестве свадебного подарка. Некоторое время Пенелопа держалась отстраненно и холодно, изо всех сил стараясь быть царицей. Но потом пришло время рожать Телемаха, и, пока она кричала, Эос держала ее за руку, а Урания — за ноги; а если какая-то женщина столько времени смотрела тебе в раскрытую вагину, то остается лишь одно: либо прогнать ее и сделать вид, что ничего не было, либо преодолеть себя и признать, что между вами возникла связь, которая крепче кровных уз.

Эос поклялась, что никогда не будет иметь детей. Соответственно — подобно Афине — она поклялась никогда не иметь и мужчины, но, в отличие от моей падчерицы, находит другие способы развлечься в прохладные зимние ночи.

Автоноя прислуживала во многих домах, прежде чем ее купила Пенелопа, и про нее говорили, что она на любителя. В глазах ее был вызов, а в словах — острота, которые часто кончались битьем. Хотя в тех краях, где чтит законы, мужчинам было запрещено трогать принадлежащую им рабыню без ее согласия, но за соблюдением запрета никогда не следили очень пристально; и если бывшие хозяева хотели посеять свое семя в ее животе, то из этого выросла лишь месть, месть, ярость и месть.

— Чего ты хочешь? — спросила Пенелопа после того, как Автоноя в миг испуганного вызова чуть не выцарапала глаза одному мужчине, и Автоною поразил этот

вопрос: ей никогда не приходило в голову задать его, и она понятия не имела, как на него ответить.

— Власти, — бросила она наконец. — Власти, как у тебя.

— Как ты ее получишь?

— Может быть, на мне кто-то женится?

— Именно так ты намерена действовать?

Автоноя заколебалась. Было непривычно думать о том, чего же она хочет; но еще непривычнее — рассуждать о том, как она этого достигнет. Тогда Пенелопа сказала:

— Поверь царице: нет у нас, женщин, власти мощнее, чем та, которую мы забираем тайком.

Именно тогда я поняла, что люблю Пенелопу. Я не думала, что смогу полюбить ту, которая казалась из всех цариц Греции самой смиренной и кланялась мужчинам ниже всех. Я ошибалась.

Меланта не возражала, чтобы ее продали Пенелопе. По крайней мере, во дворце Одиссея ее неплохо кормят, дают два выходных дня из восьми, у нее есть одежда из довольно приличной ткани и собственная постель. К тому же она тоже учуяла запах власти, и, хотя сама не знает этого, неспособна постичь, но в ней родился голод, который однажды придется утолить.

Феба была рождена рабыней; ночью она молится Афродите; ей нравятся прикосновения мужчин, которые стараются сделать приятно, и однажды она поймет, что молиться ей нужно мне. Афродита — богиня юных и тех, кто еще не познал потерь.

Эвриклея была кормилицей младенца Одиссея, и Антиклея очень любила ее. Когда на Итаку прибыла Пенелопа, Эвриклея взлохматила ей волосы и сказала: «Ни о чем не беспокойся, тетя Эвриклея все уладит!» — а потом кормила Телемаха сладкими пирогами, несмотря на запреты матери, и разрешала ему вылизывать миски из-под меда, и щипала его за щеки, и говорила что-нибудь вроде

«не слушай маму, пусть себе ругается, а ты у меня самый лучший!», пока наконец Пенелопа не ворвалась в комнату Антиклеи и не вскрикнула: «Прогони ее сейчас же!»

И ее свекровь медленно подняла голову с подушки, несколько раз моргнула, глядя на юную царицу, и проговорила: «Милая, у тебя истерика. Пойди полежи».

Когда Антиклея умерла, Эвриклея выдрала себе волосы. Точнее, она выдрала несколько клочков, но это оказалось сложно и долго, так что она, пока никто не видел, неровно остригла остальные, и получилось почти то же самое. Через три дня к ней подошла Эос и сказала: «Пенелопа говорит, что ты верно служила, не жалея себя. Она считает, что тебе пора передать часть своих обязанностей молодым, чтобы ты могла насладиться своей зрелостью».

Эвриклея кричала, рычала и обзывала Пенелопу всякими словами, за которые, не будь она кормилицей Одиссея, ее тут же сослали бы на свиной хутор. Пенелопа с улыбкой выслушала ее вопли, а потом сказала просто: «Ну что ж, вот и договорились», и таков был конец Эвриклеи. Она до сих пор ошивается во дворце, бурчит себе под нос и осуждает каждую пылинку, каждое шепотом сказанное слово, но никто больше не обращает на нее внимания. Она до сих пор пытается понять, как же пропустила тот миг, когда Пенелопа превратилась из девочки в женщину. Хитрая, хитрая Пенелопа проделала такое, пока никто не видел.

Леаниру притащили за волосы с пепелища Трои. Своих снов она не рассказывает никому, даже мужчине, который клянется, что любит ее.

«Ты знаешь, что я никогда не сделаю тебе больно, — сказал он в ту ночь, когда она наконец сдалась и оказалась в его объятиях. — Ты всегда можешь сказать „нет“, Леанира».

Леанира так давно не говорила «нет». У нее просто не спрашивали. Теперь она пробует сказать это, посмотреть,

что будет: сначала шепотом, потом громче — и, как и обещал, он остановился. Мужчина, не меньше, воин — и он остановился, когда она попросила. Она заплакала, а он обнял ее, и на следующую ночь она уже не говорила «нет».

«Когда я стану царем на Итаке, — сказал он, — ты будешь свободна».

Он не единственный из женихов, кто шепчет служанкам эти слова. Темноглазому Антиною это в голову не пришло — он считает, что его животного обаяния достаточно, чтобы соблазнить любое двуногое; никто не соблазняется, и Антиной считает, что мир против него. А вот Эвримах пытался говорить такое — неловко, спотыкаясь о слова, — и Меланта слушает благосклонно. Даже Амфином пробовал этот способ, но говорить искренне не получилось, так что он бросил это дело и вернулся к проверенным методам: недорогим подаркам и красивой историей о падающих звездах.

Но он — любовник Леаниры — говорил эти слова так, что они казались правдой, настоящей и честной. Он не мальчик, он мужчина, проницательный и мудрый. Он прижал ее к себе и сказал: «Ты будешь свободна, хотя я буду очень страдать, возлегая с твоей хозяйкой, а не с тобой», и она посмотрела на растущую луну и не ответила, и он принял это за знак ее любви и прижал ее еще теснее к своей теплой груди.

Теперь полночь, и Леанира ждет у ворот, завернутая в теплую накидку, и, когда Эос, посоветовавшись с Уранией, хозяйкой соглядатаев, возвращается во дворец, Леанира подходит к ней и говорит на ухо:

— Андремон. Он хочет поговорить с Пенелопой наедине.

Эос сбавляет шаг, потом берет Леаниру за локоть и бормочет:

— Не здесь.

Они усаживаются у колодца. Во дворце Одиссея мужчина не станет сам добывать себе воду. Камни прохладные, сырые, за черный край кладки цепляется зеленый мох. Эос сидит на темном оголовке, сложив руки на коленях, подавшись навстречу Леанире, готовая протянуть руку и утешить, — так делает Урания, когда хочет от вас чего-то добиться.

— Как давно ты следишь за Андроном, Леанира?

У Урании Эос научилась тому, что, задавая вопросы, стоит знать ответы заранее. Леанире это тоже известно. Когда греки сделали ее рабыней, пришлось учиться быстро.

— Девять лун.

— А давно ли он взял тебя в свою постель?

Леанира видела, как греки по очереди насилуют женщин Трои, и ей показалось тогда, что делают они это не для удовольствия, не из похоти, не для того, чтобы насладиться женской плотью. Они делали это потому, что все это — вся эта война, с ее яростью, страданием, потерями и болью, — оказалось впустую. Ради чего? Ради того, чтобы город сгорел за одну ночь, а кучка царей забрала себе всю добычу? Когда над пеплом ее родного города взошло солнце нового дня, оказалось, что воины все такие же раненые, окровавленные, потерянные, как и вчера, но только теперь не было больше историй, не было больше поэтов, которые рассказали бы им, что они герои. Так что взамен они сделались зверьми, святотатствуя над живыми и мертвыми, потому что отцы не научили их другому способу быть мужчинами, кроме как выть на алое солнце.

Она думала, что после того дня больше не сможет взглянуть на мужчину. Не сможет улыбаться: ее улыбка обесчестила бы ее сестру, осквернила бы мать, кости которых так и лежали непогребенными в троянской золе. Но вот она

сидит у колодца с женщиной, которая стремится стать любимым наушником Пенелопы, которая усмехается мягко и говорит:

— Андремон красивый, правда?

— Три луны. Я... сплю с ним... три луны.

— Ты не?..

Она качает головой. Это вопрос, который задают только женщины.

— Нет. Я осторожна. Я считаю дни после крови. Он... понимает.

— Тебе хорошо с ним?

— Он не жестокий. Не такой, как остальные. Остальные — мальчишки. Он — мужчина.

Эос ждет, сложив руки на коленях. Леанира медленно, долго выдыхает.

— Он хочет поговорить с Пенелопой. Настаивает. Говорит, что только он может защитить Итаку от набегов. Предлагает привезти из Патр семьдесят наемников. Но Пенелопа не хочет с ним встречаться.

— Почему, как ты думаешь?

— Она не может выказывать благосклонность какому-то одному жениху.

— Конечно. Но есть и другое. Ты слышала о набеге на наши берега? Лефкада, Фенера? Разбойники нападают не только для того, чтобы набрать рабов. Они нападают, чтобы от них откупались.

— Андремон не станет так делать. Он хороший человек.

— Ты веришь в это?

— Да. — Она верит. Она не верит. Сердца смертных непостоянны, они трепещут, летя к смерти, неверными крыльями бабочки.

— А я — нет. — Эос быстро встает, похожая на поднимаящуюся над речным берегом цаплю. — Я думаю, он такой же, как и остальные.

«Что ты знаешь о мужчинах? — хочет закричать Леанира. — О том, что делают мужчины, когда их легенды разрушены? Что ты знаешь о том, какие они, когда все слова, влитые им в уши: герой, воин, завоеватель, царь, — оказываются ложью? Ты, в твоём дворце, выстроенном из теней и тайн, что ты знаешь?»

Но она не кричит. Она непохожа на Эос, оберегаемую любовью хозяйки, или на Автоною, которой повезло научиться смеяться. Вместо этого она тоже встает и говорит, глядя на Эос:

— Ты попросила меня сделаться близкой к Андремону. Узнать его тайны. Быть твоими глазами. Я говорю тебе то, что вижу.

— И разве он не говорил тебе то, что все остальные мужчины говорят всем остальным служанкам? «Помоги мне, и, когда я стану царем, награжу тебя. Ты будешь свободна». Спрашивал ли он, о чем говорят во дворце, шептал ли предложения тебе, просил ли следить за Пенелопой?

— Конечно. Тот, кто не делает так, глупец.

Эос вздыхает устало.

— Чего ты хочешь? — спрашивает она наконец. — Если Пенелопа выкажет ему предпочтение, остальные увидят в нем угрозу.

— Она раньше тайно встречалась с мужчинами. А та женщина лазит к ней в окно.

— Ты ее не видела. Ты ее не видела!

Гнев Эос такой же, как у хозяйки: стремительный ледяной всплеск, который уходит столь же быстро, как появился. Клитемнестра тоже так делает. Вы, царицы Греции, не такие разные, как думаете.

Мгновение две женщины смотрят друга на друга в черном свете, и уступает Эос, не Леанира.

— Я поговорю с Пенелопой, — говорит она.

STONE HEDGE



Телемах упражняется в искусстве быть мужчиной.

Утром он занимается с египтянином за хутором Эвмея. Днем — с Пейсенором и его сворой мальчишек. Недоросли, которых привел старик Эвпейт, отец Антиноя, гужуются в одном конце двора, а молокососы неистового Полибия, отца Эвримаха, — в другом. Телемах и кучка его юных последователей учтиво пытаются дружить со всеми сразу, но на их попытки никто не реагирует. Амфином и Эгиптий бегают от одной группы к другой, так и сяк пытаюсь склонить их к сотрудничеству, а вечером, когда ополчение уходит, все в поту и масле, отцы шепчут своим воинам: не слушайте этого Пейсенора, или этого Эгиптия, или кого там! Слушайте только меня. Вы служите мне, а не Итаке.

Телемах обнаруживает, что смотрит на луну. Она толстеет, и ему хватает соображения, чтобы сосчитать дни

до того, как она станет полной. Может, в этот раз иллирийцы не нападут. Может, Лефкаде и Фенере просто не повезло.

— Смотрите в глаза врагу, пусть он видит ваше намерение, — нараспев говорит Пейсенор мальчикам, качающимся под весом своих щитов. — Они проигрывают битву там, в ваших глазах: в это мгновение они уже разбиты. Рычите как львы! Взмах меча — это лишь завершение начатого.

Рычал ли Ахиллес как лев? Может быть, решает Телемах. Его глаза были как у Ареса: убивающие одним только взглядом. (На самом деле глаза Ареса не убивают одним только взглядом. Они оцепенели из-за того, что слишком долго смотрели на мир и видели в нем лишь опасность. Это же в конце концов случилось и с Ахиллесом, а потом он погиб.)

На другой стороне острова микенцы — старые воины из-под Трои — стучат в двери всех хижин и мастерских.

— Откройте именем Агамемнона! — орут они. Именем Ореста они пока еще ничего не требуют. Телемах смотрит на них, удивляется, какие потертые у них доспехи, побитые щиты и насколько при этом величественными делают их шрамы.

А потом:

— Двигайся! Прячься за ударом! — рывкает Кенамон из Мемфиса, и Телемах слушается. — Если не можешь перерезать мне горло мечом, хотя бы отсеки пальцы!

Кенамон воет совсем не так, как Пейсенор.

Если бы Телемах был сыном Аякса или Менелая, он, может быть, вовсе не обратил бы внимания на учение Кенамона и вместо того обратился бы к более доблестному учению Пейсенора. Но он помнит, что он сын Одиссея — Одиссея, любившего стрелять из лука с безопасного расстояния, придумывавшего безумные схемы вроде

коня с потайной дверцей и успевавшего добраться до поля боя с достаточной задержкой, чтобы оказаться в третьих-четвертых рядах: «Извините, извините за опоздание, опять колесница в грязи застряла, бесполезная колымага!»

Вспоминая все это, вечером Телемах рычит, упражняясь под руководством Пейсенора, в соответствии с традицией; рычит, чтобы показать, что он воин; однако утром, до того, он примеряется и изо всех сил пинает Кенамона по незащищенному колену, но промахивается и вместо этого заряжает ему в пах.

— Ой, прости, пожалуйста, ой... прости-прости! — бормочет он, но втайне доволен тем, как вышло.

А ночью, хотя церемониальный траур окончен, женихи сидят притихшие под взглядом Электры, восседающей на высоком сиденье, а луна растет, но Клитемнестра не найдена.

В один из вечеров, когда луна уже почти полная, Андромон хватается Леаниру за руку.

— Ты что, во имя Аида, вытворяешь? — рычит он. — Она на меня даже не смотрит. Ты сказала, что заставишь ее поговорить со мной! Ты сказала, что можешь...

Леанира не знает, что думать. Она выдергивает руку, трет ее. Ее и раньше, конечно, хватали, били и дергали. Физическая боль — ерунда. Но ведь это человек, который поклялся быть с ней, теперь же его глаза в свете огня кажутся красными, а женихи ждут за полуоткрытыми дверями, и воздух в галереях дворца липкий и прохладный.

— Она с тобой встретится. Она встретится с тобой скоро.

Он качает головой, отворачивается. Разочарован, не сердит. Опечален ее неудачей, ведь он так высоко ее ценил.

В небесах растет луна.

В одной из бухт спрятана лодка, о которой знают лишь несколько женщин на Итаке.

По крайней мере, раньше знали лишь несколько: Урания, Эос, Автоноя — те, кому доверяют в доме Пенелопы.

Потом про нее узнала Анаит, жрица Артемиды, и шепнула про это в строжайшей тайне послушнице, которая вполголоса передала своей сестре, та тут же рассказала их матери, а она поведала двоюродной сестре, которая поделилась с подругой, а та, вы не поверите, торгует рыбой, и, в общем, через очень короткое время...

Чтобы спуститься к воде, надо сползти по веревочной лестнице, переброшенной через край обрыва. Это опасно. Но если добраться до берега, то там есть черные камни, по которым можно ступать очень осторожно, кое-как придерживаясь за просоленные бороды висячих водорослей и скользкую слизь. Бухта очень тесная и не нужна никому, кроме самых нищих контрабандистов, а рыбацки не ходят в нее, потому что до нее чрезвычайно сложно добираться. Иногда дети ловят тут крабов, а тот, кто отважится пробраться сюда, может, пройдя чуть дальше, за поворот берега, набрать толстых вкусных моллюсков со скальной стены залива, в которую колотят волны.

Лодка принадлежит Урании. В нее помещаются десять человек, шестеро из которых — гребцы. У нее заплатанный треугольный парус и запас сухого мяса и чистой воды, и она достаточно крепкая, чтобы даже при противном ветре донести желающих с Итаки на Кефалонию, где можно найти, например, союзников или убежище. Обычно Урания держит ее на виду, ее женщины выходят на ней в море и возвращаются с неплохим уловом. Иногда она лежит на берегу, у конца тропинки, спрятанная за высокими зелеными кустами, упрямо цепляющимися за мохлястые холмы Итаки, словно пальцы эринии, и готовая

унести прочь встревоженную царицу, которой срочно понадобилось обратиться в бегство.

Сегодня она в бухте, снаряженная как раз для такого поворота событий, — темное угловатое пятно в темноте ночи.

К краю скалы подходит завернутая в грязную накидку женщина.

Ей отвратителен запах собственного тела. Ей отвратительны колючки, царапающие ее ноги. Ей отвратителен вкус рыбы и запах соли. Ей отвратительна темнота и неровная каменистая тропинка, а больше всего ей отвратителен этот проклятый остров. Этот мерзкий, проклятый островишко, она его презирает. Если бы у нее был выбор, она ни за что не оказалась бы здесь, но все корабли, идущие на запад, обязательно останавливаются на Итаке.

Она несет в руке украденный факел и мгновение шарит руками по земле в поисках свернутой лестницы. Когда находит, не сразу верит, что воспользоваться придется именно этим; проходит немного влево, потом вправо и, не найдя иного способа спуститься, сбрасывает ее вниз, слушая, как внизу море шлепает, хлупает, возится на каменном ложе; застывает, прикидывая, правильно ли поступает, прикрывает рукой пламя, которое пытается погасить ветер.

Задача — как спуститься и одновременно не дать ветру задуть огонь. Женщина садится на край скалы, вытягивает одну ногу, тут же втягивает обратно. Так не получится. Она перекатывается на живот, свешивает ноги, пытаясь нащупать веревку, рычит: «Как же, во имя всего... Что за... это самое идиотское... Ненавижу этот проклятый остров, ненавижу...»

Хруст сухого дрока слева — и она замолкает. Вскakiвает, поднимая факел, как оружие, ищет на поясе маленький

нож. Он остался у нее, хоть все остальное и отнято; и она готова пустить его в ход.

В тенях стоит Семела, рядом с ней — ее дочь Мирена. Старуха вежливо покашливает, опираясь на топор. Мирена, дочь давно умершего отца, которого не помнит, смотрит с учтивым любопытством, сжимая пастушеский посох, и хмурится, будто пытается понять, что это за особа такая, которая не умеет пользоваться лестницей. Потом еще одна женщина, и еще одна, и еще три выходят из мрака. Среди них Теодора из разрушенной Фенеры, ее стрела наложена на тетиву, а в лице что-то такое, чего в нем не было, когда она просто охотилась на зайцев.

Мгновение женщины стоят, глядя друг на друга, слушая, как бьется о скалы западный ветер. Потом та, что в обносках, опускает свой факел, сплевывает на землю, поднимает глаза и бормочет:

— Вот же не везет.



Они встречаются на хуторе Семелы.

Как и вся Итака, хутор скромнен, но все же скромность его не совсем подлинная. Женщины этого дома были вынуждены отложить чинные женские дела и стать предприимчивыми в области ремесла и производства. Так, совсем неподалеку живут две освобожденные рабыни, которые невероятно искусно плавят олово и свинец, а на другом конце хуторской земли — бывший батрак, который как-то раз споткнулся, идя за плугом, покалечился, но зато, пока выздоравливал, придумал несколько занятных способов применения навоза.

Женщина в лохмотьях сидит на низком табурете у огня. Волосы ее растрепаны, но она все же постаралась изобразить высокую прическу и пустить несколько темно-каштановых кудрей мягкими локонами по сторонам от исхудавшего лица. Говорят, что она вылупилась из яйца,

и действительно что-то лебединое: в длинной шее, молочной белизне кожи, огне янтарных глаз, которыми она оглядывает помещение, — выдает в ней дочь Леды. Ей ни к чему красить лицо свинцовыми белилами и купаться под вечер в меду. У нее волевой подбородок отца и полные, плотно сжатые губы матери, а ее руки — поверьте, у нее невероятно красивые, совершенные руки, которые, лежа на ее коленях, похожи на покоящиеся перед боем знамена: изящные тонкие пальцы, ногти крепкие и здоровые, кожа буквально светится изнутри, ведь она столько лет умащивала ее маслом и не выходила на солнце.

На поясе Семелы висит нож. Он тонкий, красивый — не орудие землепашца. Семела отобрала его у этой женщины: та вопила, пиналась и кусалась, а теперь сидит так спокойно, как будто ничего и не было и все предельно обычно. Она ждет и не снисходит до разговора со своими стражницами, просто сидит, высокая и спокойная. Мне часто приходилось так ждать, готовясь развернуться к мужу и воскликнуть, гордо защищаясь: «Но ведь малютка Геракл задушил тех змей, так зачем же ты на меня кричишь?» За гордостью, конечно, следует смирение, когда ты срываешься, и рыдаешь, и цепляешься за край его плаща; но это нужно делать не сразу, нужно дать мужчине почувствовать: он тебя сломил, ты действительно поняла, что была неправа.

Первую часть она освоила — гордый ответ, вспыхивающие гневом глаза, и было время, когда Агамемнон, который сам был таким, находил это обворожительным. Но ни она, ни он так и не освоили вторую часть, а потому их брак, скажем так, не задался.

Приходит Пенелопа: глаза у нее немного мутные, потому что ее только что разбудили, на плечи наброшен плащ грубой ткани, она немного запыхалась. Она стоит в дверях, вокруг нее звезды, которые то и дело гасят летящие

облака, а вокруг лодыжек завитки стелющегося тумана. Мгновение женщины смотрят друг на друга, потом Семела, которая уже очень давно не спала, резко спрашивает:

— Ну? Это она?

— Да, — отвечает Пенелопа. — Это Клитемнестра.

— Привет тебе, уточка, — говорит Клитемнестра.

— Привет тебе, сестра, — бормочет Пенелопа, оглядываясь в поисках еще одного табурета. Женщины не сразу понимают, а потом Мирена, сообразив, вскакивает с места и предлагает царице свое сиденье, та с улыбкой принимает его, а дочь Семелы встает у стены, сложив руки на груди, слегка сбита с толку присутствием в своем доме такого количества цариц.

— У тебя дрок в волосах.

— Проклятый остров! — выпаливает Клитемнестра, пытаюсь распутать свалявшиеся пряди. — Ты, девочка! — властный жест в сторону Мирены, которую, как видно, сочли способной подчиняться. — Помоги мне!

Мирена смотрит на Пенелопу, та слегка качает головой.

— Эос, помоги, пожалуйста.

Эос делает шаг от двери, ставит на пол светильник, подходит к царице Микен, бестолково дергающей себя за волосы, и начинает осторожно разбирать ее пряди.

— Эос великолепно справляется даже с самыми непослушными волосами, — объясняет Пенелопа, глаза ее поблескивают в свете огня, — кроме прочих ее достоинств. Семела и ее дочери — хозяйки этого дома, а ты — их гостя, и тебе пристало бы вести себя соответственно обычаю.

— Я думала, гостеприимство на Итаке священо.

— Так и есть. Именно поэтому Эос помогает тебе распутать волосы.

Клитемнестра смеется — «ха!» — громкий, резкий звук, похожий на гогот лебедя, который, как говорят, породил ее.

— Ты меня долго искала, уточка Пенелопа.

— Ты должна радоваться, что тебя нашла я, а не твоя дочь.

— Электра? Она здесь? Ну конечно, здесь. Она ужасно настырная.

— И твой сын.

Клитемнестра застывает, сжимает руки, а потом — это привычка, чутье — заставляет себя расслабиться. Улыбка застыла на ее лице. Это отравленная улыбка, которая находит свое развлечение лишь в кислоте и в том, как не по себе становится каждому, кто видит эти ядовитые губы. Агамемнона некоторое время эта улыбка завораживала. Он, который покори́л всю Грецию, думал, что сможет покорить и ее, одержать последнюю победу, которая так долго не давалась ему. Он ошибся.

— Орест? Как он поживает? — говорит она негромко, будто это самый небрежный вопрос на свете.

— Он много молится.

— Он благонравный мальчик.

— Он приплыл сюда, чтобы тебя убить.

— Конечно. Он всегда понимал, в чем состоит его долг.

— Тебя это, похоже, не огорчает.

— Орест не может меня ничем огорчить. Он делает то, что должно.

Пенелопа приподнимает бровь, а Эос на мгновение перестает разбирать волосы Клитемнестры. Та ерзает на стуле, потом резко спрашивает:

— Как ты меня нашла, уточка?

— Не называй меня так, будь добра. Я царица западных островов.

— Ой, утенок, — надувает губы Пенелопа, — твой муж погиб, у твоего сына нет войска, а ты... что ты? Отчаянно пытаешься добиться расположения моего мальчика, чтобы воспользоваться его добросердечием и богатством? Может, пытаешься женить Телемаха на Электре? Поверь

мне, она его целиком проглотит, так, что костей не останется.

— Ты же ее мать.

Клитемнестра презрительно фыркает: Пенелопа ничего не понимает во взаимоотношениях матери и дочери.

— Я нашла на берегу тело. Убитого звали Гиллас, — говорит Пенелопа, с трудом удерживаясь от того, чтобы не начать в царственном отвращении орать на сестру.

— Надо же.

Семела протягивает Пенелопе маленький нож, взятый у Клитемнестры. Та вертит его в руках, смотрит на кончик, на крошечную рукоятку, что может оставить кровавое кольцо на коже человека, которому будет воткнуто в шею. Потом возвращает его Семеле, качает головой, внимательно разглядывает землю под ногами и говорит как бы отстраненно, словно военачальник о бойцах, погибших на далеком поле битвы.

— Орест и Электра привели на мой остров воинов. Мы уже отвыкли видеть здесь столько мужчин. Они прочесали все деревни и хутора. Готовятся обыскать мой дворец. Это, конечно, позор — но, конечно, такой позор, который, как ты говоришь, должна потерпеть царица кучки мелких островов. Поскольку тебя никак не могут найти, остается три возможности. Что ты спряталась на пустошах — вряд ли, зная тебя. Что ты сбежала с острова. Или что ты укрываешься в каком-либо храме. Я пытаюсь убедить твоих детей, что произошло второе.

— Электра не поверит тебе.

— Я работаю над тем, чтобы она поверила.

Губы Клитемнестры изгибаются, это даже похоже на признание, на миг уважения к сестре — но это выражение настолько чуждо ее лицу, что она не может удерживать его долго, и ее ядовитая улыбка сразу возвращается.

Видит ли это Пенелопа? Может быть. Но, как и ее муж, она знает, когда нужно говорить так, будто тебя никто не слушает, как рассказать историю так, будто это что-то личное, какая-то тайна.

— В ту ночь, когда погиб Гиллас, на Фенеру напали. Но его убили не иллирийцы — хотя сомневаюсь, что хоть кто-то погиб в ту ночь от рук иллирийцев.

— Никто, — Клитемнестра отбрасывает это слово от себя словно грязь из-под ногтей. — Я смотрела с утеса. Это были греки, одетые в иллирийские шлемы. — Брови ее двоюродной сестры взмывают вверх, и она пожимает плечами. — Поскольку мой муж подчинил себе так много греческих земель, многие греки стали устраивать набеги под видом воинов из варварских племен, кое-как придав себе с ними сходство, чтобы казалось, что они не нарушают мирного договора с Микенами. Это детский прием, его раскусит любой, кто, как и я, много раз принимал при дворе настоящих иллирийских послов и настоящие иллирийские дары.

Вот она; вот та причина, по которой Одиссей женился именно на Пенелопе. Не только потому, что это было удобно и придало ему авторитета, что про нее говорили, будто она дочь наяды и в ее крови есть немножко волшебства. Вот оно, то мгновение, когда ее сестры смеялись, тыча пальцем, и кричали: «Пенелопа — утка, Пенелопа — утка!» — а юная Пенелопа — та, чей отец в младенчестве швырнул ее со скалы, та, кому само море не дало утонуть, послав ей на помощь пусть и не очень изящный, зато доблестный утиный отряд, — сидела, и хоть девочки смеялись, и кричали, и дергали ее за косы, она будто бы пребывала в каком-то ином мире, в другом месте, где ни насмешки, ни оскорбления не могли достать ее, и в ее лице не было ни боли, ни обиды. Наконец им надоело дразнить камень, а Одиссей сел рядом с нею и сказал:

«Бессмысленно задирать океан, правда?» — и она подняла глаза на него и промолчала в ответ, но уголок ее губ тронула улыбка согласия.

И вот теперь Клитемнестра, дочь Зевса, сидит в неяршливой хижине на Итаке и говорит с Пенелопой так, как говорила в детстве; а в ответ на нее словно смотрит вода, поверхность которой даже не дрогнет, проглатывая брошенные камешки.

— Ты убила Гилласа в ту ночь, — вздыхает Пенелопа. — Полагаю, ты заплатила ему, чтобы он переправил тебя из Микен на Итаку, а потом собиралась продолжить отсюда путешествие на запад. Но по пути он либо задрал цену так, что ты больше не захотела платить ему, либо понял, кто ты такая, и сообразил, что выручит гораздо больше, если предаст тебя. Да?

— Контрабандисты жадные, — отвечает Клитемнестра, пожав плечами. — Гиллас был не очень жаден и не так уж глуп. Но он угрожал мне, говорил со мной так, будто я какая-то... беженка из Трои! Он собирался предать меня. У меня не осталось выбора.

— Он не ждал от тебя беды. Ты смогла подойти очень близко, почти вплотную, и вонзила свой нож, тот, что сейчас у Семелы, прямо ему в горло.

Клитемнестра не отрицает этого. Она, может быть, даже гордится этим, как я горжусь ею.

— Однако, убив его, ты потеряла удобный путь бегства с Итаки, а его тело скоро бы нашли. Здесь тебе повезло. Явились не иллирийцы, и ты смогла бросить его труп вместе с остальными убитыми. Просто мертвый среди мертвых.

— Ты знаешь, почему налетчики напали именно на эту вшивую деревушку? — спрашивает внезапно Клитемнестра, наклоняясь вперед в свете огня. — Хочешь знать?

— Фенера была прибежищем контрабандистов: там было чем поживиться и не было никакой стражи.

— Любой царице положено такое знать. Но откуда это знали разбойники? Я знаю. Я могу тебе сказать, если ты вежливо попросишь. Я не единственная, кто наблюдал, как горит деревня.

Пенелопа сжимает губы.

— Ты убила Гилласа, оставила его тело, а потом явились разбойники. Это ясно. Но ты уже заплатила ему за часть пути, чтобы он довез тебя до Итаки. Ты отдала ему золотую вещь с печатью Агамемнона. Перстень — другого такого не сыщешь.

— Ты нашла их?

— Нашла.

— Где?

— На трупе Гилласа.

— Ха! Я всегда знала, что ты ворона, а не утка! Оба вы, царь и царица Итаки, падальщики, подбираете крохи с чужих столов.

— Я та царица, которая может спасти твою жизнь, сестра.

— Какая же ты царица? Кто-нибудь кланяется, когда ты идешь мимо; кто-нибудь воспевает твоё имя? Вот я — я знаю, что такое править.

— Знала когда-то. А теперь ты просто убийца. А когда тебя найдет Орест, ты станешь трупом.

— Он благонравный мальчик, — резко отвечает она и повторяет тише: — Он благонравный мальчик.

Агамемнон впервые встретил Клитемнестру как раз после того, как убил ее мужа. Их маленький сын плакал в соседней комнате — он появился совсем недавно, и тело Клитемнестры еще болело от родов. Она выхватила кинжал с пояса Агамемнона и попыталась вонзить в его сердце, но он перехватил ее руки и держал ее, а его воины

зашли в ту комнату, где был младенец, и младенец перестал плакать. Клитемнестра не сводила глаз с лица мучителя, и в них была такая ненависть — ничто и никогда так не опьяняло его.

Я заполучу это, думал он, пока она пронзала его взглядом.

Я подчиню это.

Агамемнону всегда нравилось что-нибудь подчинять. Кинжал он подарил ей на свадьбу, и она взяла его, не сказав ни слова.

— Я не могла понять, как тебя выманить, после того как ты убила Гилласа, — признается Пенелопа, а серая заря распарывает тьму на горизонте. — Хотя Итака и маленькая, тут есть где спрятаться. Ты была не на пустошах: ты слишком изнеженная. Не в деревнях, не на Кефалонии — иначе либо мои люди, либо микенцы уже нашли бы тебя. Самым логичным казалось искать убежища в храме — в том единственном месте, которое микенцы не разберут по кирпичу и святость которого я не нарушу тоже. Не в храме Афины: опять-таки, я бы узнала. Там собирается очень много знатных мужчин и полно любопытствующих глаз. Так где же? Может, у алтаря Артемиды? Он далеко от города, это святилище для женщин, хоть у этой богини и весьма недружеские отношения с твоим народом. Он достаточно близко, и жрицы защитили бы тебя, приди ты к ним в нужде. Они не смогли бы защитить тебя, если бы ты оттуда ушла, конечно, но вряд ли ты соберешься выбираться с Итаки, пока по острову рыщут люди Электры. Я помню, что ты воплощение нетерпеливости, порывистая и беспокойная. Прятаться, наверное, было пыткой.

— Я научилась терпению, сестра.

— Но недостаточно, — отвечает Пенелопа резче, чем хотела. — Поскольку я была почти уверена, что ты в храме, оставалось только решить, как тебя оттуда вытащить.

На Итаке подозревают, что, если из затей с женихами ничего не выйдет, мне придется бежать к моим союзникам на других островах. Для этого я держу лодку: о ней никто не знает, но она всегда готова к выходу в море. Понадобилось всего лишь обсудить ее с Анаит в ее храме. Итакийцы обожают сплетничать, а Анаит... ну, думаю, она была счастлива, что ты сама уйдешь из ее храма и ей не придется нарушать священную клятву защиты. И вот ты здесь.

— Вот я здесь, — соглашается Клитемнестра. — И теперь я яд для тебя.

Пенелопа ерзает на своем сиденье, наклоняется вперед, сплетая пальцы, откидывается: на мгновение забывает, как быть царицей. Эос проводит пальцами по распутанным прядям Клитемнестры. Я играю с кончиками ее волос, глажу царицу Микен по спине, шепчу: «Я здесь». Смотрю мрачно на Пенелопу, добавляю чуть громче — но не так громко, чтобы мое присутствие в комнате уничтожило смертных: «Я здесь». Пенелопа, может, и царица и находится под моим покровительством, но Клитемнестра — единственная дочь Спарты, которая осмелилась воссесть на трон своего мужа.

— Зачем ты явилась на Итаку, сестра? — спрашивает Пенелопа.

— Не ради тебя, уточка, — отрезает Клитемнестра. — У меня не было выбора. Твои несчастные островки, чтоб их Посейдон потопил, встали у меня на пути.

— Ты не хотела обратиться ко мне за помощью?

— Даже не думала.

— Почему?

Она фыркает. Это неприятный звук, но Клитемнестра никогда и не стремилась угождать никому, кроме себя. Это тоже очень нравилось Агамемнону, пока не разонравилось.

— Потому что я все про тебя знаю, уточка, как ты киснешь и ждешь своего Одиссея. Ой я бедняжка, ой моя

бедная жизнь, что скажут мужчины? Ты не царица. Ты просто какая-то вдова, нужная лишь для того, чтобы узаконивать своей неискренней улыбкой решения, которые принимают мужчины дома Одиссея. Ты слишком бесхребетная, чтобы мне помочь.

Пенелопа вздыхает, качает головой.

— Ты видишь здесь мужчин?

Клитемнестра смотрит на тех, кто ее пленил, и, кажется, наконец замечает, что вокруг нее одни женщины. Что-то пробегает по ее лицу — может быть, даже сомнение, — но она тут же прячет это, взмахом руки отгоняет Эос, ровнее садится в кресле.

— Насколько вижу, на Итаке водится только два типа мужчин: забившиеся по углам старики и мальчишки, стоящие в очереди, чтобы залезть в твою постель.

— Это очень точное описание мужчин Итаки, — признает Пенелопа. — Ты все это видишь так ясно, и я удивлена, что не понимаешь, что из этого следует. Электра приказала закрыть все гавани. Я могла бы дать тебе свою лодку, но она довезет тебя только до Кефалонии, где уже ждут микенцы, а за твою голову назначена большая награда. Они поймут тебя и убьют. Твой сын прольет твою кровь на моей земле. Так что ты останешься здесь, в гостях у Семелы и у меня, пока я не сделаю так, чтобы твои дети отплыли отсюда.

— Отплыли? Как ты это сделаешь?

— Конечно же, бессильно ожидая, пока что-либо сделает какой-нибудь старик. Это ведь все, на что я гожусь, правда?

Клитемнестра родилась из той же кладки яиц, что и Елена. Ее братья сияют звездами в небесах. Ее мало чем можно удивить — и все же, вероятно, сейчас она пересматривает некоторые свои предположения. Не так уж часто ей приходится это делать.

- Электра не остановится.
- Она очень похожа на тебя.
- Она вообще на меня непохожа!

Пенелопа склоняет голову, смотрит, как микенская царица берет себя в руки, и добавляет тише:

- Эта девочка вся в отца.

«Папа — герой, а ты — просто тупая шалава!» — крикнула Электра в одиннадцать лет, а потом хлопнула дверью перед лицом матери. Клитемнестра не помнит, почему она хлопнула дверью, но предположила тогда, что это просто такой возраст, это пройдет.

«Отец — герой, а ты просто... просто... просто женщина!» — рявкнул Телемах в двенадцать лет и в бешенстве убежал от Пенелопы, которая пыталась заставить его... что-то делать. Постигать основы сельского хозяйства, например. Изучать законы. Делать что-нибудь, что пригодится царю, конечно же. Что-нибудь, не связанное с геройствованием под стенами Трои. Она тоже думала, что это такой возраст и это пройдет.

Теперь две царицы сидят в молчании и думают: есть ли предел тому, что может отдать мать? Мы, боги, хвалим тех, кто отдает все-все, больше, чем все, и больше, чем может быть достаточно. Женщину же, которая просто отдает все, что у нее есть, так, что в ней больше ничего не остается, мы обрекаем на горящие поля Тартара и просто говорим: это ради детей.

Пенелопе приходит в голову, что она не знает, нравится ли ей сын. Конечно, она его любит, и, напади на него кто с копьем, она закроет его собой без раздумий. Но нравится ли он ей? Она не уверена, что достаточно знает того мужчину, которым будет Телемах.

Клитемнестре не нравится Электра. Она увидела однажды вечером, как ее дочь заглядывает в дверь, когда Эгист был занят делом, но она не воскликнула: «Стой,

стой, любовь моя, остановись». До того как появился Эгист, она понятия не имела, что это такое — когда тебя обожает мужчина, что такое самой получать наслаждение, собственный экстаз. Позже она скажет сама себе: это даже хорошо, что ее дочь все видела, потому что теперь Электра будет знать, что женщины тоже могут кричать от наслаждения в объятиях мужчины; что мужчина может быть готов подумать и об удовольствии женщины, а не только о своем. Она подумала, что Электра поймет и будет рада за мать, но, похоже, после этого вечера Электра возненавидела мать еще сильнее — даже сильнее, чем в тот день, когда они стояли у алтаря, на котором умирала Ифигения.

«Папе пришлось убить Ифигению, — заявила Электра однажды ночью, когда заканчивался пьяный пир. — Он сделал это ради греков и ради богов. Ты не должна была вмешиваться!»

Обе: и Пенелопа, и Клитемнестра — говорили детям, что их отцы — герои, когда те были маленькими и спрашивали, где папа. Это казалось правильным.

— Видимо, у меня нет выбора, кроме как положиться на твое... благоразумие, — задумчиво говорит Клитемнестра; две царицы сидят, а тусклые отблески очага вздымают за их спинами горбатые тени. — Должно быть, тебе приятно.

— Нет, не приятно. Но я буду благоразумна.

— Я видела факелы над храмом несколько ночей назад, а теперь на твоём острове женщины с мечами. Ты что, строишь заговор, уточка?

— Если у женщины нет ни золота, ни воинов, ни имени, ни чести, что еще ей остается делать?

Клитемнестра кивает. У нее были золото, воины и имя — чести, строго говоря, не было, но и первых трех позиций хватило. Теперь у нее есть лохмотья и грязь в волосах, а ее имя — да она и сама не уверена, какое у нее теперь имя.

Несколько мгновений две женщины сидят молча: Клитемнестра — прямая, как колонна в храме Зевса, Пенелопа — чуть сгорбившись, пытаясь скрыть любопытство за каменным лицом. Наконец Клитемнестра резко спрашивает:

— Выкладывай, утка: что ты на меня палишься?

— Почему ты это сделала? — выдыхает Пенелопа. — Зачем убила Агамемнона?

Клитемнестра распаивает глаза в ярости, в отчаянии, и в сердце своем она взывает: «Эгист, Эгист!» — и чувствует его язык на изгибе своей теплой шеи. И голос ее, когда она нарушает молчание, — это не огонь, а пламенеющий лед.

— Почему я его убила? Человека, который убил мою дочь? Который убил моего сына? Который вернулся со своей войны с потаскухами и уложил их в мою постель? Убийца, чудовище Греции, он... Да вы благодарить меня должны. Вся Греция мне благодарна! Вы мне ноги целовать должны, вы должны... Почему я его убила?!

Пенелопа хмурится на миг, скорее сбитая с толку, чем обиженная словами Клитемнестры.

— Нет, — говорит она наконец негромко, — я про другое. Зачем ты убила его... так?

Клитемнестра застывает, как готовая напасть змея, потом снова сворачивается, делается меньше — женщина, не царица, и, конечно, есть что-то еще. Ибо да, да, все это правда, эта история крови и убийства, но все же Клитемнестра кланялась, улыбалась и сказала: «О мой верный муж, добро пожаловать домой!» — когда Агамемнон сошел с корабля на пристань. Она бросилась к его ногам и возгласила: «Мой герой! Мой возлюбленный! Величайший из царей!» — и перед ним сыпались лепестки, и на золотом кресле его внесли в город, а Клитемнестра напоказ — и почти без помощи припрятанной в платке луковицы — рыдала от счастья, что он возвратился.

Только потом, когда он повернулся спиной, она разрешила бровям нахмуриться, лицу — скривиться, а ярости — застучать в сердце. Потом Эгист шагнул из тени, притянул ее к себе и прошептал: «Не сейчас, любовь моя. Не сейчас. Мы должны быть осторожны. Мы должны быть мудры. Не наноси удара. Не сейчас».

Эгист, который сам был сыном царя, убитого дяди Агамемнона, имел столько же прав на микенский трон. Но он превратился в поэта, в человека, которому приходилось ублажать женщин, чтобы продвинуться в жизни, самого низкого из низких. Он держал ее — она тряслась от ярости, по коже бежали мурашки от прикосновения Агамемнона — и шептал: «Подожди, любовь моя. Подожди. Ты такая храбрая, ты такая сильная. Никто другой в Греции не сможет это сделать, а ты сможешь».

Она боялась, что Агамемнон сразу потребует ее, тут же отвернет ее лицо к стене и прижмет рукой, чтобы не смотреть на нее, пока делает свое дело. Но нет, он был слишком упоен вином и восхищением мужчин города, чтобы вспомнить о жене, и она стояла у него за спиной, и улыбалась, и говорила: «Все, что пожелаешь, любимый», и устроила его троянских рабынь во второй, самой лучшей, комнате, и задавалась вопросом, отворачивает ли он их лица тоже, когда сношается с ними, и болит ли у них после этого шея.

«Подожди, подожди», — шептал Эгист, и она ждала. Ждала, пока придет время, ждала яда или лихорадки, какой-нибудь неочевидной возможности отомстить, а потом сыграть горюющую вдову. Но затем, однажды ночью, когда она уже засыпала, Агамемнон ворвался к ней и заорал:

— Ты что творила, женщина?

Она кое-как поднялась в полусне, а он набросился на нее, ударил по лицу — она знала, что надо делать,

и сразу упала на пол, она знала, что он любит бить женщин тогда, когда они стоят.

— Что за дерьмо? Ты прогнала кого-то из города? Ты прогнала моих друзей?

— Я исполняла закон. Я прогнала врагов Микен, я правила, как ты мне сказал...

Он снова ударил ее, хоть она и лежала, и вот тогда она по-настоящему испугалась.

— Ты не правишь! — заорал он, глаза ей забрызгало его слюной, лицо заливала кровь из разбитого носа. — Я здесь царь! Я царь! А ты просто... просто вещь! Ты не отдаешь приказов! Ты не прогоняешь моих друзей! Ты не говоришь с воинами, или купцами, или военачальниками, или советом, или любым другим мужчиной, пока я не позволю!

И вот оно, вот оно.

Кто-то, видно, нашептал ему на ухо: «Агамемнон, насчет твоей жены...»

Кто-то, наверно, сказал ему, что, пока его не было, она сидела на его троне, говорила его голосом и те, кто задавал поначалу вопросы относительно этого, быстро перестали их задавать. Она была женщиной и правила как царь, а теперь — вот оно, к тому и шло — он поднимает ее, швыряет на кровать, и, хотя она кричит, царапается и пытается воткнуть ему пальцы в глаза, он все равно сильнее. Он всегда был сильнее.

Закончив, он лежит, задыхаясь, на липкой простыне, доказав ей то, что хотел, наилучшим известным ему способом.

Эгист шлет весть из-за стен дворца: я уже иду, я уже иду, я соберу воинов, и мы возьмем свое...

Но он не приходит.

Агамемнон призывает назад своих изгнанных друзей, воров и лгунов, которые ограбили его дворец, пока его не было, льстецов и негодяев, которые шептали медовые

речи и попирали закон. Он раздевает Клитемнестру догола перед ними и говорит: «Проси у них прощения» — но, когда она не просит, не склоняется, он кидает ее себе на колено и избивает до крови, а Эгист не приходит.

И потом, однажды вечером, когда он отвернул ее лицо к стене и растянул в стороны ее ноги: «Шалава, проклятая шлюха, проклятая шалава, я царь, я царь, я царь!» — как только он закончил и лежал там, потный, воняющий вином и потрохами, она встала, чтобы помыться, чтобы оттереть его от себя, и увидела на серебряном блюде нож, которым иногда резала фрукты. Тот самый кинжал, что был ее свадебным подарком.

И перестала вытираться, потому что скоро придется мыться снова.

И взяла нож.

«Ты выглядишь как проклятая...» — говорит он, но предложение не будет закончено.

Она делает это.

Не ради сына, убитого во дворце Тантала.

Не ради дочери, зарезанной на алтаре Артемиды.

Она делает это той ночью, в отчаянии и лихорадке, ради себя.

Только ради себя.

Я люблю тебя, шепчу я, а по ее рукам течет кровь.

Я люблю тебя, говорю я, а Эгиста вызывают из его убежища, и он в ужасе смотрит на труп. «Что ты натворила?» — спрашивает он, и у нее нет ответа.

Я люблю тебя, бормочу я, а она бежит. Ты любима царицей богов. Ты освободилась, ты летишь через ночь, как луна, ты справедливость, ты возмездие, ты праведное лезвие во тьме! Ты моя Клитемнестра.

Через несколько дней Орест бросит то копье, что оборвет жизнь Эгиста. Он станет первым человеком, которого убил ее сын.

Я люблю тебя, выдыхаю я, а Клитемнестра сидит, неподвижно и молча, в итакийской ночи. Я продеваю свои пальцы в ее, и ловлю рукой руку Пенелопы, и связываю их с собой и друг с другом в этом тихом месте. Мои царичицы, шепчу я, и солнце пронзает восточный горизонт. Не бойтесь.

Снаружи, в выцветающей ночи, кричит сова, и я на миг чувствую присутствие другой, улетающей на оперенных крыльях.

STONE HEDGE



В темноте за хутором Семелы ждет Приена. Теодора из Фенеры стоит рядом с ней с луком за спиной. Урания, начальница соглядатаев, стоит чуть поодаль с одной из своих служанок. Есть там и другие — взгляните повнимательнее в темноту и увидите их: вдов, сирот, незамужних девушек и потрепанных жизнью рыбачек. Царица позвала их, и они пришли, и теперь молча ждут и смотрят в полутьме, как Пенелопа приближается вместе с Эос.

Пенелопа берет руки Урании в свои, шепчет ей на ухо. Старуха кивает, жестом показывает своим женщинам, что они могут идти; от них больше ничего не требуется. Скоро потребуется снова.

Потом царица подходит к Приене. Воительница не кланяется ей. Она не оказывает почестей ни женщине, ни мужчине. Пенелопа останавливается за несколько шагов

и смотрит на Приену при тусклом свете лампад, смотрит на клубящуюся вокруг них тьму, на глаза, полускрытые в тени. Наконец говорит, достаточно громко, чтобы услышали все:

— Приена. Воевода.

Приену еще никто не называл воеводой. В ее племени не было необходимости в подобных титулах. Все и так понимали свой долг и свое место, этого не нужно было растолковывать в историях, которые сильные навязывают слабым. Но это Греция, у слов здесь есть собственная власть.

— Царица, — отвечает она, не уверенная, что обращаться надо именно так, но ей все равно. А потом добавляет: — Так это жена Агамемнона.

Пенелопа глядит на небо, на садящуюся луну, на серую полосу на горизонте, потом делает небольшое движение рукой в сторону, показывая, что им нужно пройти вдвоем и поговорить потише.

— Да, это она.

— Она правда это сделала? Она его убила? — Приена не может скрыть восхищенного трепета в голосе. — Он и правда был в бане, голый, как рассказывают? Она правда выпила его кровь? Она правда съела его мужской...

— Эти вопросы я ей не задавала. Как идет обучение? Скоро полнолуние.

Приена пожимает плечами: это и так ясно, поэтому нет смысла отвечать.

— Разбойники приходят в полнолуние, — добавляет Пенелопа, глядя, как блеклый свет играет на лице Приены, стараясь увидеть знак в ее глазах. — Женщины будут готовы?

Приене не приходится долго обдумывать ответ: пнув камешек, попавший под ноги, она отвечает:

— Нет.

Пенелопа одергивает себя, не дает себе зашипеть, хочет возразить, вспоминает, что нельзя. Она терпелива. Она все время напоминает себе об этом. Быть терпеливым — это чувствовать жгучий гнев, бессильную злобу, яриться и хотеть махать кулаками на несправедливость мира и все же — и все же — держать язык за зубами. Это она точно знает о терпении, хотя никто, похоже, не понимает, как жжет оно ее грудь. Так что она говорит:

— Очень хорошо. Возвращайся к работе. Хорошего тебе дня.

— Царица, — выпаливает Приена, прежде чем Пенелопа успевает уйти. — Эта Клитемнестра.

— Что?

Приена встает чуть прямее, двумя пальцами правой руки прикасается к сердцу.

— Я буду молиться за ее благословение и благополучие.

Приена уже очень давно не молилась. «Молись мне, молись мне! — шепчу я ей на ухо, когда женщины уходят. — Молись мне, моя огненная, молись Гере!»

Приена не слышит. Ее сердце закрыто для всех, кроме госпожи востока, которая купается в огне утренней зари.

Утром у ворот дворца стоит Анаит, уперевшись в землю ногами, как ясень корнями.

— Жрица Артемиды, как чудесно, что ты посетила нас, — пронзительно восклицает Автоноя. — Пожалуйста, заходи.

Анаит мрачно смотрит на нее, на дворец, на город вокруг, как будто подозревает, что все это — какая-то ловушка, потом наконец неохотно перешагивает порог. Она не пьет предложенное ей вино, не садится на предложенное кресло, а стоит, сложив руки, женщина-ствол, почти целый час, пока мимо нее тянутся с мутными рожами похмельные женихи, а потом наконец появляется Пенелопа.

— Добрая жрица, — нараспев произносит царица. — Твое посещение — честь для нас.

— Нет, не честь, — отвечает Анаит. — Люди не такие.

— Пожалуйста, давай поговорим наедине.

Они говорят, несколько неловко, перед маленьким домашним алтарем Гестии, где находят время молиться только женщины. Моя сестра — слишком скучная старая дева, ее не волнует, что перед ее святилищем стоит, будто так и надо, чужая жрица. Вот если бы на алтаре, перед которым ведет беседу служанка Артемиды, стояла моя статуя, я бы наслала на нее бородавки.

— Ну где она? — шипит Анаит.

— Если под «ней» ты подразумеваешь мою двоюродную сестру, то она в полной безопасности.

Анаит фыркает. Она не вполне понимает, что ей делать с этими неожиданными сведениями, и не приготовила никакого ответа. Можно было бы протянуть: «А точно в безопасности?!» — но вообще-то, по правде говоря, это как-то по-детски. Пенелопа вздыхает, улыбается, преодолевает искушение похлопать ее по спине.

— Оставляя в стороне мои... сложные чувства относительно того, что ты прятала в своем храме самую разыскиваемую женщину в Греции, а также мои столь же богатые и разносторонние чувства по поводу того, с какой готовностью ты рассказала ей о моей лодке...

— О которой рассказала мне ты! — почти пищит Анаит, а потом оглядывается, чтобы удостовериться, что никто не слышал ее вскрика. — Ты того и хотела, чтобы я сказала ей! Ты хотела, чтобы я сбаврила ее с острова!

Пенелопа ждет мгновение, пока уляжется возмущение жрицы, потом улыбается и снова кивает.

— Я, конечно же, хочу, чтобы Клитемнестры не было здесь. Но она не дочь наяды. Ее навыки в управлении кораблем ограничиваются замечаниями о том, какие

мощные мышцы у ближайших красивых гребцов. Этот выход наименее плохой из тех, что у нас сейчас есть.

— Она под моей защитой. Она попросила убежища.

— Она была под твоей защитой. Когда она вышла из священной рощи, то оказалась только под своей собственной защитой. Теперь она под моей.

— Артемида будет...

— Артемида приказала Агамемнону убить ее дочь. Как бы ни вмешивались боги в нашу жизнь, добрая сестра, не стоит думать, что ими движет что-то кроме их собственных причуд.

Будь я Аполлоном, господином песен и создателем эпосов, я бы прямо тут и закончила свою историю, на этой крайне выразительной мысли. Увы, он сейчас натягивает струны на лиру в Делосе, пока привлекательные мальчики с еще не сломавшимися голосами удовлетворяют, скажем так, его музыкальные пристрастия, и поэтому я продолжу свою историю, хотя и сомневаюсь, что в ней еще прозвучат слова более мудрые и правильные.

Анаит не знает, что сказать, она надувает щеки и, если честно, сама не знает, как отнестись ко всему происходящему. Наконец говорит:

— Я хочу с ней увидеться.

— Нельзя.

— Почему?

— Потому что я не хочу, чтобы вся Итака знала, где Клитемнестра.

— Я бы не...

— Но ты понимаешь, почему я не хочу рисковать.

Анаит точно что-то чувствует сейчас — может, возмущение? — опять-таки она сама не уверена, какое чувство и когда ею движет, пока не сядет и не поразмыслит об этом. Так что она говорит, задрав нос и не глядя на Пенелопу:

— Я смогу хранить твои тайны, царица. Ты знаешь, что смогу.

— Я знаю и благодарна.

— Скоро полнолуние.

— Я знаю.

— Женщины будут сражаться, когда придут разбойники?

— Нет.

— Почему?

— Они еще не готовы, и, даже если бы были готовы, я не могу знать заранее, куда устремятся иллирийцы.

— А. — Энтузиазм Анаит такой же непостоянный, как у ее хозяйки, это у них тоже общее. — Что же тогда мы можем сделать?

— Я подумала над этим. Жрецы храма Афины иногда в полнолуние приносят жертву. Я сама часто приходила туда, чтобы помолиться за мужа. Мне кажется, храм Артемиды тоже мог бы захотеть отпраздновать. Может, устроить какие-нибудь полуночные торжества? Что-нибудь вроде священного пира, как раз в полнолуние? Песни, пляски, медовые пироги для детей, все такое? Что-нибудь, чтобы люди с побережья перешли чуть ближе к середине острова, подальше от ласкового моря.

Глаза Анаит блестят.

— Храм Афины ведь хорошо снабжается. Все, кто проходит через гавань, приносят жертву в честь знаменитой покровительницы Одиссея. А вот Артемиды... Мы глубже в лесу, к нам приходит мало народу...

— Я сделаю так, что вы не будете нуждаться.

— И крыша течет, после прошлогодних зимних бурь...

Пенелопа слишком устала, чтобы торговаться и закатывать глаза.

— Я пришлю плотников, чтобы поправили крышу, и подводы с дарами.

— Богиня любит полночные пляски, — заключает Анаит, удовлетворенно кивая, но тут же снова начинает хмуриться: — А то, другое, дело? Та... та, которая не села в лодку?

— Пока что она в безопасности, я клянусь.

— Пока что?

— Я над этим работаю, — вздыхает Пенелопа. — Знаю, что... понимаю, что прошу тебя просто поверить мне на слово. Но я стараюсь как могу, чтобы все разрешилось удачно.

Все кругом только и делают, что стараются как могут, думает Анаит. Да вот только это почти никогда ничего не значит. Но, вероятно, она и не может просить от них большего. Анаит понимает, что ею воспользовались, но ее это не очень оскорбляет. Воспользоваться ею было разумно, а она не любит тех, кто не уважает разумных решений.

— Я уверена, что богине доставит радость наш священный праздник, — говорит она задумчиво.

Пенелопа кивает и улыбается.

— Мы делаем, что можем, чтобы почтить богов.



Сквозь ночные облака я смотрю с небес и, кажется, вижу...

Да, глядите, вот она.

Афина как полнейшая дура сидит совой на почерневшей ветке старого высохшего дерева и ухает. «Ух», чтоб ее, «ух», кричит она, черные зрачки отражают тьму — можно подумать, я ее не увижу, можно подумать, ей хоть раз удавалось обмануть меня своими жалкими играми в прятки.

«Ух», чтоб ее, «ух», ну пускай себе ухает пока — все-таки, как это ни противно, Итака принадлежит скорее ей, чем мне, а в драку нужно ввязываться только тогда, когда уверен, что победишь.

«Ух-ух», кричит она и — стойте. Посмотрим снова. Под бегущими облаками я чуть не пропустила это, но она сегодня не только ловит мышей.

Афина вызывает к полуночному туману, что поднимается над волнующимся морем, и туман отвечает ей.

Он вползает в сны старого Эвпейта, отца унылого Антиноя, который хочет видеть сына царем западных островов, и теперь ему снится, как он стоит, голый и опозоренный, а Полибий, Египтий и толпа стариков тыкают в него пальцами и кидают свиным навозом. Как до такого дошло, думает он, извиваясь от стыда, пытаясь спрятать свое иссохшее тело от их злобы, что старцы, которые то вместе служили Лаэрту, то вместе сражались и были друзьями, стали врагами?

Афина взывает к полуночному туману, и по ее приказу он всплывает в ноздри Амфинома, когда-то воина, а нынче всего лишь жениха вдовы, и ему снятся копья, и кровь, и танец смерти, и он падает, падает, падает под ударом меча златокудрого героя, лица которого не видит, и восстает, и падает, падает, падает снова.

Афина взывает к полуночному туману, и он дотрагивается до женихов, превращая их сны в кошмары о крови, об ужасе и о давно готовящемся возмездии. Дотрагивается до спящего Ореста, но этого прикосновения недостаточно, чтобы проломить оковы боли, сковавшие его сны, — Афине понадобился бы таран, чтобы выбить из его окровавленного разума лицо его матери.

И ее туман дотрагивается до старого воина Пейсенора, к которому у нее слабость, и только в эту ночь он верит, что его ополчение из взъерошенных мальчишек может победить. И до Кенамона из Мемфиса, который не знает, как понимать это вторжение в его сон, учитывая, что раньше греческие богини никогда не ниспосылали ему видений.

Ее туман не дотрагивается ни до царицы, ни до рабынь.

«Ух-ух», кричит сова, «ух-ух», и моей падчерице не приходит в голову, что с женщинами Итаки тоже стоило бы немножко считаться.

Я могла бы засмеяться, плюнуть ей в лицо, зажать ей клюв пальцами и орать в желтые мигающие глаза: «Ух-ух, пропади ты пропадом!» Может, потом. Не сейчас.

Потом, в последний миг, я замечаю еще один сон, который она послала, он крошечный и черный как уголь. Он не плывет туманом, его приносит укус тонкокрылого насекомого, которое вывелось в луже стоячей воды под окном Телемаха. Оно пробирается под его одеяло, пронзительно пища, нюхая теплое дыхание, а потом наконец находит бьющуюся вену на шее и втыкает хоботок в сладкую алую лаву его крови.

И пока оно пирует, он видит сон и вскрикивает во сне, и я не знаю, что за сон она послала, не могу его разглядеть. Я могла бы сойти с Олимпа, снять комара с его горла, раздавить его и рассмотреть видение, которое вселила в него Афина, но она узнает об этом, увидит, и, конечно же, побежит к моему мужу и скажет: «Могучий отец, а ты знаешь, что твоя жена копается в разуме смертных?»

И мой муж скажет: «Гера? Ну нет, это недопустимо!» — и не пройдет и дня, как он меня вызовет и скажет, что я должна устроить какой-нибудь пир или создать какое-либо пророчество либо что-то в том же роде, какую-нибудь невыносимую глупость, чтобы только не пускать меня в мир людей, а он будет поглядывать на меня искоса и спрашивать себя, не была ли я — я! — неверна ему.

Именно так все будет, как и много раз до того. В конце концов, я богиня жен, а долг жены — сидеть дома.

Так что я даю Афине послать сон сыну Одиссея и не знаю, что он видит во сне — только то, что он просыпается в поту, хватая ртом воздух, и сегодня мое незнание пугает меня.

И луна прячет свой свет за облаками, но мы, способные разделить небо мановением руки, видим, что она растет.

А потом...

В день перед полнолунием, в пасмурный день, когда по бескрайнему небу над непостоянными водами

Посейдона несутся облака, в зал втаскивают какого-то морехода и кидают к ногам советника Эгиптия.

Эгиптий выслушивает его историю, потом вызывает Пейсенора и Медона. Пейсенор и Медон выслушивают его историю и посылают за Пенелопой. К тому времени, когда историю выслушала Пенелопа, три раза повторенные слова уже пропитаны скукой, а яркие подробности, украшавшие первый пересказ, так же как уклончивость, и попытки оправдаться, и даже предположения, растворились в простом утверждении действительности: когда, где, как — и ничего больше.

Эгиптий говорит:

— Надо рассказать царю Оресту! — И все соглашаются, что это хорошая идея.

Вызывают Ореста, и приходит Электра, а за ней — отставая на несколько шагов, ее брат и верные воины.

— Что случилось? — резко спрашивает она, обращаясь ко все увеличивающемуся собранию добрых мужей, могучих мужей и просто любопытных мужей. — Что за шум?

Пенелопа смотрит на нее из-за стены своих ученых советников, которые хотят говорить за нее, и думает, что как бы ни возмущалась Клитемнестра, но в дочери очень много от матери. А как может быть иначе, если ее отца так долго не было дома?

— Это купец с Коркиры, — громко докладывает Пейсенор, который любит включаться в происходящее, когда в помещении наличествуют царственные особы, даже если это еще не до конца воцарившиеся царственные особы. — Он торгует янтарем, путешествует от северных гаваней до Нила. Покажи его высочеству то, что показал нам!

Моряк, которого зовут Ориген и который совсем не заслужил таких проблем, разжимает кулак и показывает то, из-за чего поднялся такой шум. Это предмет из золота, тяжелый, он удобно лежит на его выдубленной солнцем

ладони. Электра наклоняется и берет предмет, поворачивает туда-сюда. Слепящий свет, проникающий через окна зала, похож на густой мед, он рисует четкие полосы и горячие копья в недвижимом воздухе. Она взвешивает перстень в руке, оглядывает его со всех сторон — брату даже не показывает.

— Это перстень моей матери, — говорит она наконец, и все несколько преувеличенно охают и ахают. Пенелопа немножко опаздывает с этим, поскольку она предполагала, что по поднявшейся суете все и так поняли, что это перстень матери Электры, но все равно получается хорошо.

— Как он к тебе попал? — рывкает Электра, обращаясь к сжавшемуся от страха мореплавателю, и снова, хоть Пенелопа не скажет этого вслух, она видит Клитемнестру в том, как сверкают глаза Электры и как она поднимает подбородок. Однако у кого еще ей было учиться быть царницей?

— На Гирию прибыла женщина, — отвечает он. Изначально, рассказывая это, он говорил униженно и просительно, балаболил и приукрашал, но теперь излагает спокойнее, ведь он уже столько раз рассказывал это и все еще цел. — Она хотела плыть на север. Она села на корабль купца по имени Сострат, который меньше двух месяцев назад покупал у меня лес. Она заплатила ему этим перстнем, а он отдал его мне в уплату долга. Но когда я попытался обменять его на какие-нибудь товары, с которыми мог бы отправиться на юг, меня потащили к правителю города, а тот — к микенцу, который поклялся, что это перстень предательницы, царицы Клитемнестры. Потом они послали за воинами, которые и доставили меня сюда, и вот я здесь. Готовый служить и чтить вас, — добавляет он поспешно, поскольку теперь в помещении царские особы. — Верно служить.

Пенелопа слушает с таким же любопытством, как и все остальные. Она ведь эту историю раньше не слышала и, слушая, гадает, что именно здесь устроила Урания. Конечно, женщина, которая отдала перстень Сострату, — какая-нибудь родственница Урании, но теперь ее уже не найдешь, ее отвезли тайком в безопасное место, где она и останется на долгие месяцы. Еще кто? Может, и сам Сострат тоже подчиняется Урании, а может, просто оказался удачно разыгранной фигурой, просто орудием, чтобы доставить перстень к Оригену, а Оригена — к двору Пенелопы?

(На самом деле — второе. Сострат не знает, что его использовали, а Ориген никогда не поймет, как предсказуемо его поведение и как легко было направить его в нужную сторону. Единственная опасность состояла в том, что страж на пристани не сразу опознал бы перстень в руке Оригена, так что старой мастерице тайных дел пришлось подослать к нему девчонку, которая шепнула ему на ухо, что видела такой в Микенах. Эту девчонку теперь никто не вспомнит.)

Электра сжимает перстень в кулаке так сильно, что кажется, вот-вот пойдет кровь, костяшки ее побелели, рука трясется.

— Гирия ведь — часть твоего царства, верно? — напускается она на Пенелопу. — Почему из нее все еще отходят корабли?

Пенелопа открывает рот, чтобы ответить — точнее, чтобы попросить прощения, чтобы повернуться и сказать: «Советники мои, как могла произойти столь ужасная вещь?» — но тут вступает Медон.

— Гонец, посланный на север, задержался из-за противного ветра. Он только что вернется к нам.

Это... отчасти правда. Новости вместе с гонцом сначала отправились на юг, в гавани Закинфа, и там гонца

задержали как противный ветер, так и прекрасное вино, поскольку ему, вероятно, не объяснили, насколько срочны вести, которые он вез. Такие сбои прискорбны, но, увы, без них трудно представить жизнь в островном царстве.

Электра хмурится, фыркает, как львица, ходящая кругами там, где на земле осталась засохшая кровь.

— Куда отправилась эта женщина?

— Я не знаю, — признается Ориген, втягивая голову в плечи, как испуганная птица. — Сострат торгует с бледными северными варварами. Но он уплыл неделю назад; я понятия не имел, что этот перстень такой важный!

— Мы можем снарядить корабли, — предлагает микенец Пилад без особой надежды. — Может быть, если отплыть с вечерним отливом?..

— Мы поговорим об этом наедине, — резко отвечает Электра, а потом, видимо, поняв, что слишком уж раскомандовалась, добавляет: — Мой брат вскоре даст приказание.

Она отворачивается, кивнув — не очень вежливо, учитывая, что дворец вообще-то не ее, — и широким шагом отправляется в свои покои, все еще сжимая в руке перстень. Орест идет за ней, и его костяшки тоже обесцветились, только он сжимает меч на поясе.

— Как удобно, — задумчиво говорит Медон на ухо Пенелопе, а толпа, оставшись без развлечения, расходится.

— Что ты такое говоришь? Это ужасно и неприятно, что же тут удобного.

— Да, неприятно, но мы ведь не виноваты. Если бы только гонец отправился сначала на Гирию, а не на Закинф, тогда твоя сестра не успела бы сбежать.

— Это всего лишь предположение, и такое, от которого никому не легче.

Слышится топот, и появляется Телемах, как всегда опоздавший к самому интересному.

— Что произошло? — спрашивает он, не зная, обратиться ли этот вопрос Медону, Египтию или даже, кто бы мог подумать, своей матери, и в итоге обращается к точке между плечом Медона и носом Пенелопы.

— Клитемнестра сбежала, — бурчит Пейсенор.

— Есть подозрение, что Клитемнестра сбежала, — уточняет Медон, сложив руки на круглом животе.

— Безобразие! — рывкает Египтий. — Нам придется умиловить Ореста!

— Женщину, похожую на мою сестру, видели в гавани, она договаривалась с купцом, плывущим на дальний север, — вздыхает Пенелопа. — Она заплатила ему перстнем, а именно такой был у сбежавшей царицы.

— Помилуй нас Зевс, — потные красные щеки Телемаха бледнеют. — Мы не справились с задачей?

— Можно и так сказать, — задумчиво отвечает Медон. Мальчик выпрямляется.

— Я пойду к Оресту. Извиниться лично. Это мое царство, и я должен взять ответственность на себя.

Брови Пенелопы изгибаются так, что из них впору делать мост над морем, разделяющим запад и восток, но она ничего не говорит.

— Он... рассердился?

— Кто знает, что думает Орест. — Медон изо всех сил изучает потолок, как будто только что заметил паутину в углу. — Но его сестра была совсем не рада.

— Я пойду к ним. — Телемах, конечно, произносит это очень царственно, выпрямляясь. — Хоть как-то исправить ущерб, нанесенный этим бездарным ведением дел!

Шагает он хорошо, тут ничего не скажешь. До самой двери Электры он добирается, ни разу не споткнувшись и не расквасив нос. Старики и женщины смотрят, как он уходит, и наконец Медон поворачивается к Пенелопе и бормочет:

— Мне предпринять что-нибудь?

— Нет, — вздыхает она. — Хуже он не сделает, а Электре, может быть, понравится слушать униженные извинения от кого-нибудь помоложе. У меня же болит голова, и я пойду к себе в покои, дабы... — Она ищет слова, помахивает пальцами в воздухе, как маленький ткач на потолке.

— Подумать о своих женских горестях? — предлагает Медон. — Полежать, преисполняясь молчаливой боли и траурного страдания?

— Да. Именно. Спасибо.

Она поворачивается, чтобы уйти, но тут Медон наклоняется к ней.

— Завтра полнолуние.

— Я знаю.

— Ты должна поговорить с сыном.

— Да? — Прилив паники, миг непонимания. Что еще она упустила? Чего еще она не видит, что еще попало в то слепое пятно, которые составляет ее сын?

— Пейсенор собирается стоять дозором на скалах со своим ополчением. Если разбойники нападут снова...

— А, понятно.

— Ему очень не повезет, если он встретится с врагом. Но именно это он намерен сделать.

— Что... как ты думаешь, что мне ему сказать? — Всего на мгновение возвращается та девочка, которую знал Медон, проглядывает сквозь лицо царицы. В ее голосе нет насмешки, нет колкости; она не смотрит ему в глаза.

— Скажи, что ты им гордишься, например. Что он очень храбрый.

— А я горжусь? Ты... ты бы сказал именно это?

Медон гладит себя по животу, словно это поклон.

— Ты ведь его мать. Наверняка что-нибудь придумаешь.



Электра говорит:

— Мой брат немедленно отправится на двух кораблях на Гирию и будет спрашивать там о нашей матери. Я останусь на Итаке.

— Конечно, оставайся так долго, как хочешь. Мы готовы служить чем можем. Я отправлю припасы на корабли твоего брата и...

— Боги с нами, — резко отвечает Электра. — Он ее найдет.

А если не найдет, то Менелай в Спарте потирает руки и думает: «Ням-ням, гляди-ка, в Микенах нет царя, какая трагедия, надо же, какая неприятность приключилась с землями, принадлежавшими моему брату, ням-ням-ням».

— Для нас честь служить царю, — говорит Пенелопа и на миг почти забывает, что она взрослая женщина

и царица и ей не по чину кланяться Электре и молчаливому мальчику рядом с нею.

Вечером она посылает Эос на хутор Семелы.

Сама она остается во дворце, ткет саван Лаэрта. Женихи рядами сидят в зале. Взгляды Электры обжигают их, как удары кнута, и они не орут, не поют пьяных песен и с удивлением понимают, что этой обсыпанной пеплом девочки они боятся больше, чем ее уехавшего брата.

Как только Эос переступает порог хутора Семелы, Клитемнестра встает и резко спрашивает:

— Где Пенелопа? Где мой сын?

— Царица во дворце, развлекает твою дочь, — негромко отвечает Эос, сложив руки перед собой. Клитемнестра фыркает: развлечь Электру мало кому удастся, а если и удастся, то редко так, как он намеревался. — Твой сын отплыл на север, до него дошли вести, что тебя видели на Гирии.

— В самом деле? Он поверил?

— Ему показали твой перстень. Перстень, который ты отдала Гилласу.

У Клитемнестры великолепные брови, прекрасно подходящие для того, чтобы выгибаться.

— А наша утка не такая уж и дурочка. Так когда я отплываю?

— За пристанью все еще следят микенцы. Теперь их меньше, часть отправилась с Орестом, но воин Пилад остался с Электрой.

— Почему? Почему она осталась?

Эос сжимает губы на маленьком напряженном лице: ответа у нее нет. Это волнует ее, но если царица не говорит об этом, то и она не станет. К счастью, Клитемнестра тут же отвлекается на другое, и ни одна не успевает поразмыслить над вопросом.

— Электра не может следить за всем островом. Любому известно, что ваш островок — прибежище для контрабандистов и разных преступников.

— Завтра полнолуние. Завтра никто не поплывет.

— Почему? Разве это не самое подходящее время?

— В полнолуние приходят морские разбойники.

Клитемнестра наклоняется вперед с внезапным любопытством, глядя на мраморную стену немигающего лица Эос.

— Разбойники? Это вот те ваши якобы иллирийцы?

— Они нападают в полнолуние.

— А, ну конечно. Но они должны были уже прислать гонца с выгодным предложением. Пенелопе нужно откупиться от них. Почему она не откупилась?

Эос молчит. Эос давно научилась молчать.

— А может, цена слишком высока? — шепотом спрашивает Клитемнестра. — Может, ценой они ставят все царство, а? Кто-то из женихов бедокурит? Может, какой-нибудь статный, сильный мужчина подошел к Пенелопе и сказал: «Выходи за меня, и я обещаю, что все неприятности закончатся»? Так и было, да? Какая прелесть. Знаешь, если бы я была царицей Итаки, я бы отвела его к себе в спальню, пообещала бы ему исполнить все его желания, а потом воткнула бы ему нож в глаз и выкинула тело в море. Трагический несчастный случай, сказали бы все. Я бы заплатила поэтам, чтобы они так сказали.

Эос кивает, думая об этом, разыгрывая сцену перед внутренним взором, а потом спрашивает:

— И насколько успешно это получилось у тебя?

Клитемнестра заносит руку, чтобы ударить служанку так, чтобы та полетела кубарем через всю комнату, но Семела перехватывает ее кулак до того, как она успевает нанести удар, и медленно качает головой. Потом отпускает

и роняет ее запястье, и Клитемнестра падает вместе с рукой, снова сваливаясь в кресло.

— Скоро, — говорит Эос. — Когда луна будет не такой яркой.

Она еще мгновение смотрит на упавшую царицу, потом разворачивается и уходит.

STONE HEDGE



Заря над Итакой. Последняя заря перед ночью, что будет озарена толстой и полной луной.

В небе нет облаков, и это обидно, потому что ничто не прикроет света полной луны — дара богов, помогающего мореходам. На холме за хутором Эвмея Телемах делает шаг назад, уходя от взмаха меча Кенамона, но египтянин продолжает наступать.

— Если ты отступаешь, я буду наступать! — гаркает он. — Я буду наступать до тех пор, пока отступать тебе станет некуда! Отступай только тогда, когда готовишь ловушку, двигайся!

После, уставшие и потные, Кенамон и Телемах сидят на берегу ручья, выше по течению от того места, где в чистую воду суют мокрые пятаки свиньи Эвмея, и египтянин стаскивает хитон, плещет себе водой в лицо и в подмышки, опускает ноги в воду и вздыхает; Телемах не уверен,

что его тощая тушка будет хорошо смотреться рядом с крепким телом взрослого мужчины, но, поколебавшись мгновение, тоже разоблачается, и вот они сидят рядом. Наконец Кенамон говорит:

— Сегодня полнолуние.

Телемах кивает, но не отвечает.

— Боишься?

Телемах качает головой и, к своему изумлению, чувствует легкий тычок в плечо.

— Не дури, парень! Конечно, боишься. Ты думаешь, твой отец не боялся каждый раз, когда шел в бой? Тот, кто боится, увидит копье, летящее ему в глаз. Тот, кто боится, выберет верное место и время для удара. Все вот это... — Кенамон обводит широким жестом раскиданное кругом оружие, — не для того, чтобы научить тебя, как пользоваться мечом или щитом. А для того, чтобы научить тебя сосредоточиваться, двигаться тогда, когда ты слишком испуган, чтобы думать.

В лесной чаще над храмом Артемиды Теодора упражняется с луком. Она натягивает тетиву и — пиу, пиу, пиу! — пока наконец Приена не подходит к ней и не говорит:

— Хватит мучить дерево.

Теодора снова натягивает лук, выдыхает, отпускает стрелу. Приена смотрит и ничего не говорит. У Приены нет дома, который она могла бы защищать. Ее домом был ее народ, а ее народ уничтожен. Она не знает, нравятся ли ей женщины, которых она учит; она знает, что ей никогда не понравится царица, которой она служит. Но она помнит, что такое дом, и видит отблеск этого в глазах Теодоры, и на мгновение ей чудится особая красота, и все это очень сильно сбивает ее с толку.

Кенамон говорит:

— Поосторожнее в бою, парень, — а Телемах встает, бренча бронзой.

Телемах кивает, а египтянин смотрит ему вслед, пока тот не скрывается с глаз.

Закат, золотое зеркало на море, кровавая кайма на западном небе.

Пейсенор сидит вместе с другими начальниками ополчения: Эгиптием, Полибием, Эвпейтом.

— Когда они появятся... — начитает Пейсенор.

— Если вообще появятся! — вставляет Эвпейт.

— ...нам надо будет сосредоточить силы.

— Ну тогда гавань, конечно! — восклицает Полибий, и одновременно с ним Эвпейт говорит так, будто иное было бы несусветной глупостью:

— Ну конечно, зерно.

Мгновение они мрачно смотрят друг на друга. Эгиптий прокашливается и добавляет:

— На севере незащищенные деревни...

— Без гавани Итака умрет с голоду, — заявляет Полибий, подчеркивая каждое слово тычком пальца в воздух.

— Без зерна Итака тоже умрет с голоду! — возражает Эвпейт.

— На пристани есть своя стража, а амбары в глубине острова... — начинает несмело Эгиптий. Кажется, я поняла, почему Одиссей не взял этого советника с собой на войну.

— Мы не можем рисковать, — рявкает Полибий. — Мы должны защитить самое ценное, что есть на Итаке, а это гавань!

— Даже для иллирийцев обе эти цели не очень...

— Если вы хотите, чтобы сражались мои воины, то будете защищать житницы.

Пейсенору еле удастся сдержать вздох. Конечно, эти слова не могли не прозвучать, это было ясно с самого первого дня, с того мига, как он начал договариваться со старцами Итаки. Тогда он не знал, как с ними обращаться,

и, к своему стыду, он до сих пор не знает, что им сказать. Наконец Эгиптий говорит:

— Может быть, стоит подойти к этому... тактически. — Эгиптий ни разу не воевал. — Мы поставим дозоры на самой северной и самой южной точках, дадим им быстрых коней и факелы. Если они увидят корабли, то поскачут и сообщат ополчению. Его мы разместим как в гавани, так и у житниц, и в других местах на острове, и по знаку от дозорных ополчение соберется и защитит то место, куда будут направляться корабли.

Мудрецы Итаки обдумывают это. Пейсенор — нет.

Он уже знает, что учил мальчиков для того, чтобы они погибли, и больше ни для чего. Он уже много недель это знает и все же не знает, потому что его разрывает пополам: он мудрец, видящий истинное положение вещей, и он воин, боящийся старости, однажды видевший смерть на поле боя, но не посмотревший ей в глаза. Где же ты, Афина? Где твоя воинская мудрость? Пусть воссияет над этим сломленным человеком, пусть укроет его твоей благодатью. Но тебе, если честно, никогда не нравились сломленные.

Военачальник, который ценит свои войска, хочет сказать: «Так не годится. Даже если они смогут собраться, это слишком долго. Будет недостаточно...» — но слова превращаются во вздох.

— Я хочу, чтобы в гавани было не меньше двадцати человек! — рывкает Полибий.

— А я хочу, чтобы было двадцать человек у житниц, — тут же говорит Эвпейт.

— Оставшихся не хватит, чтобы защитить весь остальной остров... — начинает Эгиптий.

— Но, как ты и сказал, когда мы получим вести от дозорных, наши воины присоединятся к остальным, — говорит Эвпейт. — Они вместе встретят иллирийцев и прогонят их.

Эгиптий кидает взгляд на Пейсенора, ждет, чтобы тот сказал что-нибудь, хоть что-то, способное изменить происходящее. Пейсенор не говорит ничего. Он опустил голову, закусил губы, остальные молча ждут, и наконец он произносит:

— Я не вижу другого способа, — и он действительно его не видит.

Закат переходит в ночь, и ополчение выдвигается.

Оно выглядит довольно красиво: у них копья и щиты, пестрый набор доспехов разных видов, нацепленных на худенькие ноги и цыплячьи грудки. Впереди Телемах, ведет всех, он очень старается, его подбадривают одобрительными криками. И Эвпейт, и Полибий хотели возразить против этого, их подзуживали возмущенные сыновья-женихи — в конце концов, ведь это не армия Телемаха, а ополчение итакийцев, а он просто итакиец, такой же, как все.

Но потом им приходит в голову, что, вероятно, они наблюдают за тем, как сын Одиссея уходит на смерть, и даже если это не так, то он отправляется защищать их собственность, которую, если повезет, смогут унаследовать их дети. Посети это открытие кого-нибудь другого, он сильно присмирел бы; но их кровь отравлена жадной власти, и они просто дергают себя за бороды и не смотрят никому в глаза, а мальчики уходят.

Амфином шагает в нескольких шагах позади Телемаха, рядом с ним четыре воина. Он необычно молчалив и, пока не закончено дело, отказывается обсуждать вопросы важнее, чем куда сегодня дует ветер или как лучше всего будет приготовить кролика. Он единственный из женихов, кто вступил в ополчение. «Нет смысла быть царем острова, если ты не готов за него сражаться», — заявляет он, и он, конечно же, прав, что очень всех раздражает.

Кенамон стоит сбоку от собравшихся людей, провожает Телемаха, улыбается ему, когда тот проходит мимо, и сосредоточенный мальчик, сам не зная почему, улыбается ему в ответ.

Пенелопа не машет рукой сыну. А он притворяется, что не ищет ее глазами в толпе.

Позже она скажет, что просто не хотела отвлекать его. На самом деле хоть она и собиралась идти его провожать, но оказалась занята другими делами и пропустила барабанный бой и сбор ополчения, думая, что у нее просто шумит в ушах. По крайней мере, именно в этом она убеждает сама себя.

Пойдемте со мной, пока луна восходит над Итакой.

Давайте, оседлав ее луч, проникнем в залы дворца, где Андромен сидит вместе с Антиноем и Эвримахом, и смеется, и говорит: «По-твоему, это история? Вот я тебе сейчас расскажу историю». Иногда, очень редко, глаза Андромена устремляются туда, где Пенелопа сидит и ткет свой саван, и в его взгляде есть то, что как будто говорит: «Как только тебе надоест, моя дорогая, дай мне знать, в любое время».

Она не встречается с ним взглядом, но это не значит, что его послание остается неслышанным.

Леанира приносит на стол еду, виноградные листья и рыбную похлебку, багровое вино, которое красит губы в пурпурный цвет. Она ставит блюдо перед Андроменом, а он не смотрит на нее, не говорит «спасибо», и она не говорит ему ни слова.

Электра сидит и не ест.

— Орест скоро вернется, — говорит она, — с головой нашей матери.

Рядом с ней сидит Пилад и изо всех сил старается не похлопывать ее по коленке каждый раз, когда она, выпятив челюсть, заявляет что-нибудь в таком роде.



В храме Артемиды собираются женщины. Мужчин здесь нет, а потому слышен страннейший звук — голоса женщин, громкие, но поющие не похоронную песню. Некоторые поют о лесе и об оленях, танцуют вокруг костров, разложенных жрицами, и слышат полную надежды молитву в стук барабанов. Другие — те, кто встречался втайне по ночам под сенью леса, — веселятся более осмотрительно. Самая старая женщина здесь — тетя Семелы, которую вытащили против ее воли из хибарки на северном побережье, и теперь она бурчит: «И это вы называете праздником?» — хоть еда ей и нравится.

Самая маленькая гостья — девочка трех лет, отцом которой был мужчина из Элиды: он клялся, что останется, а сам уплыл. Она не имеет представления о морских разбойниках и гневных морях, не понимает, что такое рабство, и так объедается медом из ульев Пенелопы, что ее тошнит.

Некоторые женщины — из отряда Приены — принесли с собой небольшие ножи или земледельческие орудия. «А, это? Я и забыла, что он у меня в руках», — говорят они. Конечно, они еще не готовы к сражению, но если иллирийцы осмелятся сунуться сюда, на эту священную землю, то, по крайней мере, они не погибнут неподготовленными.

Приена смотрит на них с опушки леса, через некоторое время к ней подходит Теодора с луком в руке, и вместе они молча наблюдают, как восходит луна.



ГЛАВА 30

В комнатке наверху открывается дверь. Молча впархивают три фигуры, прикрыв ладонями крошечные огоньки, ведущие их через мрак спящего дворца. Они украдкой стучат в тяжелую дверь, потом спускаются в подвал под землей. Другая дверь, она охраняется, тук-тук-тук, открывается тяжелая защелка, поднимается деревянный засов. Они входят в помещение, где пахнет влажной землей и известью. На крюках висят шкуры, на полу лежит несколько слитков олова, один слиток латуни. Стоят две серебряные чаши — свадебный подарок: может, от Икария дочери, а может, от Лаэрта сыну. Пахнет сушеной рыбой, стоит мешок драгоценной соли. Но в основном там пустой пол, на котором остались отметины в тех местах, где когда-то, вероятно, стояли сундуки с блестящим золотом или краденой бронзой,

лежали бревна добытой разбоем дорогой древесины или сосуды со сладкими южными благовониями. Посреди этой пустоты стоит Пенелопа, рядом с ней — Эос, между ними — лампада.

Трое входят в подземелье, останавливаются в тени, потом один делает шаг вперед, поднимает свой светильник, чтобы осмотреть помещение.

— Андремон, — произносит Пенелопа.

— Царица, — отвечает он.

— Я надеюсь, ты простишь меня за то, что наша встреча происходит в столь поздний час и в таком странном месте. Уверена: ты понимаешь, по какой причине я предпочитаю оставить наш разговор в тайне от других женихов и почему было бы несообразно с приличиями вести его в моих покоях.

Он быстро кивает, глядит на женщин позади себя. Леанира хочет уйти, но Пенелопа поднимает руку и немного повышает голос.

— Я хотела бы, чтобы Леанира и Автоноя остались. Моя встреча наедине с мужчиной, который мне не муж и не сын, сама по себе неприемлема. К тому же, если я правильно понимаю, Леанире тоже небезразлично, каков будет исход нашего разговора, верно? Она очень просила, чтобы я поговорила с тобой.

Андремон бросает взгляд на троянку, она отворачивается, ее лицо укрывает тень.

— Я... пытался добиться разговора наедине, да, — говорит он. — Но ты ускользала, моя царица. Боюсь, что ты слишком поздно решила встретиться со мной.

— Прошу прощения. Ты ведь знаешь, я не могу выказывать своего расположения одному жениху, чтобы не обидеть остальных.

— Можно сказать, что ты обижаешь всех нас своим отношением.

— Я сожалею, что ты так считаешь. И все же лучше мне обидеть всех сразу, чем только одного, верно? Так справедливее.

Он хмурится, рассматривая в неярком свете небогатое содержимое подвала, замечает серебро, когда свет падает на свадебные чаши.

— Моя сокровищница, — просто объясняет Пенелопа. — Как видишь, в последнее время нам не очень везет.

— Перестань. — Он хмурится. — Все знают, что царица Итаки прячет золото в какой-то тайной пещере. Твой муж — потомок Гермеса, твой свекор плавал на «Арго», а в браке был благословлен дарами от самого бога-обманщика.

— Дары от обманщика? Вряд ли на них можно построить крепкое государственное хозяйство.

К ее удивлению, Андремон ухмыляется.

— Да уж это вряд ли. Но и твой муж, и его отец до войны были известными ворами и разбойниками. Через твои гавани проходят олово и янтарь, так что не пытайся меня убедить, что в пещерах Итаки нет золота.

— А чем, как ты считаешь, мы платили за войну? — вздыхает она. — Думаешь, все то время, пока мой муж сидел на приморском песочке под Троей, воины Греции просто с земли поднимали все, что им было нужно? Каждые десять месяцев на Итаку являлись гонцы и требовали, чтобы я выслала еще, еще, еще: оружие — чтобы заменить их сломанные копья; дерево — чтобы чинить их колесницы; шерсть и пеньку для их шатров, парусов, плащей и саванов; золото для переменчивых союзников Агамемнона и, конечно же, больше воинов. Каждого мальчика, который уже мог дергать за снасти или удержать на голове шлем, я отправляла под Трою, и ни один не вернулся. Так скажи, пожалуйста, скажи: как мне наполнить свою

сокровищницу на острове, населенном женщинами и ко-
зами?

Андремон шагает туда-сюда под низким потолком, влево-вправо, рассматривает лицо Пенелопы, вглядывается в темные углы.

— Ты умная женщина, — говорит он наконец, — удачно торгуешь.

— Ах да, торговля. Ты прав: западные острова расположены достаточно удачно, тут много кораблей и удобно вести торг. Но даже если я могла бы получить с этого большие доходы — а по правде, я получаю достаточно лишь для того, чтобы поддерживать собственное хозяйство в том небогатом виде, в котором ты видишь его сейчас, — вы, женихи, выдоили меня досуха. Намеренно, конечно. Чем больше вы едите, чем больше вы пьете, чем больше вы стараетесь нарушить все священные правила, которые стоят между гостем и хозяином, тем отчаяннее я становлюсь. А приведенная в отчаяние женщина с пустой казной, конечно же, в один прекрасный день сдастся. Выберет себе мужа, чтобы прекратить это медленное обескровливание. Я вижу ваш замысел и признаю, что он вполне разумен. Я не могу навлечь позор на свой дом, отказавшись кормить вас, и, что еще важнее, попытаться править сама, прогнать отсюда всех женихов, особенно теперь, когда моя сестра Клитемнестра доказала, как губельна будет такая попытка. На Итаке должен быть царь. Но кто? Эвримах? Амфином? Ты?

— Я был бы хорошим царем. — Что слышится в словах Андремона? Обещание? Угроза? Правда? Вероятно, и то, и другое, и третье, в зависимости от того, как слушать.

— Может быть, — вздыхает Пенелопа. — Но ты хочешь убить моего сына.

— Нет.

— Перестань. Мы ведь говорим честно, в темноте, как хотела Леанира.

Леанира смотрит в пол, лицо у нее горит, как лампада в ее руке.

Андремон колеблется, потом на его губах медленно расцветает улыбка.

— Ну хорошо. Да, было бы проще убить его. Но если ты сегодня пообещаешь мне, то я отправлю его в изгнание. Отошлю к Нестору или к Менелаю — пусть учится, получит благоприятную возможность проявить себя. Я не наврежу ему.

— Не навредишь? — задумчиво говорит она. — Как думаешь, сколько времени ему понадобится, чтобы собрать войско, вернуться и начать воевать с тобой? Год? Может, два?

— Это будет его решение. Не мое.

— Давай не будем притворяться, что он примет какое-то другое решение. Нет, ты изгонишь его, а он вернется и попытается тебя победить. И тогда, если ты, защищаясь, убьешь его, я все равно потеряю сына. А если он нападет на тебя и убьет, то после этого с большой долей вероятности обратит свой меч против меня за то, что я, предав его отца, посмела возлечь с другим мужчиной, и тогда моя жизнь не будет стоить ломаной драхмы. Пример Клитемнестры в этом смысле очень показателен. Как ни крути, изгнание — это всего лишь отложенная смерть. Антиной, конечно, просто подойдет к моему мальчику убийц. Я не ставлю тебе это в укор. Я просто говорю, что некоторые поступили бы именно так.

— Некоторые, может быть, и поступили бы, — отрезает он. — Но я воин, а не какой-то лживый сын землепашца.

— Ах да, воин. Сильный, способный защитить меня, когда грянет война.

— Я защитил бы тебя, — говорит он. — Не только потому, что ты царица. Я защитил бы женщину.

— Спасибо, я рада это слышать.

Она замолкает, и молчание это странно для Андремона. Он не привык ждать, пока кто-то выскажет свое мнение, тем более если это женщина, от ответа которой зависит его судьба. Наконец он резко произносит:

— Ну, мы договорились?

— Что будет с Леанирой, если ты станешь царем? — спрашивает Пенелопа.

Леанира вздергивает голову, сузив глаза. Андремон удивленно смотрит на нее, как будто забыл, что она вообще здесь стоит.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты оставишь ее своей наложницей?

Он открывает рот, чтобы возмутиться, начать отнекиваться, но ничего не говорит. Пенелопа улыбается.

— Если бы я сказала, что выйду за тебя замуж, но ценой тому Леанира, ты бы заплатил эту цену? Я не к тому говорю, будто ожидаю, что ты будешь мне верен. Несомненно, с течением лет — если мы оба останемся живы, конечно, — ты захочешь ублажать себя с более юными и сочными. Но не с ней.

Андремон снова бросает взгляд на служанку, ее глаза горят, как яркие угли, они устремлены уже не в пол, а на лицо Пенелопы.

— Что ты предлагаешь?

— Продай ее. Мне все равно куда. Мне нет дела, с кем спят мои служанки, мне нужно, лишь чтобы они были верны мне. Троянка верна тебе, а не мне, и поэтому я в ней больше не нуждаюсь.

— А если я откажусь?

— Тогда ты никогда не возляжешь со мною на брачное ложе, — просто отвечает Пенелопа. — Амфином тоже

хорошо умеет управляться с копьем и может собрать воинов. Он вряд ли сможет победить тебя в честном поединке, но я устрою, чтобы честного поединка между вами не вышло. Ну же, будь разумен, это сходная цена за Итаку. Откажись от служанки, отошли ее на какой-нибудь хутор, и ты царь.

— Я сделаю ее свободной.

— Нет, — отвечает Пенелопа, рассматривая ногти так, будто внезапно увидела на них какое-то пятнышко, — не сделаешь.

— Я поклялся, что освобожу ее.

— Тогда придется нарушить эту клятву. Я уверена, что это будет несложно. Она всего лишь рабыня.

Тут Андремон начинает ходить туда-сюда. Несколько шагов налево. Несколько шагов направо. Зевс тоже раньше так вышагивал, размышляя о великих и важных делах. Ему казалось, что само это действие — двигаться, ходить — заставляет его казаться умнее, чем если бы он просто стоял, приоткрыв рот, подняв глаза и задумавшись. Вождь должен выглядеть так, будто его мысль — живая, сильная вещь, которая наполняет все его тело, всю его мощь. Многие тратят больше энергии на то, чтобы изобразить мыслительную деятельность, чем на мышление как таковое.

Чего у Афины не отнимешь — она не боится просто думать стоя.

Андремон приходит к решению, оно драматичное, и он выпячивает подбородок, раздувает грудь и не смотрит Леанире в глаза.

— Хорошо, — говорит он. — Ради Итаки. Ради царства. Договорились.

Леанира не ахает, не сгибается пополам от боли. Разбитая надежда вбивается осколками, но она этого ждала. Просто снова началась та жизнь, которая, как она знала, предначертана ей; это должно было кончиться

и кончилось. Просто все стало как было. Надежда была мерцающим, обманчивым призраком, обманщицей. Леанира прикрывает глаза и, вздохнув тише шепота, отпускает ее.

Андремон не смотрит в ее сторону, делает шаг к Пенелопе — может, чтобы схватить за руку, а может, о ужас, скрепить сделку поцелуем. Она отступает, подняв ладонь.

— Есть еще кое-что, — говорит она, а он со свистом выдыхает воздух сквозь сжатые зубы. — На наши берега нападают иллирийцы. Каждое полнолуние. Сначала Лефкада, потом Фенера. Они, похоже, знают, где что находится в моем царстве, а также куда ударить, где наши уязвимые места. Ходит слух, что в Фенере им кто-то помог: стоял на скалах и показывал, куда плыть. Конечно, они могли получить сведения от тех многочисленных купцов и торговцев, что проходят через мои гавани, но я подозреваю, даже уверена, что они получают их из более близкого источника. И я спрашиваю себя: почему они нападают и ничего не требуют? Даже иллирийцы знают, как играть в эту игру: ее смысл — получить деньги за то, чтобы не нападать, а не по-настоящему ставить под угрозу свою жизнь в морском походе. Где же предложения, попытки продать мне защиту моих подданных в обмен на мои немногочисленные богатства? И я замечаю, Андремон, что ты настойчивее всех хотел поговорить со мной.

— Я никогда не был терпелив, — отвечает он. — На Итаке должен быть царь.

— Ты нетерпелив, да, то-то и оно. Терпение — это очень непростое дело. Остальные готовы постепенно делать меня нищей, пожирая все, что у меня есть, готовы пить мое вино и сношать моих рабынь до тех пор, пока мое терпение не истощится. Но не ты. Что, интересно, смог бы ты сделать, чтобы... ускорить дело? Ты ведь воевал под

Троей, знаешь многих воинов, которые и сами голодны, и жадны теперь, когда война закончена. Я предполагаю, было бы достаточно несложно нашептать им, что здесь есть чем поживиться. Либо выгода от легкого грабежа и удачных набегов, либо выгода от откупа, который я должна буду заплатить, достав золото из какой-то своей загадочной сокровищницы, о которой знают все, кроме меня самой. Или, может быть, выгода от получения всего царства разом, когда оно окажется во власти их старого товарища и друга? В любом случае это легкая добыча для голодных мужчин.

Андремон облизывает губы. Он не так хорошо умеет хитрить, как сам думает, потому что каждый раз облизывает губы, когда решает, солгать или сказать правду. Антиной, который имеет талант к игре в кости, давно это подметил, и это одна из тех немногих тайн, что он не выболтал своим товарищам по игре.

— Когда я стану царем, — говорит Андремон наконец, — я могу пообещать тебе, что иллирийцы не будут грабить наши берега.

— Да, — говорит она негромко, — я так и думала, что ты это скажешь. И это, конечно же, вторая причина, по которой я не хотела говорить с тобой. Чтобы избежать мгновения, когда должна буду ответить тебе. Если бы я не говорила с тобой, ты, может быть, решил бы, что все еще добьешься своего когда-нибудь, и, веря в это, отложил бы свои нападения на мой народ. Но если дойдет дело до разговора — вот такого, как сейчас, — то я буду вынуждена дать ответ. Либо я продаю себя тебе, либо нет. Если да, то я ставлю под удар жизнь сына и ввязываюсь в кровавую войну с Амфиномом, Антиноем, Эвримахом и всеми остальными женихами. Если нет, война будет все равно. Ты пошлешь за своими людьми, и они будут грабить мои берега, пока ничего не останется, верно? Это будет

неизбежно, если мы поговорим; и именно чтобы оттянуть свой рок, я избегала тебя.

— Но вот мы встретились, — рычит он. — Вот мы встретились.

— Встретились. Но встает полная луна, и сегодня может погибнуть множество мужчин и мальчиков. Может погибнуть мой сын. Поэтому я здесь и проясняю тебе положение дел. Я знаю твои преступления, твои грехи против моего царства, и я никогда не прощу тебя. Когда Орест вернется с головой Клитемнестры, он будет моим союзником. Я попрошу помощи у властителя Микен, и он поможет мне. А потом я сделаю все возможное, чтобы доказать, что ты нарушил все и всяческие узы, связывающие перед богами гостя и хозяина. Остальные женихи будут счастливы возможности уничтожить тебя, они станут драться друг с другом за то, чтобы швырнуть в тебя первый камень. Вот что произойдет, когда Орест воцарится в Микенах. Однако сегодня вечером, чтобы избежать кровопролития, я даю тебе возможность. Отзови своих людей. Ты ничего здесь не получишь. Твой замысел не принесет успеха, а если будешь продолжать следовать ему, я тебя сокрошу.

Даже человека, который умеет красиво думать, можно иногда подловить с глупым видом.

— Ты же только что сказала...

— Мне было любопытно, каковы будут твои условия. Каков ты на самом деле. Теперь я это знаю. Теперь мы поговорили. Пока ты мой гость, я не имею права нанести тебе вред, так что ты, конечно же, можешь оставаться здесь. Можешь сделать так, что твои друзья нападут на мои земли, и я буду не в состоянии этому помешать. Но с чем большим усердием ты будешь продолжать, чем упорнее будешь пытаться вынудить меня, тем хуже это кончится для тебя. Разумно для нас обоих будет закончить эту глупость сейчас. Вот что я хотела сказать тебе. Отзови их.

Андремон стоит молча, приоткрыв рот, и не двигается. Пенелопа, похоже, разочарована этим — она поднимает руку и мановением пальцев указывает на дверь.

— Мы закончили разговор. Ты должен сделать выбор. — А потом будто послесловие: — Можешь идти.

Андремона уже так отправляли вон однажды, но тогда это был Менелай, а Менелай — царь. Андремон покачивается, стоя на месте, будто не знает, броситься ли ему вперед на врага или отступить. Пенелопа ждет, все еще указывая на дверь, Автоноя стоит рядом. Потом он разворачивается и широким шагом уходит прочь.

Женщины остаются.

Пенелопа поворачивается к Леанире.

В воздухе висит много слов и много призраков, которые хотели бы их высказать. Эвриклея, если бы не храпела наверху, заверещала бы: «Ах ты, шлюха, ах ты, гарпия бесстыжая! Мы тебя пригтели, а ты нам вот как отплатила, мы тебя кормим, мы тебя одеваем, дрянь ты этакая!»

Мертвая Антиклея с алым цветом на губах просто отвернулась бы и сказала: «Завтра тебя отведут на рынок. Попрощайся с теми, кому есть до тебя дело».

Антиклея, жена Лаэрта, мать Одиссея, была также и дочерью Автолика, сына Гермеса. В день накануне своей свадьбы она была изнасилована Сизифом из-за каких-то украденных коров: он решил, что это будет самый подходящий способ выразить свое мнение. На следующий день, пока у нее еще шла кровь, она не преминула заманить своего новоиспеченного мужа на брачное ложе, чтобы ее кровь приняли за что-то другое и чтобы ее сын родился у достойного отца. Когда Пенелопа впервые прибыла на Итаку, она многое узнала от Антиклеи о том, что такое быть царицей. Она выучила, что нельзя потеть, когда дует душный, тяжелый южный ветер; что нельзя дрожать, когда завывает жестокой зимой северный ветер. Буря

может согнуть твою спину, но распрямить ее снова можешь только ты сама.

Леанира и Пенелопа смотрят друг на друга, и на миг я не знаю, которая из них царица.

«Смерть всем грекам», — шепчут барабаны в сердце Леаниры.

Потом Пенелопа произносит:

— На Кефалонии и Гирии есть хорошие дома. Люди, которым я доверяю.

Леанира отвечает злобным взглядом и не вполне понимает, на что именно та отвечает, что значат эти слова.

Пенелопа делает к ней шаг, и, словно зверь, Леанира отступает, растягивая губы в неслышном рычании. Автоноя стоит рядом и просто наблюдает с любопытством.

— Урании нужны женщины. И мне нужны женщины, чтобы возделывать землю моего мужа. Есть хозяйства, есть рощи. Со временем, может, ты найдешь мужа, найдешь...

— Мне не нужен муж! — рычит Леанира. — У меня был муж!

Пенелопа отодвигается от ее восклицания, а Автоноя бросает взгляд на закрытую дверь, будто боясь, что крик прокатился по спящему дому, разбудил женихов

— Да, — говорит наконец Пенелопа, — был. И его больше нет. Твоего дома больше нет. У тебя ничего нет. Тебя будут использовать мужчины, которые знают об этом. Вот и все, что ты есть теперь: кто-то, кого можно использовать. Ты это понимаешь?

Леанира не станет плакать. Потом — может быть, завтра, опустив руки в холодный бегущий ручей, или вечером, когда запах виноградной лозы оглушает чувства, как губы любовника, — тогда она разрыдается, убежит во тьму. Но не сейчас. Не сейчас.

— Ты приказала мне... Ты сказала...

— Я попросила тебя следить за Андремоном. Я видела, что ты ему нравишься. Привлекаешь его. Но ты выбрала его постель.

— Выбрала? Какой выбор? Какой выбор?!

Троя горит, и Леанира иногда задается вопросом, почему у нее не хватило смелости сгореть вместе с нею.

— Может, и никакого, — задумчиво отвечает Пенелопы голосом, похожим на пепел над пылью. — В таком мире мы живем. Мы не герои. Мы не выбираем быть великими, у нас нет власти над нашей собственной судьбой. Те крохи свободы, что у нас есть, — это выбор между двумя видами яда, возможность принять наименее плохое решение, зная, что все равно в конце концов будем, окровавленные, корчиться на полу. У тебя нет выбора. Твой выбор у тебя отняли. Я отняла. Я использую тебя с той же готовностью, что и любой мужчина. Я заставлю тебя склониться перед моей волей, я причиню тебе боль, если это будет сообразно с моей целью и поможет моей стране. И если бы мне предложили власть над всей Итакой в обмен на тебя, я пожертвовала бы тобой не раздумывая. В этом смысле между мною и Андремоном нет никакой разницы. Разница в том, что он не знает об этом. Он... считает себя героем. И он никогда не поймет. А ты?

Леанира не кивает. Ничего не говорит. Она не доставит гречанке такой радости.

— Андремон ждет за этими дверями, — голос Пенелопы мягок, как шелковистая паутина. — Он будет просить прощения, поклянется, что сказал так потому, что любит тебя. Он все еще имеет на тебя виды. И я — тоже.

Когда Пенелопе было шестнадцать, ее будущий муж повернулся к ней и сказал: «Ты выйдешь за меня?» — и это прозвучало так, словно у нее в самом деле был выбор. Он спросил это так, как будто незаконная дочь наяды

и царя могла сказать «нет» тому единственному жениху, который решил, что она лучше, чем дочери Леды и Зевса, ее сёстры, вылупившиеся из лебединого яйца. Как будто у нее была какая-то власть. Это показалось ей не самым честным началом семейной жизни, но, по крайней мере, это было хорошо разыграно.

Леанира выпрямляет спину.

Смотрит Пенелопе в глаза.

Говорит:

— Можно мне идти, моя царица?

Пенелопа кивает.

Леанира поворачивается, с трудом открывает тяжелую дверь и выходит в темноту. Автоноя поднимает бровь, но Пенелопа качает головой.

— Пусть идет.

— Опасно. Она много чего знает, — негромко возражает Автоноя.

— Пусть идет, — повторяет Пенелопа. — Если мы хотим, чтобы она была нам полезна, она должна думать, что сама делает выбор. А если она не будет нам полезна, то все равно уже поздно. Не нужно было позволять их отношениям заходить так далеко. Мы сами виноваты.

Леанира бежит сквозь ночную тьму. Она бежит к ручью за дворцом, тоненькой струйке, текущей к морю. Она бежит к его прохладе и спокойной гладкой воде, хочет укрыться в тени могучих деревьев, нависающих над ним так, будто их листья хотят испить из него. Леанира думает, не броситься ли в море, не закричать ли на языке, которого здесь никто не понимает, не схватить ли кухонный нож, не воткнуть ли его в Пенелопу, в Автоною, в Эвриклею, в Андромона, в себя саму. Она бредет, пошатываясь, спотыкаясь, поднимается по прохладным земляным ступеням к ручью и чуть не вскрикивает, когда кто-то хватается за нее: шипит, как кошка, царапает чужое

лицо, еле видное в бледном, еще неверном свете луны, метит ногтями в глаза, в нос, в губы, в мягкое.

Тот, другой, рычит от боли, отшатывается, ругается, и она застывает, все еще оскалившись, а Андремон зажимает расцарапанную кожу и восклицает:

— Ах ты, дрянь!

Он ощупывает себя, но из оставленных ею царапин сочится прозрачная сукровица, а не кровь. И все же он снова бормочет:

— Дрянь ты этакая, — а потом превращает это слово в улыбку, почти в смех. — Попала по мне.

— Чего ты хочешь?

— Ты знаешь, чего я хочу. Извиниться. — Попросить прощения, вероятно. — То, что я там сказал... я пытался сделать все как надо, окончить все раз и навсегда. Ты слышала, что она сказала. Она ненавидит тебя.

— А ты? — резко отвечает она. — Ты не бросился защищать мою честь.

— Твою... честь? — он спотыкается об это слово, и на миг кажется, что он расхохочется, но ему удается превратить это в улыбку, и он держит Леаниру перед собой, крепко сжимая ее за плечи, то ли по-братски встряхивая, то ли по-супружески обнимая. — Я не думал, что у кого-то еще осталась честь, которую надо защищать. У меня так точно нет. Ты сама прекрасно знаешь, что если я буду царем Итаки, то мне придется спать со шлюхой царицей. Так положено. Ты знаешь это. Но люблю я тебя. Только тебя.

— Ты действительно присылаешь налетчиков? — Леанира сама еле слышит собственный вопрос. Она так устала, ее тянет к земле, кости кажутся такими тяжелыми. — Ты присылаешь разбойников на Итаку?

— Да, — просто отвечает он, — присылаю. Я задумал это для того, чтобы заставить ее побыстрее принять решение,

пока не понаехало еще больше женихов, которые могут осложнить дело. А теперь я просто собираюсь взять силой все те богатства, которые она не хочет отдать мне путем брака. Так или иначе они будут моими.

— А я? — спрашивает она.

— И ты, — отвечает он. — Во что бы то ни стало ты будешь моей.

— Так давай сейчас убежим. — Она чувствует, как он застывает, но продолжает, пьяная от лунного света. — Ты ведь слышал, что она сказала. Она не выйдет за тебя. Тебе придется силой брать то, чего ты хочешь. Но ведь ты уже берешь это силой. Она это знает. Так зачем оставаться? Давай уедем. Она никогда нас не найдет, а ты можешь продолжать грабить ее, и мы будем свободны.

— Это... не так просто.

— Почему? Что может быть проще? Ты не Парис, я не Елена. Что же тут сложного?

— Чтобы быть истинно свободными, нам нужны богатства. Налеты приносят мне рабов и добычу, но их приходится делить между членами команды, я должен заплатить им то, что обещал. Да, я руковожу ими, я говорю им, куда нападать, но пока мы не найдем ее сокровища, настоящее золото...

— Да нет у нее золота! Она лжет, строит каверзы и снов лжет, но я знаю ее: она весь день проводит, торгуясь за коз и рыбу! Нет никакого золота! — Леанира почти выкрикивает это, понимает, что больше не может сдерживать слезы, не может сделать так, чтобы не дрожали плечи. Андреон вздыхает, как терпеливый отец, прижимает ее к себе. Его прикосновение отвратительно ей, покровительственное объятие вора, источник ее горя, и все же она не хочет, чтобы он отпускал ее, и впирается пальцами в его спину, и держится крепче, и плачет.

«Смерть всем грекам».

— Любовь моя, — выдыхает он, запутав пальцы в ее волосах, поглаживая голову. — Моя прекрасная. Видишь, как Пенелопа обманула тебя?

Ленанира не плакала с самой Трои, но сейчас она закрывает глаза и дает слезам течь, как реке в море, а Андремон крепко держит ее в объятиях.

А над ними луна — идеальный шар в исчерканном звездами небе, и под нею идут морем разбойники.

STONE HEDGE



Афины я нахожу на берегу, она стоит босиком на черном песке, волны набегают на ее лодыжки. Она никем не притворяется сейчас, в руках у нее не оливковая ветвь, а копье и щит. Шлем лежит рядом, волны заносят его песком. Она смотрит на море, на три корабля, скользящие к Итаке, подгоняемые ветром и веслами, что быстро бьют по пене.

Я очень долго это откладывала. Теперь на Итаку пришли люди с мечами и факелами; и уже нет выбора, кроме как поговорить с властительницей войны. Сегодня вечером мы либо договоримся, либо закончим всё раз и навсегда.

Я снимаю золотые сандалии и подхожу к ней, вздрагивая от приятного прикосновения прохладной воды, что забирается между пальцами. Когда подхожу к ней, она говорит:

— Ты вмешиваешься, старая.

— Ты тоже, богиня мудрости, — отвечаю я.

Она надувает губы, но не отводит взгляда от очертаний кораблей, которые направляются к берегу. А может, еще не поздно поговорить с Посейдоном? «Как было бы здорово, дорогой брат, — могу сказать я, — чтобы на гавани Итаки обрушился шквал или неожиданный ураган! Вот бы огорчились подданные Одиссея!» Может быть, он попался бы на это, а может, и нет. Афина этого, конечно, не сделает — она ждет, пока ее отец прикажет Посейдону оставить свои счета к итакийскому царю, а потому ей приходится терпеливо играть вдолгую.

На гребне холма вспыхивает факел: кто-то еще увидел корабли. Факелом отчаянно машут, подавая знак тем, кто находится в южной части острова, но ветер гасит огонь и знака никто не видит. Я смотрю одним глазом на мальчика с факелом, он уже забирается кое-как на спину одной из немногочисленных быстрых лошадей Итаки и сейчас поскачет к житницам или, может быть, в гавань, где стоит без дела остальное ополчение. Они так далеко, и их настолько мало — все это совершенно бессмысленно.

Афина говорит:

— Они идут к берегу.

Так и есть; воины натягивают доспехи, проверяют остроту мечей. Куда именно они направляются, пока непонятно. Борясь с боковым ветром, они сворачивают паруса, налегают на весла.

— Значит, — задумчиво говорит Афина, пока мы наблюдаем за приближением кораблей, — войско из женщин?

— Это не я придумала, — пожимаю плечами.

— Но ты не отговорила их от этой затеи.

— Я смотрю на вещи практически. На острове недостаточно мужчин боеспособного возраста, но есть другие, кто готов сражаться.

Она поджимает губы. Где-то за нашими спинами мальчик скачет на коне к своим товарищам и не может поверить, что его лошадь плетется так медленно, в то же самое время, когда по морю столь стремительно приближается смерть.

Наконец она говорит:

— Если Зевс узнает, он будет в ярости. Одно дело, когда в восточных племенах женщины наряжаются в штаны и ездят верхом, и совсем другое — в его землях.

— Я полагаюсь на то, что мой муж не будет проверять, что здесь творится.

Она кивает. Это логичное предположение. Я смотрю на нее, а она никак не взглянет мне в глаза. Расскажет ли она ему? Мы с ней всегда презирали друг друга, и все же пусть она и незаконнорожденная, порождение уродливого союза между богом и титаншей, но она мудра. И ей нужно, чтобы Одиссею было куда возвращаться. Наконец она произносит:

— Мне не нравится, что ты вмешиваешься в дела Итаки.

— Я почти не вмешивалась, — отвечаю чопорно. — Всего лишь присматриваю, как и ты сейчас.

— Потому что здесь Клитемнестра? — хмурится она. — Твоя ненаглядная убийца?

Я вздыхаю, не снисхожу до ответа. Наконец она спрашивает:

— Ты говорила с Артемидой?

— Нет. Зачем?

Она поворачивает голову, в глазах испепеляющее презрение.

— У тебя тут женщины упражняются с луками и стрелами. Ставят ловушки на мужчин, учатся сражаться в рощах вокруг ее храма. Здесь праздник в ее честь, который совпадает с нападением разбойников на итакийские берега. И ты спрашиваешь зачем? Да не будь она так занята собой, то уже носилась бы с воєм по лесу.

Я не говорю, что она будет против — но она будет против того, что все это происходит без ее благословения, без того, чтобы ей досталась кровь. Тебе стоит поговорить с ней, пока она не разузнала об этом, а то она побежит прямо к отцу.

Мое лицо искажает неудовольствие.

— А ты...

— Категорически нет. Я не буду — до поры до времени — раскрывать эту твою затею, дорогая мачеха, но и ставить под удар свое доброе имя, принимая в ней участие, я тоже не собираюсь. Сама делай свою работу.

— Я спасаю землю Одиссея для Одиссея! — резко отвечаю.

— Ты спасаешь ее для его жены, — возражает она сухо. — Можно подумать, кому-то интересно, доживет ли она до конца его истории.

Я проглатываю горький ответ. Были бы мы в другом месте, я бы за такое неуважение вlepила ей звонкую оплеуху, обозвала тысячей прозвищ, каждое из которых кусачим муравьем впилося бы в ее плоть. Но здесь, в эту ночь, мы на краткое время союзницы, и мне надо, чтобы она на Олимпе держала рот закрытым, если я хочу спокойно делать свою работу. Это ранит меня, меня тошнит от этого — да, Афина мудро поступила, поклявшись никогда не становиться ничьей женой (не то чтобы мне давали в этом смысле какой-то выбор).

Наконец она говорит:

— Я сохраню твою тайну, царица тайн. Позволю тебе делать то, что ты делаешь, чем бы оно ни было. Но я назначу цену.

Я щетинюсь, вспыхиваю, сияю божественным светом — чуть излишне божественным, яркой вспышкой пламени на берегу, лучше погасить ее, пока песок под моими ногами не превратился в стекло или некий взор с неба

не заметил моего неистовства. Какая наглость! Она вздумала со мной торговаться!

Она, не мигая, смотрит на корабли, как будто ее совершенно не трогает сияние моей мощи, и я постепенно угаваю. На мгновение становлюсь смертной, как то тело, в которое сейчас кажусь облеченной: старая, уставшая женщина, которая забыла, что значит быть молодой.

— Какую цену? — спрашиваю я.

— Телемах, — отвечает она. — Он мой.

Я едва не пожимаю плечами.

— Это высокая цена, — лгу, чтобы она не подумала, что я легко сдаюсь. — Отдать тебе поиграть сына Одиссея вдобавок к отцу? Другие могут возмутиться, если у тебя будут целых два героя, которые тебя восхваляют. Скажут, что ты жадная.

— Ничего такого они не скажут. И отец, и сын хитры, а значит, от рождения принадлежат мне, — отрезает она. — Боги глупы и слепы. Они думают, что величайшие поэмы те, где поется о гибели в битве и изнасилованных царицах. Но в веках будут жить те истории, в которых говорится о потерянных, об испуганных, о тех, кто, невзирая на жестокие невзгоды и отчаяние, находят надежду, находят силу — находит путь домой. У победы всегда должна быть цена. Я хочу Телемаха. Он мой. Я не буду вмешиваться в твои дела, если ты не станешь трогать его.

Боюсь, у этого ночного разговора могут быть далеко идущие последствия, но она не оставила мне времени о них поразмышлять. Хитрая Афина — ее мудрость может быть не только остроумием, подходящим для пира философов, но и грубой, приземленной смекалкой рыночной торговли.

— Ладно, — резко отвечаю, — договорились.

Между нами вспыхивает пламя, невидимое для смертных глаз, — договор, скрепленный волей двух богинь,

записанный насечками на наших алмазных костях. Я вздрагиваю от его прикосновения, а ей, похоже, все равно: она смотрит на море и слегка хмурится, следя за кораблями. Я гляжу туда же, куда и она, и вижу, что они снова поворачивают, буквально в сотне шагов от берега, уточняют курс, обходят россыпь скал, наполовину скрытых волнами. А по темной тропинке несется, чуть не вываливаясь из седла, всадник и кричит: «Враги! Враги!» — но голос его не перешибит ночного ветра.

— Куда это они? — спрашиваю больше сама у себя, когда налетчики поворачивают к маленькой бухте, где обычно бегают лишь крабы и босоногие дети. Там некого грабить, не найти ни спрятанного золота, ни рабов — только камни, на которые сложно будет высаживаться. На берегу их ждут, кто-то быстро поднимает и опускает факел, и ему отвечают с корабля. Это тот же самый человек, что привел их к Фенере, лицо его скрыто тьмой. Мгновение Афина тоже не может понять, потом распахивает глаза.

— Лаэрт! — восклицает она.

Я бросаю взгляд вглубь острова и понимаю, что она имеет в виду: вижу каменистую тропинку, ведущую от воды к одинокому хутору, где громко храпит старик, отец царя, которого никто не охраняет, не считая нескольких мальчишек и женщин. Спит старый монарх Итаки, последний из аргонавтов.

— Но не посмеют же они?..

— Посмеют, — отвечает она быстро и хватается за шлем. В ее голосе презрение и жажда мести. — Они собираются напасть на его отца.

Я кладу руку ей на предплечье, не даю повернуться.

— Что будешь делать? — спрашиваю. — Если поразишь их, Зевс обязательно узнает, Посейдон почувствует кровь на волнах, и что тогда? Меня отправят обратно на Олимп

за то, что вмешалась в дела людей, а ты никогда не сможешь вызвать Одиссея с Огигии. Скажут, что ты переступила черту; все, что мы делаем, вызывает подозрения, особенно если это касается дел людей.

Она скалится, показывая зубы, но не двигается; взгляд ее, сверкая, скользит по воде. Потом, не сказав ни слова, она исчезает, превращается в серебристый туман под моей рукой. Я сердито превращаюсь в ветер, особо резкий и пронизывающий, и несусь вглубь острова, преследуя ее во мраке. Она не уходит далеко: Итака вообще невелика. Она опускается, будто бледность после перенесенной болезни, на лицо Телемаха, который подпирает стену одного из столбов Эвпейта, охраняя добро своего врага вместе с кучкой из еще четырех или пяти воинов, и в его сердце она шипит: смотри!

Он шевелится медленно, заторможенный прохладой ночи и поздним временем. Я хватаю лунный луч, закручиваю вокруг мизинца, кидаю так, что он скользит по воде и подсвечивает один из кораблей. Телемах, ахнув, выпрямляется, сразу тянется за копьем, а Афина, чуть ли не тряся его за плечи, шипит так громко, как смеет: «СМОТРИ!»

И вот он видит корабли на волнах, слышит топот лошади, несущей гонца, — из ее рта капает пена, на шкуре белые полосы пота.

— Разбойники! — кричит мальчик. — Разбойники!

— Беги к Лаэрту, — шепчет Афина, пока я тревожно кручусь в воздухе вокруг нее. — Спасай его!



На Итаке в ту ночь совершаются две битвы.

Ни об одной не сложено песен.

Вторая — это битва между шестнадцатью мальчиками и тридцатью девятью разбойниками. Остальные мальчики из ополчения так и не услышали призыва и не пришли. Они охраняли склады Полибия и дом Эвпейта. Амфином вместе с пятью другими зачем-то охраняет деревушку, где нет ничего, кроме глины и рыбы, хотя все женщины оттуда и ушли вглубь острова на какой-то праздник в храме Артемиды, про который никто не соизволил сообщить ополчению. Первые новости о битве, в которой должны были участвовать, Амфином и его люди получают только утром, когда по острову, словно первая весенняя пыльца, расползаются песни плакальщиц.

Итак, вот бегут под светом луны всего лишь шестнадцать из ополчения Пейсенора, несутся навстречу своему

року. Телемах, конечно, с ними: Афина побудила его бесстрашно схватить копье и щит. Из его спутников трое — его друзья, выросшие без отцов, верные ему. Сначала они с трудом находят друг друга, размахивают факелами, бегая по изогнутым низинам в серебряной ночи, спотыкаясь в доспехах, пытаясь объединить копья.

Со стороны берега идут разбойники. Они все еще в иллирийских одеждах, ибо если другие цари Греции узнают, как жестоко предал доверие Пенелопы один из ее гостей, то все законы гостеприимства враз отменяются и Андремона за горло прижмут к стене дворца. Поэтому они наряжены — так грубо, что это пародия на обман. На самом деле они опытные греческие бойцы, прошедшие Трою, наемники ахейских морей, которые умеют только сражаться и отнимать.

Они втаскивают свои корабли на шершавый песок с таким звуком, будто нож скребет по кости, и собираются на берегу, где их ждет человек. Его плащ сброшен на голову, плечи широкие, руки сжаты в кулаки. Мы его уже видели — шепчущим в темноте, наблюдающим, как горит Фенера. Он показывает рукой: пошли, пошли, я знаю дорогу, пошли — и ведет псевдоиллирийцев по узкой тропинке вглубь острова. Они не бьют в барабаны, не выкрикивают боевых кличей — в темноте пробирается ватага воров и убийц.

— Куда это они, куда? — лепечет один из мальчиков-ополченцев, и Афина снова кладет руку на плечо Телемаху и шепчет: «Думай, парень, думай, куда они идут, куда они идут?»

Она могла бы ему просто сказать, конечно, но он ведь сын Одиссея, и она от него чего-то ждет, а он должен соответствовать ожиданиям. «Думай, парень, думай!»

Телемах с трудом соображает, когда на него смотрит столько глаз, но другого начальника здесь нет: ни Эгиптий,

ни Пейсенор не пришли к ним, — так что ему нужно показать себя, оценить положение, и эта оценка должна быть правильной.

«Ты знаешь остров как свои пять пальцев, — шепчет Афина, — ты так хотел отсюда уплыть, стоял на скалах и мечтал о великих битвах в далеких краях, но теперь ты ДОЛЖЕН использовать то, что знаешь! Думай! Тебе известно, где высадились разбойники, тебе известно, что там нет ничего, на что они позарились бы, так где здесь хоть что-нибудь ценное? Куда они пойдут?»

Она уже готова крикнуть это ему в ухо — схватить его за плечи и заорать: «Во имя Олимпа, парень, ты что, совсем идиот?!» — когда до него доходит, и он, ахнув, распахивает глаза.

— Дедушка, — выдыхает он, и Афина закатывает глаза в молчаливом удовлетворении: ну наконец-то, парень, наконец-то, а она уж чуть было не решила, что ты все-таки не стоишь ее внимания. — Дедушка, — повторяет он более уверенно и выпрямляется, воевода мальчишек. — Они направляются на хутор Лаэрта!

Мальчишки-ополченцы бегут во мраке. Афина — рядом с ними: летит тенью, дает им второе дыхание, дает им силу, — так что на мгновение они снова свободны, как дети, играющие в полях, не обременены доспехами, не думают о смерти, лишь о доблести и историях — тех историях, что расскажут поэты, тех песнях, в которых они станут героями. Как странно, что, делая мужчин из этих мальчишек, Афина сначала превращает их в детей, прогоняет из их голов память о смертности, мысли о кровопролитии, и они бегут, бегут, бегут к хутору Лаэрта.

Я уже там, конечно. Бужу живущих в доме сквозняками, мерзкими снами, кусачими насекомыми и причудившимся запахом дыма. Лаэрт просыпается одним из последних, ворочается под тонкой шерстяной тряпкой,

которую называет одеялом, — намного некрасивее, чем тот саван, что как бы ткет его сноха, — и бормочет, и брюзжит, из уголка рта стекает слюна. Я бы влепила ему пощечину, ослепила бы своим божественным присутствием, но другие увидят, в небесах зашевелится Зевс и задастся вопросом: а что это там делает его жена с умами смертных? Так что вместо этого я хватаюсь за одну из старух-служанок, сжимаю ее мочевого пузырь так, что она с хныканьем выбегает в темноту, и там, в лунном свете, она сможет бросить взгляд на море. «Смотри! — кричу я ей. — Узри!»

Наверное, я перестаралась: она так стремится поскорее облегчиться, что мне не удастся ее ни на что сподвигнуть, пока она со вздохом устраивается над выгребной ямой; но, как только она заканчивает, я снова трясую ее и рычу почти слышно: «ДА ПОСМОТРИ ЖЕ ТЫ, ТУПАЯ СТАРУХА!»

Она наконец поднимает голову, сначала не видит, но я кидаю ей что-то в глаз, тогда ее взгляд снова падает туда, и она наконец замечает блеск лунного света на доспехах, слышит звон металла на ветру. Она сначала не понимает, а потом приходит к какому-то своему выводу и бежит в дом, крича:

— Воины! Воины идут! Одиссей вернулся!

Я так сильно бью себя ладонью по лбу, что с низкого потолка сыплется пыль, с крыши — солома. Лаэрт, который несколько осмотрительнее, медленно поднимается, жуя пустым ртом, будто не может говорить, не разогрев сначала свои беззубые десны, и наконец произносит:

— Воины?

— Идут сюда! — пронзительно кричит женщина. — Твой сын вернулся!

Я не знаю, почему Афины так зацепил сын Лаэрта, но про отца могу одно сказать: иногда он оказывается не дураком. Ясон не зря его взял на «Арго», и, учитывая, что остальная команда состояла из Зевсовых ублюдков

со львиными мышцами и комариными мозгами, я вас уверяю, что Лаэрта там ценили не за стальную мощь. Он добавил команде жестокого остроумия, тихой трусости, и Ясону стоило бы следовать его примеру в тяжелые времена. Так что Лаэрт вытаскивает себя из кровати, не тратит время на одевание, только набрасывает тряпку — несколько грязную — на самые интимные места и ковыляет к двери. Он смотрит в ночь затаив дыхание, слушает звуки из темноты и заявляет:

— А теперь мы убежим и спрячемся в канаве.

Старуха ахает, а я готова обнять его, сжать так, чтобы он лопнул.

— Но, господин... — начинает она.

— Когда мой сын вернется, он придет один, с подобающим уважением и убедительным объяснением того, где его носило последние восемь лет, — отмахивается Лаэрт. — Короче, ему придется хорошенько передо мной поунижаться. Принеси мой плащ! Мы спрячемся и будем ждать, пока все это не закончится.

Она бежит за его плащом, а я кружусь волчком в вихре вокруг него. Он прикрывает глаза. Может быть, почувствовал мое присутствие, помнит его прикосновение с тех времен, как был моложе, — но теперь не время об этом думать. Накинув свой потертый, выцветший серый плащ, он кивает и с изяществом кентавра гордо убегает прочь.

Через несколько минут после этого до его двери добиваются налетчики. Они вламываются внутрь, видят горящий светильник, смятое одеяло на деревянной лежанке. Они зовут старика, думая, вероятно, что Лаэрт, будучи благородных кровей, ответит, если его позвать по имени, словно он Гектор или Ахиллес, а не тот, кто прячется в канаве на другой стороне темного поля, смердящего свиным навозом. «Царь Итаки! — кричат они. — Выходи, старик! Выходи!»

Лаэрт не выходит; он лежит в канаве, повернувшись спиной к своему дому, сведя вместе пальцы на груди, как будто пытается рассчитать орбиты звезд над собою, а его домочадцы молча сжимаются от страха.

Когда становится ясно, что Лаэрта в доме нет, да и богатств, мягко говоря, немного, один из разбойников, тот, что понаходчивее, выхватывает из очага горящее полено и кидает на все еще теплую постель старого царя, таким образом вызвав пожар, который еще до зари сожжет хутор Лаэрта дотла.

Сделав это, они уходят без выкупа и без добычи и поворачивают обратно, в сторону своих кораблей.

Так кончается первая битва этой ночи.

Вторая происходит через несколько минут, когда разбойники, возвращаясь с пустыми руками и злыми лицами от разгорающегося хутора Лаэрта, натываются на шеренгу вооруженных мальчиков, которые соединили щиты и выставили копья: это Телемах приказал им занять оборону, чтобы не дать разбойникам скрыться. Первый «не совсем иллириец», который в руках тащит поросенка, а на спине — связанную козу, видит их и останавливается так резко, что остальные чуть не врезаются в него, и постепенно у него за спиной выстраивается полукругом весь отряд несколько удивленных налетчиков. Им есть чему удивиться.

Во-первых, они не ожидали никакого сопротивления, и молчаливая стена почти что мужчин перед ними — это неприятное препятствие на пути их замыслов. Во-вторых, если бы сопротивление и было, они ожидали землепашцев с палками, а не вооруженных и, наверное, даже обученных воинов с копьями и щитами. Но, увы, впечатление, что перед ними легендарные воины Итаки, храбрые спутники Одиссея, рассеивается при более внимательном взгляде, ведь вот, смотрите: этому мальчику слишком велика

нагрудная пластина, она впивается ему в подмышки неудобно и некрасиво, так что плечи у него торчат, как крылья чайки. У второго шлем еле держится на качающейся под его тяжестью голове. А у третьего щит погнут так, что и на щит уже непохож почти, и одной стороной плоско прилегает к руке. Поистине если это лучшее, что может собрать Итака, то век героев действительно ушел без возврата. А потом разбойники смотрят еще внимательнее и видят наконец, что пусть мальчикам и не хватает военного опыта, хорошего вооружения и умения, зато им категорически не хватает численности.

— Ну, — бормочу я на ухо Афине, опускаясь рядом с ней позади шеренги итакийцев, — вот и всё.

Она смотрит на меня мрачно, но на ее лице неуверенность.

Ах, если бы она могла сражаться вместе с этими мальчишками, то в одиночку бы повернула ход битвы; какие песни пел бы в ее руке меч, как просты были бы ее движения: мельчайший шаг, легчайший танец, кровавая симфония. Для славного Ареса каждая битва — это триумфальный взмах топора, огромная волна силы, рев легких и лязг оружия по доспехам. Но Афина — я видела сама — может победить, просто разрезая руку, держащую вражеский меч, отсекая по пальцу зараз коротким движением запястья, как будто говоря: «Ну хватит, пора обречь себя».

Она могла бы, если бы хотела, сделать так и сейчас: притвориться простым мальчишкой с этого острова и разорвать налетчиков на части. Но тогда и другие услышат ее музыку: глаза с Олимпа посмотрят вниз, и великие боги зададутся вопросом, а что это мы, женщины, делаем на Итаке, во что вмешиваемся, вечно мы вмешиваемся. Одно дело, когда Афина вмешивается в жизнь Одиссея, он как-никак герой, да и вообще сейчас сношает нимфу.

Но это?! В этом есть что-то некультурное. Это похоже на власть и свободу.

Так что вместо этого Афина шепчет:

— Я вызвала другого, — и я не успеваю спросить у нее, что она имеет в виду, потому что разбойники обнажают мечи. Не сики, искривленные мечи иллирийцев, а короткие, греческие. Такое оружие, которое можно приставить к горлу женщины, кратко объясняя ей, какое будущее ее ждет. Такое оружие, которым удобно пользоваться, если хочешь оставить одну руку свободной — волочь на корабль ребенка, чтобы потом продать его в рабство.

К чести мальчиков Телемаха надо сказать, они не дрогнули. Их тоненькая шеренга не колеблется. Она немного искривляется, когда разбойники начинают окружать их, потому что мальчики хотят сохранить место для маневра, но не хотят отходить далеко друг от друга. Морские разбойники не издают воинственных кличей, не выкрикивают ни насмешек, ни издевательств, ни призывов сдаваться. Они очень опытни в своем деле и не хотят тратить дыхание на пустое — лишь на то, чтобы рубить, колоть, двигаться; а мальчики чувствуют, как в их отвагу начинает вгрызаться страх смерти, слышат в сердцах первый шепот сомнений и ужаса.

— Спокойно, — бормочет Телемах и остальным, и себе самому. — Спокойно. Делаем, как учил Пейсенор. Прикрываемся щитами. Держимся вместе.

Пейсенор этому учил, но он еще не успел объяснить им, что делать, если ты полностью окружен опытными воинами, которые безо всякого уважения смотрят на твои навыки и оружие, которые начинают распознавать в своих противниках побледневших от испуга юнцов и в чьих глазах страх уступил спокойному расчету, исход которого — твоя смерть. Круг сужается, а я с изумлением чувствую, что Афина сжимает мое предплечье. Она бледна,

губы сжаты, костяшки побелели, стискивая копье, и я не понимаю. Потом она шепчет:

— Что бы ни случилось, спаси Телемаха.

Когда в битве меч противостоит копью, умело используемое копье должно показать себя лучше. Оно такое длинное, что хорошо обученный воин успеет проткнуть горло врагу, не подпустив его к себе на расстояние удара меча. Но эти мальчики не обучены хорошо, так что, мгновение помедлив, один из разбойников — назовем его вожаком — делает шаг вперед и хватает голой рукой древко того копья, что болтается у него перед носом, и дергает так сильно, что мальчик, держащий его, падает лицом вперед в грязь. Слышится чей-то смех, и в этот миг чернейшего отчаяния разбойники нападают.

Когда музы поют, то не о таких битвах. Они не поют об оскальзывающихся в грязи ногах, о вскриках и о том, как меч пробивает щит. Они не поют о мальчиках, с голов которых сдергивают шлемы, или о разбойниках, которые могут просто не замечать направленных на них ударов, потому что они ничто по сравнению с их собственным убийственным замахом. Они не поют о бойнях.

Нет, кое-кто из мальчиков Итаки пытается противостоять. Некоторым везет, удастся воткнуть копье куда надо. Некоторые — поскольку их линия смята и всякое преимущество потеряно — берутся за оружие покороче и встречают врагов на их условиях. Афина шепчет в их сердцах: смелее, смелее, смелее, — но, когда они падают во мраке, воя от боли, она не стоит с ними рядом. Она не забирает их боль; не в том ее дар. Будь они женщинами, здесь пригодился бы мой, но вместо этого я лишь бессильно кружу над побоищем.

Телемах плохо справляется в первые мгновения — любая такая битва исчисляется мгновениями, а не минутами, — старается держаться за щитом, как учил Пейсенор,

пытается колоть копьем. Но на него набрасываются двое: один — слева, привлекая к себе удар его копья, а другой — справа, хватая древко, пытается вырвать копье. Телемах было вцепляется в копье, но потом отпускает, за миг до того, как его опрокинули бы на землю, делает шаг в сторону, выхватывает меч, ударяет ближайшего к нему противника щитом в грудь. Тот сбит с ног, Телемах не ожидал такого успеха, наносит рубящий удар, целясь в живот другого разбойника, а тот отпрыгивает, роняя копье Телемаха в грязь.

В канаве неподалеку Лаэрту слышны звуки битвы, но он все еще лежит на спине и смотрит на звезды. Кто-то из его слуг принимается тихонько плакать, он шипит: «Ну-ка, цыц!» — и рыдания поспешно заглушаются.

Вокруг Телемаха падают наземь мальчишки, землю заливает кровь. Афина бросается вниз, отбивает лезвие, летящее ему в затылок, отсекает кончики волос и тут же исчезает, чтобы даже это мимолетное вмешательство не было замечено, а Телемах разворачивается, не понимая, что за ветер пролетел у него за спиной. Разбойник наносит удар, Телемах неудачно отбивает его щитом, он слабо держит его, и мощный удар отталкивает его назад. Следующий удар он принимает чуть лучше, делает движение вперед, чтобы поймать его на подлете, но все равно по всей руке идет гул, отдает в позвоночник, когда сила сшибается с силой. Он знает, что его друзья умирают вокруг и он тоже сейчас умрет, но пытается применить прием, которому его научил египтянин: наносит удар из-под нижней части щита, метя в лодыжки врага. К его удивлению, он попадает, прорезает кожу и плоть, но меч замедляется, завязнув в теле врага: так никогда не было во время упражнений, — Телемах теряет драгоценное мгновение, проходя в себя, и противник успевает ткнуть его мечом, целясь в грудь. Телемах отбивает удар, острие соскальзывает

по круглому верху щита и попадает в руку, но мальчик не замечает боли, у него кровь колотится в висках, ему не хватает воздуха.

— Помоги ему! — кричит Афина, и в ее голосе настоящее страдание, я никогда не думала, что услышу такое. Я смотрю на нее и чувствую что-то странное, сжатое в груди, похожее на жалость. Она могла бы помочь ему, если бы хотела, но какой ценой? Сколько еще лет плена для отца, если Афина сейчас вмешается и поможет сыну?

Еще один удар отталкивает Телемаха назад, и он спотыкается о тело мальчика, бывшего его другом, падает, пытается встать, руке мешает оружие, ноги никак не могут нащупать землю под кровью и чужими телами.

— Помоги ему! — верещит Афина, и я снова смотрю на нее и пытаюсь понять, чего она от меня хочет. Я не создана для войны; я наказываю тех, кто сбежал из боя, ядом и желчью, но в их битвах я не участвую.

Разбойник выбивает щит из рук Телемаха, и на мгновение он полностью открыт, горло голое, грудь голая, глаза круглее, чем полная луна в небе. Враг заносит меч для последнего удара — злость мешает прицелиться, ярость не дает закончить дело быстро, он хочет, чтобы жертва увидела свой конец.

Метательное копьё, брошенное сзади, пробивает его грудь насквозь, кончик выходит из левого плеча, как будто он небрежно построенный плетень, и я понимаю, слегка вздрогнув от негодования, что Афина кричала не мне.

Разбойник падает не сразу, а когда падает, то в том же направлении, в котором летело копьё, как будто только оно одно теперь может привести его в движение. Второе пролетает мимо цели, но меч Кенамона — он выскакивает из тьмы — извивается в воздухе, снизу вверх, целится в живот, но в последний миг выворачивается и входит

сбоку в шею. Налетчик падает, Кенамон чуть не падает на него сверху, и в брызгах крови и ошеломляющей боли египтянин протягивает руку упавшему мальчику и рычит:

— Беги, парень! Беги!

Телемах хватает его руку, кое-как поднимается, смотрит на кровавую сцену. Только несколько ополченцев все еще стоят, земля усеяна телами мальчиков и мужчин, и на миг кажется, что он тряхнет головой, откажется от пришедшего к нему спасения.

Но вот тут — наконец-то — я могу что-то сделать. Я слетаю к нему, не давая времени открыть рот и сморозить какую-нибудь глупость, направляю свое дыхание ему в губы и шиплю в самое его сердце: «БЕГИ!»

Афина никогда не сказала бы такого, этого слова нет в ее словарном запасе. Когда-нибудь, может быть, ей хватит вежливости быть благодарной за то, что оно есть в моем.

Телемах поворачивается спиной к своим друзьям и вместе с Кенамоном убегает во мрак.



Заре бы подобало быть кровавой после битвы, но чаще всего бывает не так. Слишком много войн ведется под ее светящимся взором, чтобы она становилась багровой ради какого-то сражения, кроме разве что самых выдающихся. А потому наступает прохладная серебристая заря, пронизанная запахом цветов и моря.

На берегу у хутора Лаэрта остались три неровные длинные вмятины там, где лежали носом три корабля и откуда эти три корабля давно отплыли.

На тропинке, ведущей от моря к холмам, стоят без дела мальчишки ополчения Пейсенора — те, кто не пришел, те, кто опоздал на собственную смерть. Они по-прежнему стоят в доспехах и держат копья, некоторые чувствуют смущение из-за того, что ночью ничего не сделали, большинство — облегчение. Те, кто видел мертвецов, благодарны, что они не среди них, пускай и пострадала их честь.

Есть и те, кто начинает понимать, что честь ценна куда меньше, чем живое бьющееся сердце.

Лаэрт сидит на табурете — его и еще несколько предметов удалось спасти из выгоревших развалин его дома, — спиной к пепелищу, сложив руки на груди. Оставшиеся в живых слуги ходят по углям, роются в обжигающей золе, пытаясь найти ценные, важные вещи. Медон уже сказал, что все отстроят заново, но Лаэрт молчит, сложив руки, глядя прямо сквозь старого советника, будто его там и нет.

В нескольких шагах от дома по склону холма снова ходят плакальщицы: пришли считать тела мертвых.

Им нужно будет снять доспехи с дюжины или около того мальчишек, которые лежат в грязи. Над ними кружат вороны, под ними — земля, сырая от крови. Доспехи нужно будет сложить в опрятные кучи, потом помыть и вернуть в оружейную, а потом — как подобает, обвить тела тесными саванами, закрывая многочисленные открытые раны на телах мальчиков. В живых осталось пятеро: из них один сегодня вечером умрет от ран, вызывая к Аполлону, богу врачевателей, который к нему не придет. Еще двое выживут, их раны постепенно затянутся, а один исцелится полностью — благодаря чистой удаче, ведь за него не вступалось никакое божество.

Мертвых разбойников здесь нет. Не потому, что никто не погиб — целых шестеро убиты, — но их тела забрали товарищи, выбросили в море, чтобы никто на Итаке не посмотрел слишком пристально на лица или оружие мертвых и не сказал: «Стойте, стойте, а они разве не иллирийцы?»

Приходят плакальщицы, как приходят всегда, и встают на колени на кровавую взрытую землю, чтобы выть и рвать на себе волосы и делать все остальное, что они так хорошо умеют. Из храма Артемиды пришла посмотреть

Анаит; Эгиптий и Пейсенор стоят мрачные, глядя, как уносят тела. Полибия и Эвпейта нигде не видно. Амфином опирается на копьё, он не спал всю прошлую ночь и не будет спать в эту, пока наконец усталость не переборет его и он не заснет на час, а потом не проснется с опухшими глазами и стыдом в груди.

Кенамон стоит чуть поодаль. Он смыл кровь с лица и меча. Только если присмотреться, можно увидеть ма-люсенькие алые капли на его одежде, и, когда, чуть позже сегодня, он их заметит, будет долго-долго тереть свой хитон в холодной воде, пока от них ничего не останется.

Телемах сидит сгорбившись, окровавленный, у ног деда, а старая кормилица Эвриклея завывает: «Мой бед-няжечка! Мой сладкий! Ранен, так ужасно ранен! Мой золотой мальчик!»

У него на плече действительно царапина там, где его достал кончик разбойничьего меча. Она не очень глубокая, поскольку меч не сразу вонзился в Телемаха, а сначала проскреб поверху щита, но из нее выйдет достаточно мужественный шрам, который будет напоминать всем и каждому, что он, Телемах, пролил кровь в бою. Никому не приходит в голову дерзко спросить его, как так вышло, что у него всего одна царапина, когда все остальные по-гибли. Он сын Одиссея, он остался в живых — этого до-вольно.

Пенелопа стоит в нескольких шагах, глядит на него, бледная, как паутина. Она не бежала к нему со всех ног, как Эвриклея. Наоборот, когда с первым светом зари до дворца дошли вести — битва, пожар на хуторе Лаэр-та! — она собралась медленно и вдумчиво, попросила Эос и Автоною взять потайные ножи, вызвала всех стражни-ков, на верность которых могла положиться, и выехала из дворца в лучах рассвета.

Думала ли она о сыне?

Ну конечно, с каждым шагом. С каждым стуком копыта по земле она думала о своем сыне, иногда хотела ударом пяток пустить коня вскачь, но не делала этого. Зачем спешить к тому мигу, когда увидишь своего мальчика мертвым? Зачем спешить к этому роковому мгновению: лицезреть окровавленный труп, который видела во сне каждую ночь с того самого дня, как явился первый жених? Незачем. Медленное и степенное путешествие, статное и царственное, — вот это будет правильно. Каждая минута, когда она не видит его мертвым, — это минута, когда он может еще оказаться живым. Еще один миг, когда ее сын дышит, пусть только в ее мыслях, еще одно мгновение, которое она будет лелеять в памяти, — из тех многих-многих лет, которые, как она сейчас понимает, она не лелеяла достаточно.

Добравшись до неостывшего пепелища, где люди бежали от ручья к дому, чтобы вылить на него еще воды, она огляделась в полусвете занимающегося дня, чтобы понять, осознать произошедшее, оценить количество мертвых или размах разрушений. Сначала она увидела Лаэрта, подошла, опустилась на колени у его ног и не знала, что сказать или спросить, но и он, похоже, тоже не знал, потому что просто кивнул ей, и она подумала, что это, может быть, своего рода знак прощения, обрамленный огнем.

Она не сразу нашла своего сына, который сидел с несчастным видом в высокой траве, рядом со своим окровавленным мечом, а вместо этого заметила невдалеке Кенамона. Тот просто наклонил голову и улыбнулся ей слабой улыбкой человека, забывшего радость, а потом указал ей кивком — и она видит Телемаха.

Она подходит к нему на подгибающихся ногах, спотыкается, Эос кидается к ней, чтобы подхватить под руку, поддерживает ее последние несколько шагов, и вот Пенелопа наконец стоит перед своим сыном.

— Телемах, — выдыхает она.

Он медленно поднимает голову, видит глаза матери, отводит взгляд.

Жил когда-то мальчик, который бежал к маме, когда оцарапывал коленку.

Жил когда-то ребенок, который смеялся, когда она обнимала его.

Жил когда-то юноша, который просил ее совета и ценил ее слова.

Теперь есть только окровавленный воин, сидящий на траве, который ночью видел, как погибли все его друзья, и ему нет особого дела до матери.

Ей бы сказать что-то: «Сын мой, любимый мой, мой прекрасный мальчик. Мой Телемах. Ты всё для меня». Ей бы подбежать к нему, обнять его. Но он рассердится, если она так сделает. Он скажет: «Я теперь мужчина. Я не прячусь за женщинами. Мне не нужно называться сыном женщины!»

И оттолкнет ее, и плюнет ей под ноги, и больше никогда не посмотрит ей в глаза.

Но, может быть, однажды он вспомнит, что она была там, плакала о нем, что ее любовь превосходит любую другую. Вероятно, когда-нибудь, в какой-то будущий день.

Пенелопа стоит застыв и ничего не говорит, и не двигается, и думает, что это она одна во всем виновата, и понимает, что потеряла непогибшего сына. Она открывает рот, чтобы выговорить: «Телемах. Сын мой».

Она сейчас скажет ему, что гордится им. Она скажет, что его отец бы гордился им. Он не возненавидит ее за это.

Но тут Эвриклея восклицает: «Мой золотой!» и «Ужасная рана!» — и покрывает его лоб слюнявыми поцелуями, и обнимает его, хоть он и морщится, а Пенелопа стоит и смотрит. Телемах не отзывается на заботы старой кормилицы, но и не отталкивает ее, не сопротивляется,

когда она говорит ему, что он герой, настоящий мужчина. «Ах, вот ужас-то, вот ужас, ты столько врагов перебил, правда же, и дедушку спас, спас своего дедулю, ты настоящий мужчина, настоящий мужчина, какая ужасная рана!»

Иногда мне хочется покарать Эвриклею за то, что она такая невыносимая, но если приглядеться, то в ней есть что-то общее со мной, и от этого мне неудобно; я отвожу от нее свой гнев, и мне не по себе от всего этого, но я предпочитаю не пытаться понять почему.

Пенелопа выдыхает, и во все дальнейшие годы она будет порой удивляться тому, что еще дышит.

Вот наша картина.

Телемах, сидящий на земле, и причитающая над ним Эвриклея.

Женщины Итаки, уносящие тела его друзей.

Египтий и Пейсенор, застывшие в молчании своего провала.

Сгоревший хутор отца царя Итаки.

Лаэрт, молча сидящий на своем табурете, будто на троне Зевса, спиной к пеплу своей старости.

Кенамон, стоящий поодаль.

Амфином, стоящий поближе.

Пенелопа посреди всего этого — ветер дергает ее покрывало, прячет слезы в ее глазах от взгляда мужчин.

Все бы так и оставалось — я уверена, что ни мать, ни кормилица не смогли бы заставить Телемаха или Лаэрта сдвинуться с места, — но тут появляется другая. Электра, верхом, по обе стороны от нее микенские воины. Она оглядывает пепелище, чувствует в воздухе запах крови, слышит песнь плакальщиц, быстро считает тела окровавленных мальчиков, которые грузят в тележку, запряженную ослом, видит Телемаха, колеблется, потом приближается к нему.

Она проходит мимо Пенелопы, мрачно смотрит на Эвриклею, и та отползает, съежившись, под ее взглядом; потом Электра опускается на колени перед молчащим раненым мальчиком и берет его руки в свои.

— Телемах, — говорит она громко, в ее голосе ни следа доброты, ни отсвета сочувствия. Он медленно поднимает глаза на нее. На ее лице две линии, проведенные пеплом, словно оно разбито пополам. Она сделала это в память об отце, но сегодня, вероятно, и в память об Итаке.

— Мечь, — говорит она.

Он моргает, как будто это слово на незнакомом ему языке; а за спиной у царевны застывает Пенелопа.

— Мечь, — повторяет Электра, сжимая его ладони. И снова: — Мечь.

Он кивает, медленно поднимается, морщась от боли по всему телу, — позже, когда снимет доспехи, он обнаружит, что по всей груди и рукам у него синяки: в его тело впечатался металл, отбивавший удары металла. Она улыбается короткой мерцающей улыбкой, а потом вдруг обнимает его, крепко держит, отпускает. Его кровь пачкает ее молочную кожу, и она довольна.

— Мечь, — выдыхает он, и Электра улыбается так, будто увидела в нем своего.



ГЛАВА 34

Лаэрта приводят во дворец, в его прежние покои. Он нюхает воздух и говорит:

— Тут кто-то спал!

— Орест, царевич Микен, — отвечает Пенелопа, опустив голову, как всегда в разговоре со свекром.

— М-м-м. — Он хотел было устроить шум, ему так хотелось вдоволь попортить жизнь всем окружающим, чтобы всем было так же погано, как ему самому; но Орест, сын Агамемнона... Даже Лаэрту приходится признать, что это, вероятно, приемлемо, хоть и едва. В наше-то время.

Женихи собрались перед воротами дворца. Они вроде как пришли выказать уважение, но на самом деле большинство их думает: опять траур? Еще несколько дней без веселого пира, под взглядами Электры и Пенелопы из-под измазанных пеплом век?

Андремон стоит позади, и, когда Пенелопа проезжает мимо него на своей серой кобыле, он смотрит на нее, приподняв брови, будто спрашивает: «Ну что, не хватит с тебя?»

Она не смотрит на него.

Электра стоит у двери покоев Пенелопы.

— Разбойники, Пенелопа? — бросает она.

В ее устах это звучит как нравственное уродство или заразная болезнь, принесенная из дома свиданий. В голосе слышится намек: попробуй кто поразбойничать в ее царстве — она бы съела их на ужин. Атриды всегда выказывали некоторую слабость к блюдам высокой кухни из человеческой плоти.

— Разбойники, — отвечает Пенелопа и более ничего говорить не хочет.

Когда Телемах, окровавленный, но на ногах, проходит через молчаливые улицы города, никто не встречает его приветственными кличами. У ворот дворца к нему подходит Амфином, пытается говорить какие-то слова утешения, те, которыми обмениваются воины:

— Телемах, я...

Но юноша смотрит на него так, что даже Амфином отшатывается и закрывает рот.

— Сейчас тебя искупаем, умастим маслом, моя радость! — кричит пронзительно Эвриклея. — Горячую воду, несите горячую воду!

Служанки ввосьмером почти час наполняют горячей водой ванну, которую Эвриклея сама приволокла по каменному полу, и каждое мгновение этого часа она верещит и визжит, что они слишком медленно, слишком медленно это делают, бестолковые девчонки!

Когда в ванну выливается последнее ведро, в бане появляется Пенелопа и говорит:

— Я сама все сделаю.

Эвриклея надувает губы, упирает руки в бока, но уже знает, что с хозяйкой дома не надо спорить. И тут Телемах поднимает голову и впервые что-то произносит.

— Нет.

На его лице мелкие брызги крови, как точки на утином яйце. Это кровь из сердца человека, которого Кенамон убил своим первым копьем, но было так темно и непонятно и в голове у него стоит такой гам, что Телемах не знает, чья это кровь и не его ли она собственная.

— Телемах, — начинает Пенелопа, — ты ранен. Дай мне помыть тебя и обработать твои раны.

Он медленно поднимается с края исходящей паром ванны, выпрямляется, кривя лицо от боли, и рычит, почти орет:

— Мне мама не нужна!

Пенелопа отшатывается, впервые за много лет чувствует, как горят ее щеки, как горят глаза, и даже она не в состоянии это скрыть. Даже Эвриклея внезапно поняла, что гораздо лучше быть крошечной, серой и невидимой. Телемах снова садится на край ванны, опустив голову.

От двери слышится покашливание. Там стоит Электра: волосы убраны от лица, руки оголены, кулаки сжаты.

— Я помогу тебе снять доспехи, брат, — говорит она просто, и Телемах смотрит на нее мгновение, почти не понимая, а потом устало кивает. Электра подходит, проводит ладонью по испачканной кровью бронзе, поворачивает туда-сюда его подбородок, будто проверяет, нет ли еще повреждений, смазывает несколько алых капель кончиками пальцев по его шее. Бросает взгляд на старших женщин у двери.

— Спасибо, — говорит она. — Я пошлю за вами, если понадобится помощь.

Эвриклея хватается ума немедленно исчезнуть.

Пенелопа стоит на месте, как дерево, пораженное молнией, покачиваясь на ледяном штормовом ветру. Если она моргнет, из глаз может политься глупая вода, поэтому она не моргает, не двигается. Электра снова бросает на нее взгляд, как будто удивлена, что она там все еще стоит.

— Спасибо, — повторяет она. — Я пошлю за тобой.

Я беру Пенелопу за руку. «Пойдем, — шепчу я. — Пойдем. Обопрись на меня».

Она не знает, отворачиваясь от сына, что это я веду ее от двери, подхватываю, чтобы она не упала, стираю слезы с глаз, чтобы никто не увидел на ее лице чувств, которых не положено испытывать царице.

«Никакой слабости, — шепчу я. — Никаких слез. Только ты сама можешь распрямить спину».

Она спотыкается, хватается за живот, ахает, резко вдыхает воздух.

Потом медленно выпрямляется.

Выдыхает вместе с воздухом неразумие из груди.

Стоит как скала.

Я последний раз сжимаю ее руку, потом отпускаю.



Пенелопа не присутствует на вечернем пиру.

Нет на нем и Телемаха, и Электры.

Вместо этого, ко всеобщему удивлению, в зал медленно спускается Лаэрт и занимает то самое кресло, которое держат пустым для его сына: искривляется в нем, тело согнуто вправо, ноги вытянуты влево, будто ему неудобно сидеть прямо. Он мрачно глядит на собравшихся женихов, которые замолкли при его приближении, а потом рывкает:

— Ну, чего не едите, псы? — и хватает кость с блюда у ближайшей служанки. Он жует с открытым ртом, ухмыляясь, перемалывая красное мясо в серую кашу желтыми зубами, и женихи медленно, наклонив головы, начинают есть.

Андремона среди них нет, Амфинома — тоже.

Антиной шепчет:

— Я слышал, они даже не сопротивлялись. Говорят, ни одного иллирийца не убили!

Эвримах бормочет:

— Некоторые из тех, кто погиб, — наши друзья, Антиной, слуги наших отцов...

Антиной фыркает в свою миску.

— Думаешь, мой отец отправил бы кого-то действительно ценного умирать в это несчастное ополчение? Погибли только калеки и недоумки.

— Антиной! — голос Лаэрта разносится по залу, заставляя их замолчать. — Ты, кажется, говоришь что-то важное. Так расскажи это всем!

В другой жизни Лаэрт стал бы поистине жутким учителем для щенков Итаки. Антиной неискренне улыбается — задумывалась дружелюбная улыбка, а получается дрожание губ и языка — и поднимает руки:

— Нет-нет, вовсе нет! Просто... отдаю честь героически погибшим.

— Ясное дело, — хихикает Лаэрт. — Очень на тебя похоже.

Кенамон нахмутив брови сидит поодаль от остальных. Его обычное дружелюбное любопытство сегодня сменилось молчанием, которое остальные не решаются нарушать.

Луна начинает истончаться, и семь женщин встречаются тайне рядом с черным пеплом хутора Лаэрта.

— Они напали на моего свекра! Они напали на царя Итаки!

Пенелопа не повышала голоса уже... она не помнит, когда это было последний раз. Не пристало царице кричать, или топтать ногой, или вышагивать туда-сюда так, что волосы развеваются в дымном воздухе, но сегодня ее видят только женщины. Так что она воздевает руки к небесам и рычит:

— Они напали на Лаэрта! Они убили мальчиков — мальчиков! Детей в бронзовой одежде! Мой сын... они могли... Как они посмели? Как они посмели?!

Афина смотрит на них тоже. Я вижу, как сверкает ее копье на опушке леса, чувствую в наполненном пеплом воздухе запах ее самодовольства. Она смотрит на Пенелопу и, может быть, впервые видит в глазах царицы что-то, до чего ей есть дело. Пламя, ярость. Что-то подобное войне. Афина раньше не смотрела на жену Одиссея. И я не знаю, довольна ли тем, что она смотрит на нее теперь.

Женщины ее совета учтиво стоят молча, а Пенелопа шагает туда-сюда, проклинает, ругается и снова шагает, выпуская в прохладную темноту ночи скопившийся за день огонь. Приена стоит вооруженная, положив руку на рукоятку меча, как будто ждет, что налетчики явятся снова, вот-вот выползут из моря — она была бы рада. Она наблюдала за ними из лесной темноты и да, о да, теперь знает их, чует их запах раздутыми ноздрями. Теодора стоит рядом: в руке лук, на поясе колчан. Мозоли на сгибах ее пальцев полопались и теперь зарастают новой кожей, теплой и толстой. У Семелы при себе охотничий нож, что вполне приемлемо для женщины, обрабатывающей эти непростые земли, — не столько оружие, сколько неожиданно острый инструмент, смотря кого спросить. У Эос и Урании оружие спрятано, как и подобает женщинам дворца. Только Анаит не вооружена. Может быть, она думает, что ее, когда все начнется, защитит Артемида.

Мысль об Артемиде пробегает по мне как олень, неприятно топоча по сердцу. Мне придется как-то решить вопрос со своей падчерицей, и не мешкая, до новолуния. Афина, Тартар ее побери, тут права.

— Что угодно он мог сделать, куда угодно отправить их, но сюда?! Это нарушает все законы, все установления

благородства, он ест мою еду, пьет мое вино, он... Как он смеет?!

Перед советом мужчин у Пенелопы нет возможности задавать такие вопросы. Ответы, конечно же, очевидны, но она задает вопросы не потому, что не знает на них ответы. Она восклицает их, как часто делают женщины, пытаюсь постичь те заносчивость, самоуверенность, жизнерадостную убежденность в том, что тебе все должны, что царит среди мужчин за ее столом. Это ощущение так давно вырвано у женщин, что, хоть они и видят своими глазами все приметы, говорящие им: вот, смотрите, это правда, — в глубине души они все равно верят в это с трудом. Я однажды почувствовала себя так, когда Зевс держал меня за загривок, заскучав с моими сестрами, его прошлыми женами. Я знала, что он делает со мной, понимала по его взгляду, что он думал, будто берет то, что ему причитается, совершает нечто логичное и уместное, и все же до сего дня часть меня все равно не может этого понять. Я вижу это выражение в его глазах, когда он смотрит на женщин, и понимаю, что царем среди богов делает его не молния, которой он управляет, а то, что он сам верит в свое превосходство.

— Любопытно, что они пришли за Лаэртом, — говорит наконец Приена, которой, вероятно, надоела ярость Пенелопы. — Это смело.

В ее голосе отзвук восхищения. Противостояние усилилось, и ей приятно осознавать, что разбойники, которых она будет убивать, — на самом деле воины, достойные ее внимания, а не просто какие-то греческие твари. В этом есть нечто от чести — странное слово, которое, как она думала, оставлено в прошлом, но теперь оно начинает просвечивать на горизонте ее памяти.

— Андремон, — рычит Пенелопа, швыряя это имя наземь как проклятье. — Он пытается навязаться мне

в мужья, похитить отца Одиссея! Его отца — какая наглость, какая...

— И ему почти удалось. — До нее доносится голос Приены, и я вижу, как на лице Афины мерцает улыбка, улыбка стратега, наблюдающего за тем, как кто-то другой строит военные замыслы. — Лаэрту повезло, что он успел проснуться и убежать.

Эй! Повезло?! Я тебе покажу «повезло», нахалка, я...

Анаит прокашливается — может быть, она и вправду хорошая жрица и чувствует в воздухе отзвук божественного неудовольствия.

— Повезло. Или это благословение богов.

Я слегка успокаиваюсь, противясь желанию наслать на голую шею Приены насекомых, чтобы они искушали ее и отложили там свои набухшие желтые яйца.

— Неужели мы ничего не можем сделать с Андремоном? — задумчиво спрашивает Урания. — Есть ведь способы его... опрятно убрать.

— Ты предлагаешь мне разделаться с одним из моих гостей? — резко спрашивает Пенелопа, все еще скалясь даже на тех, кого любит. Урания поджимает губы, тщательно обдумывая богохульную мысль. Пенелопа отгоняет ее, недовольно хмурясь.

— Даже если я отделаюсь от Андремона потихоньку, остальные все равно не поверят, что я ни при чем. Даже если один из них возьмет и сам прыгнет с утеса, они все равно обвинят в этом меня. Скажут, что это я его довела своими каверзами. Нам придется разобраться с Андремоном иначе. Доказать всем, что он нарушил законы гостеприимства, чтобы его можно было уничтожить и в глазах всех это было праведно.

— А, ну, подумаешь, какая малость, — вздыхает Урания.

— Где Леанира? — спрашивает Пенелопа, поворачиваясь к Эос.

— Все еще во дворце. Она работает и ничего не говорит.
— Она разговаривает с Андремоном?
— Он говорил с ней накоротке вчера вечером, но если она с ним встречалась с тех пор, то этого никто не видел.

Короткий кивок; с этим разбираться потом.

— Когда женщины будут готовы? — Пенелопа поворачивается к Приене, которая смотрит на луну, будто ищет у нее ответа.

— У них хорошо получается, — отвечает она наконец. — Лучше, чем я ожидала. Нам придется тщательно выбрать место. Вчера ночью твое детское ополчение было раскидано в пяти разных местах по всему острову и было совершенно неспособно собраться вместе на бой, не то что победить в нем. До сих пор все бои велись на условиях Андремона. Следующий будет на моих.

— И как ты это собираешься устроить?

— Ну ясно же как, — отвечает та. — Мы заманим его в ловушку.

Наступает неловкое молчание. Потом Урания бормочет:

— Телемах...

— Нет. — Голос Пенелопы как хлыст, и, хотя Урания морщится, она пробует снова.

— Стало ясно, что Андремон готов похищать или убивать родичей Одиссея. Если бы мы могли сделать так, что Телемах оказался бы в определенное время в определенном месте...

— Мы не станем ставить под угрозу жизнь моего сына!

— Он знает об этом? О нас? — предельно небрежно спрашивает Приена.

— Нет.

— А ему стоит знать?

Пенелопа неровно выдыхает.

— Его друзья погибли. Его хваленое ополчение разгромлено. Его доблесть... подвергнута сомнению. Кто

из вас пойдет к моему сыну и расскажет ему, что тайное собрание женщин вознамерилось сделать то, чего он, сын Одиссея, сделать не смог?

Приена поднимает было руку, но ее тянет вниз Теодора. Пенелопа мрачно осматривает круг своих приближенных.

— Мой сын должен быть самостоятельным мужчиной. Я это знаю. Но до тех пор, пока он не сможет защитить себя, я буду защищать его сама, даже если он меня за это возненавидит. Понимаете?

Они кивают, бормочут что-то утвердительное. Наконец Урания говорит:

— А если Андремон захочет тебя похитить?

В вопросе нет никакой злобы, просто вежливое уточнение стратегии. В его прямоте есть даже облегчение, словно выдох, словно лопнуло гудящее напряжение. Пенелопа думает о нем минуту, потом качает головой.

— Нет. Если мы что и поняли на примере моей сестры Елены, так это то, что похищение царицы приводит к одним только осложнениям.

— А Клитемнестра? — спрашивает Семела. Все смотрят на нее.

— Будет неразумно дать Андремону узнать, что царица у нас, — бормочет Урания. — Чем быстрее мы удалим ее с Итаки, тем лучше.

— Теперь, когда его разбойники ушли, по крайней мере, некоторое время воды будут достаточно безопасны, — говорит Пенелопа. — Урания, я хочу, чтобы ты устроила отбытие моей сестры.

— Ты не отдашь ее Оресту? — спрашивает Анаит.

— Нет. Политически это было бы мудрее всего. Но мысль о том, что он будет убивать свою мать на моем острове, я нахожу особенно отвратительной. Ее грехи велики, но преступление ее нельзя назвать... беспричинным. У меня нет

сомнений, что моя сестра устроит шум где-то еще, привлечет к себе внимание. Она никогда не была скромной. Но меня там не будет, и это будет не моя вина.

«Прекрасная царица, — шепчу я, глядя Пенелопу по щеке. — Ты тоже можешь быть моей любимой. Вся моя власть будет твоей, и ты будешь моей, благословленной богами».

Наконец Урания произносит:

— Ну, если мы не можем использовать кого-то в качестве наживки для Андремона, то придется искать что-то другое.

Пенелопа вздыхает.

— Я поработаю над этим. А ты, Приена, пока подыщи хорошее место для боя.

Воительница кивает, уходит, Теодора — за ней. Я вижу, что Афина смотрит на удаляющихся женщин, чувствую, как она запускает руку в их головы, роется в их снах. Потом ощущаю какой-то зуд на затылке, словно жужжащее насекомое, которого не могу прихлопнуть, словно в зубах что-то застряло и я не могу это смыть. Поворачиваюсь в поиске источника этого неприятного ощущения и, к своему неудовольствию, вижу, что Анаит молится Артемиде, сложив руки и закрыв глаза. Это, как ни противно, очень искренняя молитва, и она царапает меня и заставляет скрипеть зубами.

На краю поля сгибаются деревья, шелестят листья. Я снова ищу глазами Афины, но она исчезла, снова оставила меня делать грязную работу. Я машу ей вслед кулаком, и от моего неудовольствия зарождаются холодный ветер, ледяная морось, падающая маленьким, но подчеркнутым кружком вокруг Анаит и собравшихся женщин.

STONE HEDGE



На Итаке идут дни.

Полибий распахивает дверь в зал совета, а за ним, чуть менее драматично, плетется хвостом его сын Эвримах.

— Вы не можете просто так ворваться, пока мы... — начинает Эгиптий, но Полибий перебивает его:

— Почему микенцы все еще здесь? — яростно спрашивает он. — Почему они все еще обыскивают наши корабли?

В своем привычном углу Пенелопа не поднимает глаз от ниток. Автоноя играет ноту на лире. Звук высокий, чуть излишне звонкий и не заканчивает ту мелодию, которую она как бы пытается подобрать.

— Орест уплыл искать мать... — начинает Медон, но снова Полибий не хочет слушать.

— Орест уехал, но люди его сумасшедшей сестры все равно осматривают все корабли, которые заходят в гавань

и уходят из нее, неважно, откуда они! Я целыми днями слушаю жалобы, а сегодня утром они не давали отплыть одному из подданных Нестора, пока не обыскали его корабль с носа до кормы! Я только и делаю, что униженно извиняюсь за ваши ошибки, и мне надоело!

Телемаха нет на совете. Его почти не видели в эти последние пять дней, и если бы Автоноя не увидела, как он бредет к хутору Эвмея — рука на перевязи, на поясе меч, — то Пенелопа сочла бы, что ее сына поглотила земля. Может, и хорошо, что его сегодня нет: значит, нынче никто не будет кричать, пока не закончит кричать Полибий.

Пейсенор стоит молчаливый, посеревший и слушает крики старика. Медон ждет. Египций раздувается от возмущения, но не отвечает. Автоноя ищет следующую ноту, и она звучит, совершенно случайно, как чудной знак препинания, каждый раз, когда Полибий останавливается, чтобы перевести дух, и в конце концов он оборачивается к ней и орет:

— Прекрати блямкать!

В тишине Автоноя поднимает бровь, но не отвечает. Пенелопа, опустив глаза, по-видимому полностью сосредоточенная на своей шерсти, говорит:

— Я нахожу звук музыки успокаивающим. Как жена своего мужа я, разумеется, должна присутствовать за него на совете, но дела, которые здесь обсуждаются, так важны и запутанны, что мне нужна умиротворяющая музыка, чтобы не кружилась голова от всех тех важных вещей, которые говорят мои советники. Например, вся эта история с микенцами представляется мне очень трудным вопросом. Кажется, что если мы не прикажем детям Агамемнона убраться вон с нашего острова — а это, без сомнения, кончится тем, что они вернутся и всех вас, меня и все наши семьи сожгут заживо, — то мои добрые советники вряд ли могут что-то сделать, кроме как ждать

и надеяться. Но я не уверена — может быть, кто-то что-нибудь придумает.

Еще одна нота, может быть, завершение аккорда; Автоноя улыбается так, будто разрешила великую музыкальную загадку.

— Конечно, пока дело обстоит таким образом, — задумчиво говорит Пенелопа, — я бесконечно благодарна тебе за то, что ты столь благородно сносишь их унижительное поведение. Мне кажется, что весь остров должен сказать тебе — и твоему сыну — спасибо за учтивость, стойкость и терпение перед лицом мощи, которая, не будь она нашим союзником, могла бы раздавить нас ногой, как ромашку.

Где-то в разуме Полибия остались островки спокойствия, и там ему вдруг приходит в голову, что он невероятно скучает по жене. Она умерла, рожая ребенка, который тоже умер к утру; а до того, как ему хотелось кричать, яриться и протестовать против несправедливости, он мог прокричаться перед ней и после этого замолчать, таким образом не выплескивать свой гнев на людей, которые, вероятно — если на миг быть честным перед самим собой — не вполне этого заслужили.

Полибий не до конца честен перед самим собой; миг разума гаснет. Теперь там, где должна быть память о женщине, которую он любил, осталась только скорбь, а скорбь неприемлема. Горе лишает его мужественности. Он никогда не посмотрит на него, не смоет прохладным бальзамом, не назовет его, не признает, так что оно будет ввинчиваться все глубже, глубже, глубже, как корень сорняка, который без пригляда превращается в дерево в почве полибиевой души. И так гибнет дух когда-то хорошего человека.

Так что он рычит:

— Женщины и глупцы! Вы и со стадом овец не управитесь, не то что с островом! — Он разворачивается и уходит.

Эвримах — за ним. Как быть мужчиной, он учился у отца и учится до сих пор. Будь его мать жива, ее опечалили бы такие уроки.

Молчание в зале совета первым нарушает Эгиптий. Он немного притих с тех пор, как сгорел хутор Лаэрта, но главная черта его характера в том, что он всегда продолжает пытаться делать дела. Счастье или катастрофа — он будет ковыряться с делами; за это его и взяли в совет.

— Почему микенцы до сих пор обыскивают наши корабли? Почему Электра все еще здесь?

Теперь очередь Пейсенора отвечать, указывать на очевидное, как обычно. Все, предчувствуя дурное, глядят на него, но он не говорит ничего, продолжая смотреть в никуда, потерявшись в собственных мыслях и позоре. Те мальчики из ополчения, кто остался жив, вернулись к занятиям. Теперь во дворе просторнее, потому что меньше людей; но Пейсенор не вернулся их учить, а Телемах не вернулся предводительствовать. Вместо этого Амфином стоит перед ними, прокашливается и говорит: «Так. Ладно. Вот. Давайте... поучимся кидать копья, что ли».

Это надо как можно скорее прекращать, что понимают и Пенелопа, и Пейсенор. Ведь так Амфином выглядит ответственным вождем, хорошим человеком, умелым воином — в общем, обладателем всех тех качеств, что пристали царю. Гораздо лучше, чтобы он снова стал пьяницей, одним из многих, никем не замеченный и не дающий повода себя замечать.

Еще несколько дней. Пенелопа даст своему сломленному военачальнику еще несколько дней.

Медон прокашливается в тишине.

— Ну, если больше никто... Ясно, что мы все думаем... Ясно, что Электра так думает.

Эгиптий ничего не говорит, и на мгновение Автоноя прерывает свою мелодию. Медон смотрит на каждого

по очереди, в его глазах зажигается неверие, и он восклицает:

— Она думает, что Клитемнестра все еще здесь! Зачем еще ей было оставаться здесь, когда брат отплыл?

— Перстень, доказательство, у нее перед глазами... — начинает Эгиптий, и Медон поднимает ладони.

— Я знаю, знаю. Это кажется глупостью. Клитемнестра сбежала. Но им надо убить кого-нибудь. Орест не может быть царем в Микенах, пока не отмщен его отец.

Медон не смотрит на Пенелопу, говоря это, но глаза Эгиптия на миг обращаются на нее. Конечно, лучше всего, чтобы Орест убил Клитемнестру, но, если не получится, сгодится ли ее двоюродная сестра, если сказать, что эта двоюродная сестра помогла ей сбежать?

Пенелопа напевает мелодию, похожую на ту, что подбирает Автоноя, словно вспоминает песню, слышанную в детстве.

Потом Эгиптий говорит:

— Надо обсудить вопрос с наемниками, — и для разнообразия все присутствующие рады перемене темы. — Ясно, что нам нужны воины, чтобы защищать архипелаг. Нападение на хутор Лаэрта доказывает это.

— Кто будет им платить?

— Да перестаньте, все же знают, что Автолик подарил Одиссею сокровища, что где-то скрыто золото...

— «Скрыто золото» — и ты туда же. Неужели ты правда думаешь...

— А как еще она платит за все? Пирь, женихи? Она сказала, что оружейная пуста, но Пейсенору удалось вооружить ополчение...

— Рыба, шерсть, масло, янтарь и олово. — Голос Пенелопы все еще как бы вплетен в мелодию служанки, словно легкий ветер шелестит в комнате. — У нас очень мало что водится в избытке, но у нас много рыбы, овец, коз

и оливковых деревьев. Конечно, их много по всей Греции, но мы еще и обрабатываем — не сырая шерсть, а тонкая нить, спряденная женщинами и превращенная в отличную пряжу, которую можно чуть дороже продать некоторым купцам из Пилоса. Не просто масло, а самое лучшее масло, легкое и благовонное, оно нравится многим богатым домам на Колхиде. Нить и масло качеством похуже мы продаем на внутреннем рынке, поскольку Итаку проще удовлетворить более простым продуктом, чем наших соседей на Большой земле. А что касается янтаря и олова — я по заоблачной цене продаю купцам сквашенную рыбу и пресную воду, которые нужны им для путешествия на юг, и покупаю у них за бесценок олово и янтарь, которые они привозят из северных лесов. Когда они плывут обратно, я иногда покупаю у них лен, золото, редкое дерево, специи, медь и благовония, которые приносят прекрасную прибыль, будучи отправленными в Спарту и Аргос. Таким образом я сполна пользуюсь морем и торговлей с востоком. Так я и кормлю женихов. Это действительно очень просто.

Все молчат. Поэтам не придет в голову петь об эротических желаниях женщин, но еще меньше — поверьте мне — им пришло бы в голову услаждать благородное собрание хоть одним аккордом, посвященным цене на рыбу. Конечно, все советники Одиссея знают, что торговля идет, но говорить о ней прилюдно? Исключено! Это то, что делают их доверенные рабы, в худшем случае — жены. Великие мужи Итаки очень заняты достойными поэзии предприятиями: например, проигрывают битвы и воруют чужих любовниц. На самом деле Пенелопа сейчас выбила их из колеи не меньше, чем если бы встала и заявила: «А еще примерно раз в месяц у меня идет кровь из причинного места, и я засмеялась, когда впервые увидела пипиську Одиссея».

Эгиптий, по-видимому, не в состоянии обработать в голове это мгновение, и он выпаливает:

— А как же сокровища Одиссея?

— Их больше нет, увы. Все потрачено.

— Как это возможно? — вскрикивает он. — За чем же, как не за сокровищами, приходят женихи?

Пенелопа моргает — дважды, трижды — и в первый раз, кажется, смотрит ему в глаза.

— Я ведь только что сказала. Потому что я продаю по заоблачной цене товары, купленные у торговцев из западных морей. Если люди хотят верить, что я кормлю женихов за счет какого-то дара двадцатилетней давности, врученного полубогом, умело ворующим коров, то пусть верят. Но, как мне кажется, я очень четко разъяснила, почему важно покупать дешевле и продавать дороже.

Автоноя не смеется. Она с годами научилась лучше подавлять свое веселье. Наконец Медон прокашливается.

— Может, нам надо... сделать перерыв, — говорит он задумчиво. — Я еще спрашиваю о микенцах, и, может быть, Пейсенор... может быть, Эгиптий смогли бы разъяснить вопрос с наемниками и насколько мы не можем их себе позволить. Да? Да. Всем спасибо.

Пейсенор уходит только тогда, когда Эгиптий трогает его за руку, побуждая двигаться.

Эгиптий бросает взгляд через плечо, а Медон продолжает стоять перед Пенелопой, улыбаясь одними губами. Он ждет, чтобы закрылась дверь, а потом поворачивается к царице и спрашивает:

— Клитемнестра на Итаке?

Автоноя выпускает из рук свою музыку. Пенелопа бросает на нее взгляд, кивает ей. Автоноя бежит к выходу, выскальзывает в галерею и становится рядом с дверью, защищая ее от глаз и ушей, которые могли бы помешать.

Эос и Пенелопа остаются и без всякого притворства смотрят прямо на Медона.

— Если бы она была здесь, — произносит наконец Пенелопа, — то явилась бы сюда без моей помощи.

Медон шипит в отчаянии и хватается за голову.

— Она здесь?!

— Я этого не сказала...

— Где она? Ты ее прячешь? Скажи мне, что она не во дворце!

— Я со всей ответственностью заявляю, что моей сестры нет во дворце.

— А Электра знает? Боги всемогущие, если она выяснит...

— Она явно что-то подозревает. Да, подозревает. Если бы она полностью поверила в историю с перстнем...

— Ну конечно, это твоя придумка, — стонет Медон, хватаясь за стол, как будто ему стало дурно. — Вся эта история с гонцами, Закифом и... Ну конечно, ты это придумала. Что ты наделала?

— Я попыталась направить их на Гирию, — вздыхает она. — И оттуда, как я надеялась, домой с пустыми руками.

— Ты же знаешь, что они не уйдут с пустыми руками! Им нужна чья-то смерть!

— Я пыталась выиграть время.

— Время для того, чтобы Электра всюду совала нос! Время для того, чтобы они решили, что Итака — их враг? Во имя Зевса, о чем ты думала?!

— Я думала, что Электра поверит, — резко отвечает она, повышая голос, потом поспешно понижает его, увидев, как взгляд Эос невольно обращается к двери, и рычит сквозь зубы: — Я думала, что они уедут, и Клитемнестра уберется, и мы вернемся к нашей обычной, родной, суровой и беспросветной действительности!

Медон качает головой, сильнее вцепляется в стол, выпрямляется, открывает рот, не может найти слов, снова оседает.

— Нас всех ждет жуткая, жуткая смерть, — заключает он.

— Спасибо, советник, за такой мудрый совет.

— Что теперь будешь делать?

— Не знаю. Я не рассчитывала, что Электра останется так надолго или что ее люди с таким воодушевлением будут исполнять свои обязанности. Я что-нибудь придумаю. Она не может остаться здесь навсегда.

Медон кивает, хотя он и не согласен: немой жест человека, который увидел неизбежность и принимает ее без удовольствия.

— А наемники?

— Наемники, — сердито хмурится Пенелопа. — Они живут для того, чтобы им платили, а не для того, чтобы драться. Лучше уж заплатить Андремону напрямую, да и все.

Медон резко выпрямляется, как будто его ударило молнией.

— Андремону?

— Что? Ах да, ты не...

— Разбойники — это люди Андремона? Ты уверена?

— Да, уверена.

— Этот... этот стервятник ест за столом Одиссея, пьет вино Одиссея, и его люди пытались похитить отца Одиссея?

— Как-то так, да.

— У тебя есть доказательства? Если ты сумеешь это доказать, мы можем казнить его прямо сейчас.

— К сожалению, у меня нет доказательств. Пока это мое слово против его слова.

Те немногие силы, что еще оставались у Медона, снова покидают его. Он выглядит бледным, почти больным, таким же серым, как Пейсенор, и по схожей причине.

— Выходи за него.

— Что?

— Выходи за него. Это единственный способ. Он хочет именно этого, а мы не в том положении, чтобы отказывать.

Пенелопа сжимает губы. Она бросает взгляд на Эос, у той нет на лице ответа, но Медон видит этот взгляд и с последним усилием бормочет:

— Что? Чего еще я не знаю?

— Ты знаешь, что из всех мужчин я доверяю тебе...

— В последний раз, когда ты это говорила, тебе был двадцать один год и ты украла один из браслетов свекрови, чтобы дать в залог за партию масла.

— И это оказалось отличное вложение, разве нет?

Медон знает Пенелопу дольше, чем знал ее собственный отец, и, если честно, может быть, испытывает к ней больше симпатии, чем ее отец.

— Что ты еще наделала? — тихо спрашивает он и не знает, какое из чувств в его груди — печаль, страх, гордость, обида, любовь — сильнее.

Долгий выдох. Потом Пенелопа говорит:

— Я не говорила тебе потому, что это могло показаться... политически неверным, если бы кто-то узнал. И может быть, в зависимости от твоих взглядов... немного святотатственным.

Он воздевает руки.

— Ну конечно! Святотатство! Чем же еще и завершить день?!

— Как ты знаешь, на востоке есть женщины, которые сражаются наравне с мужчинами...

У него отваливается челюсть так, что он слышит хруст в ушах.

— Ты что...

— Например, Пентесилея сражалась с самим Ахиллесом...

— И погибла!

— Все, кто сражался против Ахиллеса, погибали. Он же Ахиллес.

— Если цари Греции узнают, что ты намереваешься собрать войско — собрать женщин, войско из женщин! — если женихи узнают...

— Они не узнают. Никто не узнает.

— Как можно спрятать войско?

— Медон, — укоризненно тянет Пенелопа, — ну что за дурацкий вопрос. Его прячут ровно так же, как прячут свои успехи купца, свои навыки земледельца, свою мудрость в политике и свой врожденный острый ум. Его прячут под видом женщин.

Медон открывает рот, чтобы возразить, расшуметься, как чайка, клекочущая над гниющей рыбой, но он понимает, что слова ушли от него. Побежденный, он чуть не врезается в стол позади себя, а Эос встает, собирает клубки и по кивку Пенелопы идет к двери.

— Жуткая, жуткая смерть, — еле выговаривает Медон, и это его последнее слово в разговоре.

Пенелопа мягко прикасается к его руке.

— Дело идет к развязке, — произносит она без злобы и без удовольствия. — Есть дела, в которых мне по-прежнему нужна твоя помощь.



Леанира.

Она все еще здесь.

Эвриклея смотрит, как она шурует угли в кухне, готовя очередной бесконечный пир, и сердито хмурится:

— Потаскуха троянская!

Леанира слышит слова, но они пролетают у нее над головой.

Эвриклея раньше была искуснее в своих оскорблениях, у нее был дар к жестокости, которая прорезала насквозь любую девушку и проникала в самую глубину сердца. Но теперь ее слова одряхтели так же, как и ее тело, и Леанира почти не слышит ее.

Меланта наклоняется к ней — в охапке столько дров, что верхнее приходится придерживать подбородком, — и бормочет:

— Ты как?

Леанира не отвечает, смотрит, как разгораются поленья.

Потом, днем, Леанира сидит на солнце и потрошит рыбу, вонзает нож в брюхо: вжик, вжик, шмяк — падают внутренности в ведро у ее ног. Подходит Феба и говорит:

— Я слыхала, вы с царицей поругались? Расскажи мне, Расскажи, Расскажи, Расскажи, ну пожалуйста...

Леанира берет следующую рыбину: шмяк, вжик, вжик...

— Ну пожалуйста, Расскажи, ну пожалуйста, пожалуйста, я прямо вся...

Леанира разворачивается к Фебе, сжимая в руке нож, и кричит, рычит, как рычало пламя, пожирая Трою:

— Уйди! Уйди, уйди, уйди, уйди!

Леанира расставляет блюда для вечернего пира.

Эос, которая научилась у любимой царицы быть ледяной, видит ее и говорит:

— Нет, не эти. Другие. Они вчера опять напились и разбили три миски из хорошего набора.

Леанира бросает взгляд на Эос, лицо напряжено, как будто она хочет завизжать, закричать, прошептать: какая разница? В конце концов они разбивают всё.

Но Эос уже уплыла дальше, для разговоров нет места, так что Леанира покоряется и собирает расставленное.

Леанира подает мясо на пиру. Теперь, когда дым над Итакой улегся, гостям снова становится веселее. Лаэрт большую часть времени восседает у пепла своего хутора: говорит, что выстроит новый — больше, лучше и с острыми спрятанными пиками — и обнесет его высокой стеной. Он редко приходит на пир. Электра сидит у себя в покоях — говорят, молится, — а Телемаха уже много дней

никто не видел. Остались только Пенелопа и ее служанки, иногда, может быть, придет какой-нибудь советник с посережшим лицом, и голоса мужчин становятся громче, веселье — сильнее.

— Леанира, — хихикает Антиной, когда она проходит мимо, — я слышал, Андремон тебя прогнал и ты ищешь нового мужчину, чтобы он согрел твою постель. Я могу сжалиться над тобой, если ты иссохла.

Остальные смеются, Эвримах вытирает тыльной стороной ладони жирные губы, он не знает, хорошая ли это шутка, но все равно смеется, потому что смеются остальные. Леанира идет мимо, не проронив ни слова, и кто-то вытягивает руку, хватая ее за задницу, сжимает, и все смеются еще громче, когда она вырывается и уходит.

Андремон вернулся на пир, и он ни разу еще не посмотрел на Леаниру: уставился на Пенелопу, как будто может покорить ее себе мрачным взглядом, рукой сжимает камешек — подвеску на шее. Остальные заметили это и собираются вокруг него, бьют кулаками по столам и выкрикивают его имя.

— Андремон хочет убить Пенелопу взглядом! — верещит Нис. — Он решил раздеть ее глазами!

Пенелопа сидит у своего станка, ткет саван Лаэрта и не поднимает глаз. Мужчины топают ногами и выкликают:

— Анд-ре-мон! Анд-ре-мон! Анд-ре-мон!

Но он не отводит взгляда, а она не поднимает головы и не скидывает внезапно с себя одежды, так что они гогочут в приступе веселья, а потом, заскучав, возвращаются на места.

Кенамон сидит отдельно, и, когда мимо проходит Автоноя, он шепотом спрашивает:

— Телемах здесь?

Вопрос удивляет служанку, она приостанавливается и действительно обдумывает ответ.

— Он вернулся с... отдыха сегодня днем, а сейчас молится.

Телемах сидит наверху, в своих покоях, смотрит на море и совершенно не молится. Он смотрит, как выходит в море какой-то корабль, летит по волнам, подгоняемый силой гребцов и попутным ветром, и тихонько ахает, и это не нравится мне. Я присматриваюсь, потом краем глаза замечаю проклятую сову. Она сидит на стене снаружи дворца и, когда я подхожу к Телемаху, открывает клюв: «ух», чтоб тебя, «ух». «Ух, я тебя вижу, ух».

Миг я смотрю прямо ей в глаза: «Ну, давай, ухни мне еще разочек» — но потом чувствую, как наш договор шевелится внутри меня, разгорается в душе. Ее глаза устремлены на сына Одиссея, будто она готова выпить его до капли, и я, вздрогнув, отворачиваюсь.



У меня есть дело, которое я слишком давно откладывала.

С некоторым отвращением я облачаюсь в свой самый нелюбимый хитон и самые нелюбимые золотые сандалии и ловлю ветер, который сгибает верхушки деревьев.

Вон там, внизу, роща, где купается Артемида.

Рощ, где купается Артемида, много, но эта ей особенно нравится, потому что в ней мягкие травянистые берега, которые греет теплое вечернее солнце, и гладкие камни в воде, на которых можно красиво сидеть, опустив ноги в прохладную бегущую воду. Есть здесь и водопад, и неглубокая котловина, а за ней сверкает и сияет сапфировая пещера, а рядом логово медведицы с медвежатами, которая порвет всякого, кто приблизится, будь то человек или животное, — это веселит Артемиду, а мне от ее веселья не по себе. «Смотри! — пронзительно воскликнет она. — Смотри, какие у них мягкие внутренности!»

Я спускаюсь на облаке, чтобы не попасться медведям, и, приближаясь по росистой траве, слышу, как кто-то медленно натягивает лук — это одна из ее охранниц взялась за тетиву.

— Кыш, — рывкаю я на нее, и мгновение она просто моргает, по-видимому, не боясь царицы богов, а потом медленно опускает оружие. Когда я подхожу к котловине, остальные женщины Артемиды оглядывают меня. Их больше дюжины, некоторые вооружены луками, у других на поясах ножи, а в зубах — алое мясо. Они жуткие, но я должна признать, что у моей падчерицы отменный вкус: все они светловолосы, их локоны вымыты и великолепно заплетены, а почти неодетые и очень мускулистые тела умащены маслом.

Обойдя обросший мхом камень у края воды, я смотрю вниз и вижу богиню охоты собственной персоной, лежащую в воде на спине, а рядом с ней дева... Давайте из соображений приличия скажем, что она расчесывает Артемиде волосы.

— А еще погромче ты не могла топать? — спрашивает моя падчерица, когда я подхожу к берегу. — Я тебя услышала за десять стадиев.

— Я не хотела тебя напугать, — отвечаю резко. — Учтивая, как опасно тебя пугать.

Она, довольная, вздыхает, глаза ее закрыты, а волосы цвета осенних листьев плавают по воде вокруг головы.

Я пытаюсь смотреть ей только в лицо, но меня очень сильно отвлекает деятельность ее девы, и я выпаливаю:

— Ты не могла бы одеться? Это все, конечно, очень... но как твои женщины не мерзнут?

— Они бегают обнаженные по зимнему снегу, — отвечает Артемида. — Они бегут, пока их щеки не начинают пылать, а сердце — колотиться в висках, а потом падают друг другу в объятия вокруг костра, обнимая плоть своей плотью...

— Да, спасибо, я поняла.

Она вздыхает, мановением руки отсылает деву, которая была так занята, и открывает глаза. На мгновение кажется удивленной при виде меня, а потом говорит:

— Ничего себе ты старая!

Я делаю глубокий вздох.

— Ты давно не радовала нас своим присутствием на Олимпе, падчерица. Твой отец скучает по тебе.

Она медленно поднимается из воды, не делая никаких усилий к тому, чтобы прикрыться, жестом показывает своим служанкам, чтобы они отошли и дали нам поговорить наедине.

— Ничего он не скучает. Он скучает по моему брату, у них сходные вкусы во... многих вещах.

— Хорошо. Он не скучает по тебе.

— И ты не скучаешь, — добавляет она.

— Я... Все не так просто, как тебе кажется, падчерица. Я признаю: мы не всегда с тобой согласны...

Она фыркает, начинает отжимать волосы. Вода течет по ее спине, по впадинке между ягодицами. Артемида совсем не соответствует расхожему представлению о женственности: у нее очень смуглая кожа из-за того, что она много времени проводит на солнце, чересчур сильные ноги, излишне широкие бедра, маленькие груди и мощные плечи. Она может, если захочет, притвориться мальчиком и отправиться срывать вредными замечаниями церемонии своего брата Аполлона или подбадривать бегунов на Летних играх, не боясь, что кто-то опознает в ней женщину. И все же в ее силе есть несомненная красота, а гибким движениям может позавидовать сама Афродита.

— И все же мы обе богини, — продолжаю я сквозь стиснутые зубы. — Нас тем не менее что-то связывает, правда?

— Да? — отвечает Артемида. — Я не замечала.

Я бросаю взгляд на небо. Облаков на нем нет, но даже Зевс не решится так просто заглядывать в священную рощу Артемиды. Конечно, даже в гневе она не бросит ему вызов, но, честное слово, эту девчонку лучше не злить. Она заставляет платить тех мужчин, кто посмотрел не в ту сторону. Поэтому еле слышным шепотом я храбро говорю:

— Ведь мы обе презираем власть мужчин, правда?

Она смотрит на меня и в этот раз, вероятно, видит не только мое лицо, мои руки, то, как неудобно мне стоять на берегу пруда. Она выпрямляется, закручивает волосы на затылке, я вижу мышцу, которая спускается от ее толстой шеи к плечам.

— Чего ты хочешь, старая царица?

Я медленно, осторожно выдыхаю.

— У меня есть задумка, которая может тебе понравиться.

Взмахом руки она отбрасывает эту мысль.

— Мне нет дела до твоих каверз. Что бы это ни было, я уверена: мне будет скучно.

— Есть некий остров, на который нападают мужчины. Они приходят каждое полнолуние. Однажды попытались похитить отца царя этого острова. Они делают это не ради золота и не ради выкупа, а для того, чтобы некая женщина вышла замуж за мужчину, за которого она выходить не хочет.

— И что? Надо просто убить этого мужчину, и все.

— Этот мужчина — ее гость.

Артемиды фыркает. Она понимает священные законы гостеприимства и даже сама не станет их нарушать, но, как и многие другие законы людей и богов, находит их скучными. Они дурацкие и нудные, и она не хочет тратить на них свое время.

— Ну и что? Я-то тут при чем?

— Эта женщина придумала довольно своеобразное решение.

Артемиды моргает, глядя на меня непонимающим взглядом дерева. Она умеет стоять неподвижно и притворяться тупой очень долго, если захочет; неподвижность — это дар охотника. Мне очень хочется отчитать ее, отругать за то, что ведет себя как ребенок, но это ее роща, а она мне нужна. Сжался надо мной, небо, но она мне нужна.

— В роще рядом с твоим храмом она попросила воительницу с востока научить своих женщин сражаться.

Снова Артемиды моргает. Но теперь мне кажется, что, хотя тело стоит рядом со мной, разум ее где-то в другом месте: залетает в ее храмы, как запах сосновой хвои. Потом она распахивает глаза и спрашивает:

— Это на Итаке?

Мне хочется сглотнуть, но я удерживаюсь. Мои щеки не покраснеют, мои веки не будут дрожать, если только я не захочу. Артемиды выпрямляется, расправляет плечи.

— Это на Итаке? — повторяет она, и в голосе вскипает возмущение. — В полнолуние там был пир в мою честь, и все женщины собрались, танцы были ужасные, но хотя еда вкусная. Жрица молилась о силе, с копьем и луком в руке, а в ночном лесу я слышала звук летящих стрел, но эти стрелы не поразили добычи. Что ты делала в моем лесу, старуха?

На мгновение она кажется выше, шире в плечах. Вот она, кровожадная лучница: язык — алый, в глазах — кровь. Я думаю о том, чтобы встать с ней вровень, осветить эту рощицу всей силой своего сияния, — но нет. Как это ни противно, я должна оставаться заговорщицей, а не царицей. Так что я стою спокойно, замерев под ее взглядом, и просто отвечаю:

— Да, это на Итаке.

— Женщины с луками? В моем лесу? И не принесли мне крови?

Смертных ее ярость уже давно обратила бы в бессловесных зверей: зайцев или дрожащих белок. Я встречаю лицом к лицу полную силу ее гнева, он горячий, но я позволяю ему омыть себя, как воде реки.

— А ты пришла бы, если бы они тебя позвали, — вежливо спрашиваю я, — или слишком занята... мытьем головы?

Кажется, я зашла слишком далеко, и ее злоба сейчас разбудит даже ленивых увальней Олимпа. Так что я добавляю:

— Смотри: все очень просто. Там женщины, вооруженные луками и копьями, и они готовы убивать во имя твое, но, чтобы остаться в живых и добиться успеха, им нужно твое благословение. Не мое. Не Афины. Им нужна Охотница.

Из глаз Артемиды медленно уходит алый огонь. Она делает шаг назад и, кажется, уменьшается, снова становится женщиной и поправляет волосы, как будто ничто в мире ее не тревожит.

— Говоришь, они собираются убивать мужчин? — спрашивает она голосом, легким, как у певчей птички.

— Да.

— Разбойников?

— Да, воинов, осаждавших Трою, которые пришли грабить берега Итаки.

— Чтобы заставить эту царицу, как ее там?

— Пенелопа.

— Ах да, ее еще утки любят. Чтобы заставить ее выйти замуж?

— Примерно так.

Артемиды поджимает губы. Я жду. Охотница не любит, когда с ней не делятся добычей, но еще больше ей не нравятся свадьбы.

— И ты предлагаешь, чтобы женщины убивали их? Пробивали им стрелами глаза, вырывали сердца, сдирали с них кожу и так далее?

— Насчет сдирания кожи я не уверена, но в общем и целом — да.

Она снова замолкает и смотрит на меня моргая, и у нее такой взгляд, который, не будь я сдержанной богиней, могла бы прочитать как: «Да ты что, дорогая мачеха, ведь это же самое лучшее!».

— Что по этому поводу думает Афина? — спрашивает она, оставляя в покое свою косу, и садится на траву рядом со мной, подтянув колени к груди, обхватив ноги, настолько же изящная в беседе, как медведь на аристократическом пиру.

— Она знает, но не вмешивается. Ее главная задача — вернуть домой Одиссея. Если Посейдон выяснит, что она помогает еще и Пенелопе с Телемахом, то скажет, что она вышла за пределы дозволенного, и никогда не отпустит Одиссея с острова Калипсо. Ей нужно быть осмотрительной, и она предложила мне поговорить с тобой.

— Наверняка ее это очень злит, — хихикает Артемида, — что пришлось обращаться за помощью ко мне. Ты знала, что однажды она попыталась погладить меня по голове? У ее пальца был вкус фенхеля.

— Она знает, что ты имеешь власть, что ты защитница... — начинаю я, но Артемида отмахивается от моих слов.

— Я не люблю разговаривать. Но мне нравится, когда Афина выглядит дурой. А ты? Тебе это зачем?

— Это мое дело.

Она делает неприличный звук, и я щетинюсь, снова думаю о громе и воздаянии, но ее ничто не тревожит, вся власть мира сейчас в ее руках, и она об этом знает. Я устало вздыхаю.

— В Греции три царицы. Думаю, что после них не будет больше знаменитых правительниц.

Артемиды хмурится, потом ее лицо разглаживается. Мне кажется, я вижу в ее глазах что-то похожее на жалость, и мы снова сестры, восстающие против тирании Зевса.

— О царица богов, — выдыхает она, — я ведь помню тебя. Когда-то ты была могучей. До того, как поэмы были переиначены по приказу Зевса, до того, как прошлое стало... человеческими придумками. Я помню, как ты шествовала вместе с Табити и Иннаной и мир дрожал под твоими ногами, а смертные поднимали взгляды от своих пещер, расписав руки охрой и кровью, и зывали: «Мать, Мать, Мать». Ты могла обрушить небо на своих врагов и повелеть расступиться морям ради тех, кого любила. Но ты поверила Зевсу, поклялась, что твой брат никогда не предаст тебя. А теперь посмотри на себя: прячешься от небесного взора, чтобы он не увидел следы, которые ты оставляешь на земле.

Мой стыд как боль в животе, как тяжесть моего брата, прижимающего меня к постели, как ожоги и шрамы, которые оставили слезы на моих щеках. Я сама решаю, когда мне выпрямить спину, но это становится тяжело, так тяжело.

— Я... — выговариваю, кое-как подыскивая слова. — Я... Никто из мужчин не должен уйти живым. Ни один из них не должен живым уйти с Итаки. Если станет известно, что женщины Итаки защищают свой остров, то им больше нечего будет защищать. Ты... ты pomoжешь мне?

Она мгновение думает, потом кивает и встает.

Мой стыд — это мир без дружбы, жизнь без доверия.

Я никогда снова не поверю, не полюблю никакое существо, которое не принадлежит мне. И все же сейчас моя

падчерица, которую я ненавижу, берет мою руку в свои и улыбается, и мне приходит в голову, что охотнику, вероятно, известно милосердие, когда он целится, чтобы убить жертву одним-единственным метким выстрелом.

— И оденься, пожалуйста, — добавляю я в тишине, повисшей между нами.

Артемида надувает щеки, высовывает язык, и я понимаю, что она будет сражаться, когда луна вновь взойдет над Итакой.



Ну что ж, посмотрим на изменчивое море. На севере, на носу своего корабля, сидит хмурый Орест, а его воины рыскают по западным островам. Они уже много дней заняты этим, недели, месяцы, преследуя его мать. Он сомневается, что они ее найдут. Он не может представить себя царем. Эта идея не выводит его из равновесия так, как выводит из равновесия всех, кто его окружает, но, поскольку он человек, желающий угождать, он молчит.

На востоке Менелай сидит, положив ноги на стол, сжимая в руке, как оружие, чашу с водой и вином, и говорит: «Кто еще поддержит меня, если, конечно, мне придется заявить свои права?» Потом он улыбается. Менелай улыбается очень-очень редко.

На юге Калипсо говорит: «Я сделаю тебя богом», и на мгновение — больше чем на мгновение — Одиссей

задумывается над этим. Потом качает головой. Что он будет за бог, если его сделает богом женщина?

А на западе Леанира идет через зал дворца царей Итаки, забирает пустую чашу со стола перед Андремоном, и он не моргает, никак не откликается на ее присутствие, не смотрит в ее сторону.

Автоноя вздыхает и говорит:

— Вот это насвинячили, придется щетками мыть, придется...

Леанира достает ведра с водой из колодца под полными звездами.

Эвриклея бормочет:

— Шалавы.

Леанира держит барана, пока Эос перерезает ему горло. Антиной кричит:

— Как продвигается саван? Наверняка ты лучше двигаешься туда-сюда под покрывалом, чем двигаешься туда-сюда челнок!

Леанира и Меланта несут ткацкий станок Пенелопы в ее покои. Леанира стирает со столов слюну пьяных мужчин, отбрасывает их руки со своих бедер, кидает в огонь сухой хворост, убирает вокруг очага золу, стирает в ручье хитоны, ловит крысу, помешивает еду, чистит рыбу, забрасывает землей выгребную яму. Она бросает кости и жирный хлеб, которые ели женихи, свиньям и собакам, чайкам и воронам, пирующим за воротами.

За стенами дворца поет Эвримах:

— И та-а-ак пала древняя Тро-о-оя-а-а...

У ворот дворца Антиной наклоняется к Амфиному и говорит:

— Никого не впечатляет твоя притворная воинственность, воин. Совсем никого.

В маленькой угловой комнатке Кенамон поднимает глаза к небу и задается вопросом, слышат ли его боги

Египта в этой чужой стране. Они слышали бы, если бы хотели слушать, хоть голос его звучал глухо и мало их занимал.

Леанира сидит у ручейка, который течет в море, а вокруг нее поют свою полночную песнь цикады. Она моет ноги и руки и никак не может избавиться от запаха дыма. Она принимает решение и гасит свой свечильник.

В темноте, ведя рукой по стене, по памяти она пробирается через дворец Одиссея. Куда она направляется? Может быть, за ножом? За оружием, чтобы убить свою боль или убить другого, кто причиняет боль?

Я иду за ней с любопытством, но она не вооружается, подобно Клитемнестре, а идет святотатственной дорогой — в покои, где спят мужчины. Только некоторые из женихов ночуют во дворце: те, кто считается самым уважаемым, те, кому некуда идти, и те, у кого на Итаке нет родственников и друзей. К Андремону все это не относится, но он выиграл место во дворце в кости у человека, который теперь принужден ночевать в городе, в том грязном доме, где раньше ночевал Андремон.

Она узнает его дверь по старому потрескавшемуся дереву, по звуку, с которым полотно скребет о каменный пол, по его запаху внутри. Он спит, а потом, почувствовав ее присутствие в комнате, просыпается, нащупывая нож у изголовья. Затем моргает, видит ее очертания на фоне темноты и слышит, как она шепчет его имя.

— Андремон, — выдыхает она, усаживаясь на него, — я выбираю тебя.

Он мгновение колеблется, все еще держа нож. Потом отпускает его. Проводит рукой по ее груди, шее, губам, волосам. Потом хватает ее, приближает ее лицо к своему, целует и отталкивает, все еще не отпуская ее пальцев.

— Я тебе не верю, — говорит он.

Она не вздрагивает от его прикосновения. Ее правая рука лежит на его сердце, левая берется за камешек, который он носит на шее, его кусочек Трои.

— Я знаю, где Пенелопа хранит свое сокровище. Золото, данное Одиссею его дедом. Награбленное ими и то, что она копит. Я знаю...

Он хватает ее крепче, и даже у нее не получается не скривиться от боли. Он приподнимает голову, будто хочет укусьть.

— Я не верю тебе.

Она перехватывает его запястье, держит, пока он не ослабляет хватку, а потом говорит:

— Я тебе докажу.



В темноте Пенелопа стучит в дверь Электры. Ей открывает одна из служанок Электры, чье лицо тоже вымазано пеплом, видит Пенелопу и просто говорит:

— Подожди.

Совершенно возмутительно, что царицу заставляют ждать в ее собственном дворце, и на мгновение Пенелопа задыхается от гнева. Но потом она выдыхает, медленно, спокойно, и прикрывает глаза, и ждет, пока дверь не открывается снова.

— Добрая царица.

Электра сидит лицом к окну, наполовину повернувшись спиной к посетительнице. На миг Пенелопе кажется, что она видит Антиклею, точно в той же позе, что и микенская царевна, почти утопившую свою скорбь, с сердцем, уже погруженным в алую глубину.

— Прости, что заставила тебя ждать. Я молилась.

Она не молилась.

— Конечно, — отвечает негромко Пенелопа и кивает: — А я прошу прощения за то, что потревожила тебя в такой час, но побоялась, что оказываю тебе недостаточно внимания, а ты самый важный мой гость.

Мановением руки Электра отмахивается от этой идеи.

— Ты самая внимательная хозяйка и не посрамила наших ожиданий.

Пенелопа смотрит на ждущих служанок, и, видя это, Электра отпускает их кивком головы: они уходят, но она не предлагает Пенелопе сесть.

— Есть новости от твоего брата? — спрашивает наконец Пенелопа.

Электра качает головой.

— Я ожидаю вскорости получить от него хорошие вести.

— Конечно. А ты здорова?

Снова небрежный жест: этот вопрос слишком неважен, чтобы на него отвечать. Пенелопа хочет вздохнуть, досадливо выпустить накопленный воздух, но осекается и вместо этого говорит:

— Я слышала, что твой человек — кажется, его зовут Пилад — все еще обыскивает гавань. Мои советники говорят, что твои воины продолжают ходить дозором по Итаке.

— Есть те, кто помог моей матери сбежать, — отвечает Электра голосом, легким, как лето. — Другие, которых нужно наказать.

— Мне не приходило это в голову... но, конечно, ты мудра.

Глаза Электры вспыхивают точно так же, как у ее матери, она поворачивается в кресле и смотрит на царицу в упор.

— Я мудра? Это очень большая похвала от тебя, сестра.

Призрак Антиклеи все еще в комнате, ругает юную Пенелопу, которую застали плачущей после того, как

отплыл ее муж. «Дитя! Не моргай. Не морщись. Не ахай. Выпрямись. Ты царица, а не девчонка!»

Во взгляде Электры вызов. А еще в нем возможность. Пенелопа видит это, распознает и мгновение думает о том, чтобы воспользоваться возможностью, — но нет, не сейчас. Еще рано. Она кивает — это непохоже на поклон — и произносит негромко:

— Ну, если у тебя есть все, что тебе нужно...

В глазах Электры вспыхивает нечто вроде разочарования, и она отворачивается. Отпускает Пенелопу небрежным движением руки. Какая наглость, какая дерзость, я не знаю, впечатлена я или рассержена, — но Пенелопа тоже не знает.

— Да-да. Спасибо. — Даже заносчивая Электра осекается, прежде чем добавить «можешь идти», но Пенелопа чувствует слева от себя призрак Антиклеи, справа — ветерок от моего присутствия и, словно зимний туман, уходит во тьму.

Через три дня возвращается Орест.

Он прибывает на закате, приплывает с севера. Электра бежит в гавань, бросается к его ногам и восклицает:

— Брат мой! Царь мой!

Не бьют барабаны, не гудят гордые трубы, Орест не держит в руках голову матери, чтобы показать толпе. Вместо этого он поворачивается к ждущим советникам Итаки, пока сестра плачет у его ног, и спокойно говорит:

— На Гирии мы не нашли никаких ее следов.

Старики тревожно переминаются с ноги на ногу — даже Полибию и Эвпейту, которые стоят чуть сзади, хватается ума побледнеть.

Электра кричит, издает животный вопль ярости и гнева — на мой вкус, громковатый и слишком драматичный, — но зато все ясно. Она рыдает и колотит кулаками

по земле, пока брат наконец не встает на колено рядом с ней, не поднимает ее молча, поддерживая одной рукой, как сломанное перышко, упавшее с небес, и в молчании они возвращаются во дворец Одиссея.

— Ну что ж, — говорит Медон Пенелопе, глядя, как воины Ореста сходят на землю с потрепанных кораблей. Он пытается вспомнить слова, которые наилучшим образом выразили бы сложные чувства, ураганом носящиеся по его сердцу, и выбирает самые короткие: — Жуткая, жуткая смерть.

Пенелопа мрачно смотрит на него из-под покрывала, потом идет вслед за Орестом и Электрой во дворец.

Орест стоит в зале совета, за спиной у него Электра.

Напротив стоят Телемах, Медон, Пейсенор и Эгиптий. Пенелопа, как обычно, сидит в углу со своими служанками, но в этот раз Автоноя не играет на лире.

Орест говорит и смотрит в какое-то другое пространство, произносит голосом, который почти не подходит для человека:

— Мы плыли много дней, задали много вопросов, но не получили ответа. Мы отправились на запад и обыскивали все попадавшиеся нам корабли, но ничего не нашли. Мы отправились на север, но и там не было никаких следов. У нас кончались вода и пища, потом налетела буря и отбросила нас на юг, снова к Итаке. Нет никакого следа моей матери.

Я бросаю взгляд на небо и задаюсь вопросом: не мой ли это брат отправил Ореста снова на этот островок? Не его ли это буря?

Но нет, нет. Посейдон слишком занят, вздымая непроходимые волны вокруг Огигии, его ненависть сосредоточена на Одиссее и только на Одиссее. Сомневаюсь, что ему хватило бы ума устроить веселую жизнь жене Одиссея,

вернув в ее пределы детей Агамемнона. Иногда буря — это просто буря. Но все же стоит последить...

Эгиптий говорит:

— Это ужасно, просто ужасно, но, конечно, вся Итака в твоём распоряжении, чего бы то ни стоило...

Медон вставляет:

— Конечно, мы небогаты, но да, я согласен с моим товарищем: если можем помочь, то мы...

Телемах выпаливает:

— Мы найдем ведьму и уничтожим ее. Я клянусь тебе.

Повисает немного неуютное молчание. Что Афина находит в этом мальчике, я не постигаю.

Орест спокойно отвечает:

— Спасибо.

А потом, поскольку все смотрят на него, ждут, что он произнесет что-нибудь еще, может быть, скажет речь, он добавляет:

— Спасибо.

Они все еще смотрят на него, и внезапно он оказывается всего лишь двадцатидвухлетним юношей, еще не мужчиной, которого отослали из дома, отдали на воспитание чужим отцам, чтобы отдалить его от горя, вины и ярости его матери. Ему было пять лет, когда погибла Ифигения, и отец отправил его в Афины, воскликнув: «Я не хочу, чтобы его воспитывали женщины!» В Афинах его били и говорили ему, что именно этого хочет его отец. А раз того хотел его отец, то, конечно же, Орест заслуживал, чтобы его били. И все-таки каким-то непостижимым образом нить его судьбы плетется так странно, — довольные мойры хихикают над своей шуткой, — что он, похоже, хочет быть хорошим человеком. Наверняка это и станет его гибелью.

Теперь все смотрят на него, и именно сейчас, в данное мгновение, это для него непереносимо. Он не может

вынести того, что видит в их лицах, неспособен вынести собственных недостатков и того, кем он должен стать. Он поворачивается и удаляется почти бегом, спасаясь в пыльной прохладе дворца, а Электра следует за ним.

Микенцы уходят из комнаты, остаются только итакийцы. Им немного неловко. Медон поворачивается к Пенелопе и одними губами произносит:

— Жуткая смерть.

Она открывает было рот, но, к ее удивлению, первым берет слово Телемах.

— Мы снова должны обыскать Итаку, — заявляет он. — Обыскать весь архипелаг.

— Но мы же уже...

Он бухает по столу кулаком так громко, что даже Медон подпрыгивает.

— Мы обещены! Мы обмануты! Мы подвели Ореста и всю Грецию! Я разве единственный, кто видит, что случится, если Клитемнестра останется жива? Орест падет. Электра будет... а Микены захватит Менелай! Он захватит северные царства, провозгласит себя царем над всеми греками, и никто не сможет ему помешать! Или если этого не произойдет, но вдруг выяснится, что кто-то... — он не смотрит сейчас на мать, он сознательно не смотрит на мать, — защищал распутную царицу, тогда Итака сгорит! Царство моего отца сгорит, и это будет возмездие за наши грехи!

В комнате тихо. Надо сказать, что в политическом анализе Телемаха есть разумное зерно, но его так сложно вытащить из-под наслоений юношеской глупости, что слушатели его почти не замечают. Потом Пенелопа говорит:

— Я хочу поговорить с сыном наедине.

Советники с облегчением кивают и тянутся к двери, но Телемах останавливает их.

— Все, что моя мать хочет сказать мне, она может сказать здесь, перед вами всеми.

— Телемах...

— Она может говорить при всех! — повторяет он. — Я не ребенок, которого нужно увещевать наедине, матушка, не какой-то мальчик, с которым ты можешь говорить так, будто он ничего не знает. Я сын Одиссея. Я наследник этого царства. Я пролил за него свою кровь. Обращайся ко мне как к сыну царя.

Хотела бы я знать, сколько из этого вложила ему в голову Афина? При всех ее неисчислимых недостатках она не склонна ни дуться, ни хорохориться. Может быть, это внезапное рычание — желание львенка показать свои свежевыросшие зубы.

Пенелопа бледнее собственного хитона. Она произносит слова, одно за другим, обкатывая их во рту, чтобы не сбиться.

— Ты сын царя, — произносит она с трудом. — Но я все еще твоя мать.

— Ты родила меня, — отвечает он, — но теперь я мужчина. У мужчин есть долг перед матерями. Они должны уважать их и заботиться о них. Я исполню свой сыновний долг. Но мужчины не прячутся за спиной матерей. Мужчины делают то, что нужно, то, что правильно.

— Разве мужчины не слушают советов?

— Слушают, если их дают мудрые.

— А матери не мудры?

— Была ли мудрой Елена, когда бросила своих детей? Была ли мудра Клитемнестра, когда убила своего мужа? Была ли мудра ты, матушка, когда пустила во дворец женихов, и улыбалась им, и унижалась перед ними, и говорила «да, господин», «нет, господин» и «давай я налью тебе вина, господин»?

— Ничего подобного я не делала, ты прекрасно знаешь, что ничего подобного я не делала, я...

— А теперь, — рычит он, — на дом моего деда напали! Мои двоюродные брат и сестра обесчещены! Мои друзья мертвы, убиты, их кровь... а ты... а вы... стоите тут, все вы, стоите и разговариваете! Вы слабые! Вы трусливые. Вы не годитесь, чтобы воспитывать мужчин!

Сейчас кто-то обязательно должен вылететь из этой комнаты и хлопнуть дверью, и как бы Телемах ни рисовался, но он все еще здесь самый младший и у него меньше всего опыта в том, чтобы отстаивать свою точку зрения, поэтому вылетает он.

Советники смотрят куда угодно, только не в глаза Пенелопе.

Она колеблется мгновение — слишком долго, моя милая, слишком долго, — потом идет за сыном, зовет его по имени. Он не оборачивается, она бежит за ним, и тут вперед выходит другой, тот, кто вечно шатается по галереям, Андремон: стоит, улыбается, глаза светятся, как луна, и Пенелопа останавливается так внезапно, что чуть не падает. Андремон смотрит туда же, куда и она, видит ее уходящего сына, потом улыбается, кланяется и идет по своим делам.

Так упустила Пенелопа последнюю за многие-многие годы возможность прижать к сердцу своего сына.



Кенамон ждет Телемаха за хутором Эвмея, но Телемах не приходит.

Кенамон ищет Телемаха в залах дворца, но Феба говорит: «Прости, господин, царевич занят».

Кенамону кажется, что он видит, как Телемах негромко и поспешно разговаривает с Электрой.

Ему кажется, что он видит, как тот сидит, молчаливый и мрачный, рядом с Орестом, но, когда он подходит к микенцу, другой микенец, Пилад, делает шаг вперед, вставая между ним и сыном Одиссея, и говорит: «Царевичи совещаются. Спасибо».

Кенамон не уверен, как перевести это «спасибо», потому что оно, похоже, не столько является выражением благодарности или признательности, сколько обозначает «отвали и не суй свой нос, иноземец». Но он уже понял, что слишком глубоко в такие вопросы

вдаваться не нужно, поэтому отваливает, как ему и сказали.

Только тогда, когда луна превращается в тоненький ноготь в вечернем небе, он застаёт Телемаха одного, в пустом дворе, где днем пытались упражняться в военном деле разрозненные остатки ополчения. Раненой рукой он держит щит, поднимает его, пихает вперед, оценивая его вес, морщится от боли. Так он продолжает некоторое время, никем не видимый, пока наконец Кенамон, кашлянув, не выходит из тени.

Телемах разворачивается, он готов сражаться зубами, взглядом, огнем и рычанием, а потом успокаивается, увидев египтянина, и смотрит в сторону, будто ему стало стыдно.

— Как твоя рука? — спрашивает Кенамон. Телемах не отвечает.

— Не стоит торопиться. Упражнения — дело хорошее, но, если сейчас перенапрячься, можно сделать только хуже.

Телемах бросается вперед, на невидимого врага, это неразумное движение, и его лицо перекашивается от боли, на лбу выступают яркие, заметные капли пота. Кенамон смотрит на него, не осуждая и не ругая, и, вероятно, именно эта странность, непривычность доброты, и заставляет Телемаха опустить оружие и положить его наконец на землю.

Он садится на землю, прислонившись к стене, подтянув колени к груди. Он не приглашает Кенамона сесть рядом, но через минуту тот садится все равно, по-дружески, в той же позе, что и молодой человек.

— Хочешь поговорить? — спрашивает наконец Кенамон. Телемах качает головой. — Ты молился? — Телемах колеблется, потом снова качает головой. — Что же ты. Если не можешь общаться с людьми, поговори хотя бы

с богами, — советует Кенамон. — Вряд ли они тебя будут слушать, но высказаться всегда хорошо.

— И что я им скажу?

— Не знаю. То, что тебе нужно сказать, о чем не можешь поговорить ни с кем другим и со мной.

Телемах некоторое время думает над этим, лицо его краснеет, а пот высыхает и превращается в соленую корку.

Он хочет сказать: «Чтоб вас, чтоб вас, чтоб вас всех».

Он хочет сказать: «Простите меня, простите, простите».

Он хочет сказать: «Хоть бы я погиб».

Он хочет сказать: «Я так счастлив, что остался жив».

Он хочет сказать: «Все было совсем не так, как я себе представлял, и я не герой. Не герой. Не герой. Не герой».

Он хочет сказать...

Он сам толком не знает, что он хочет сказать. Он ничего толком больше не знает. Он так долго молчал, что слова в его сердце слиплись в ужасающий нелепый комок, в бурю невысказанного, и все так перемешалось, что теперь он сам не знает, где море, а где небо.

Но потом он все же говорит одну вещь — важную и правильную, и это по нашим временам необычно. Он смотрит Кенамону в глаза и просто говорит:

— Спасибо тебе.

Кенамон кивает, открывает рот, чтобы сказать «пожалуйста», или, может быть, «ты сделал все, что мог», или, может быть, даже «я горжусь тобой», но не успевает: произнеся вслух то истинное, то хрупкое, то, чего не осмелился бы высказать вслух никому другому, Телемах встает и уходит — чтобы не разорваться, не выплеснуть молнии из своей души на человека, который может, как это ни невероятно, быть его другом.

Ночью в тайном месте вдалеке от мужских глаз возмущается Клитемнестра.

— Что значит «опять откладывается»? Почему откладывается?

Семела уже привыкла к Клитемнестриным вспышкам — привыкла настолько, что уже и не замечает, что сейчас Клитемнестра вспыхнула. Микенская царица вышагивает туда-сюда и воздевает руки к небу.

Пенелопа стоит, освещенная луной, в дверях, позади нее — Эос, обе в плащах и покрывалах, скрывающих от глаз в ночи.

— Орест вернулся, — вздыхает Пенелопа. — На море его корабли, а в гавани Пилад, и нам придется искать другую возможность вывезти тебя.

— Орест? Он вернулся? Как он?

Пенелопе нужно мгновение на то, чтобы осмыслить эти слова, она не знает, как понимать внезапную дрожь в голосе Клитемнестры, ее восторженное воодушевление.

— Он... с ним все в порядке. Он такой же, как раньше.

— Он не пострадал во время путешествия? Бурь не было?

— Сейчас он во дворце, такой же надутый и молчаливый, как обычно.

— Он не надутый. Он никогда не дуется! Конечно, он расстроен, но он храбрый. Он у меня очень храбрый.

С тех пор как Орест был отправлен в Афины, мать видела его одиннадцать раз. Восемь из них он приезжал к ней, и стоял перед ней как примерный мальчик, и рассказывал все, что выучил, и показывал навыки, которые освоил. Дважды она навещала его и гордо стояла у окна, наблюдая за тем, как он обучается искусству войны. Однажды он бежал ночью во главе отряда воинов по тропинке к той лачуге, где они прятались с Эгистом, и бросил копье, которое убило ее любовника, потом на всякий случай пронзил его насквозь мечом, а после повернулся к матери. Но она уже сидела в седле, как приказал ей Эгист,



скакала прочь, голова лошади устремлялась вперед, а ее собственная была повернута назад, чтобы видеть мужество сына-воина.

А значит, ей не пришлось объяснять сыну ничего из нижеследующего: что значит, когда у мальчика ломается голос, почему у него выросли волосы в неожиданных местах, как разговаривать с девочками, как заштопать одежду, как готовить, как судить в суде, когда прецедент неясен, и каким был его отец. Другие люди разъяснили ему некоторые из этих сложных вопросов — в последнем случае она удивилась бы, узнав, насколько хорошо Орест себе представляет, каким был Агамемнон как человек и как царь. Ей не пришлось слушать, как он, тринадцатилетний, бушует и топает ногами, провозглашая, что все на свете устроено ужасно несправедливо, просто ужасно несправедливо, и что его никто не понимает.

Ей не приходилось справляться с ним, когда он не желал есть то, что ему не нравится, или обзывал ее глупой и старой, или отказывался учиться и оскорблял учителей. Встречаясь с матерью, Орест вел себя идеально и поэтому оставил идеальное впечатление — как, впрочем, и она. Это Электре выпало жить рядом с Клитемнестрой все годы, пока та управляла царством, и говорите про Электру что хотите, но ее подростковая мрачность даже у меня вызывает восторг. Пенелопа же, конечно, видела все это и большее в собственном сыне и, вероятно, из-за этой близости к нему не понимает, когда Клитемнестра спрашивает о сыне, который хочет убить ее:

— Он хорошо кушает? А зубы натирает углем? Очень важно следить за зубами.

— Я понятия не имею о гигиене его зубов, — отвечает Пенелопа. — Но я видела, что Электра кладет ему еду в рот, когда он отказывается есть. Это очень странное поведение, но от голода он, значит, не умирает.

Клитемнестра резко кивает: хоть какая-то польза от этой девчонки.

— А его друзья, у него хорошие друзья?

— Среди воинов у него есть Ясон и Пилад, оба кажутся очень преданными.

— Пилад — хороший человек, не даст моего сына в обиду. Он много говорит обо мне?

— Можно сказать, ни о чем другом он и не говорит.

Клитемнестра всплескивает руками. Надо же, ее сын говорит о ней! Он вообще не очень-то разговорчив, но, по крайней мере, он думает про нее. Потом ей приходит в голову более важная мысль:

— Если Орест вернулся, значит, Электра ищет меня на острове?

— Объявлено, что нет. Объявлено: они верят, что ты сбежала.

— То, что объявлено, — это для дураков без воображения.

— Негласно, — признается Пенелопа, — Пилад и его воины каждый день ездят на охоту. Добытую дичь они привозят во дворец, к столу, как благодарность за мое радушие. Охотясь, они заглядывают в каждый дом, каждый уголок и в каждую лесную избушку на острове. Ясон отправился с воинами на Кефалонию, они там рыбачат в каждой бухте, пещере и гавани. Насколько я понимаю, рыбы они до сих пор не поймали.

— Они знают, что я здесь.

— Электра подозревает, в этом я уверена.

— Как же так? Ты ведь у нас вроде умная, уточка. Разве ты недостаточно умная?

— Может быть, — бормочет Пенелопа, — слухи о моем уме навредили мне. Может быть, твоя дочь тоже считает, что я умная.

— Но я в любом случае не могу оставаться здесь, — фыркает Клитемнестра, обводя царственным жестом

помещение. — Тебе придется перевести меня в какое-то более безопасное место.

— Пока тебе вполне безопасно в доме Семелы. Мои женщины смотрят за дорогой. Если будет какой-то намек на опасность, тебя переведут.

— Почему я не могу вернуться в храм? Там было еще хуже, чем в этом домишке, но, по крайней мере, там я была в убежище!

— Электра предложила награду некоторым женщинам на острове, чтобы они следили за храмами. Конечно, они подчинились ей, чтобы не считаться предательницами.

Улыбка Клитемнестры похожа на улыбку крокодила.

— Но они рассказали об этом тебе. Конечно. Что сказал бы мой сын, если бы знал, чем вдовы Итаки на самом деле заняты в темноте?

— Судя по тому, что он говорил до сих пор, не много бы сказал, — резко отвечает Пенелопа. — Он, похоже, не очень умен.

Клитемнестра бросается на нее, готовая впиться ногтями в лицо. Семела небрежным движением высовывает вперед ногу, и царица спотыкается. Пенелопа отшатывается, не подхватывает сестру. Клитемнестра падает, ударяется сначала левой рукой и лежит на полу, царапая наглую землю, шипя, как раненая гадюка.

Пенелопа кивает Семеле.

— Нужно ли тебе что-нибудь, моя подруга?

Семела пожимает плечами.

— Тогда я пойду. Как обычно, спасибо тебе за гостеприимство.

Она поворачивается и уходит, а Клитемнестра рычит на полу.



Луна скрыта тьмой в тот вечер, когда случается из ряда вон выходящее происшествие.

Начинается все с шепота.

Леанира шепнула свою тайну на ухо Андремону.

— Я докажу тебе, — ахнула она, когда он сжал ее пальцами. — Я докажу, что люблю тебя. Слушай. Слушай.

Андремон услышал правду, укусил ее за шею и прошипел:

— Если ты врешь...

— Я не вру. Я люблю тебя. Я выбираю тебя.

Они раскачивались вместе в темноте, а на следующую ночь он смотрел, куда она сказала, и потом снова, и на третью ночь понял, что это правда, прижал ее к себе и прошептал:

— Когда я стану царем, вознесу тебя над всеми другими женщинами, и Пенелопа будет прислуживать тебе.

Она отвернулась от него, чтобы он не видел, что отразилось в ее глазах, когда он произнес это.

Андремон потом шепнул Эвримаху. Будет лучше, подумал он, если источником этой новости станет другой жених; лучше ему не высовываться.

Эвримах в жизни не умел хранить тайн, поэтому он выболтал ее Антиною, сказав, что слышал это от Меланты, которая любит его за то, что он такой великолепный любовник.

Антиной пропустил мимо ушей вторую часть сообщения, а первую нашептал отцу, и Эвпейт взъярился и потребовал, чтобы Антиной еще понаблюдал и удостоверился, что это правда, и, когда Антиной понаблюдал и удостоверился, Эвпейт вскричал: «Ах она гарпия!» — так громко, что соседи высунулись из своих дверей и спросили у его рабов, что происходит.

И вот наконец в ночь, когда луна спрятала свой лик, Эвпейт и Антиной входят в зал, где идет своим чередом вечерний пир, и кричат:

— Где эта царица?!

Все замолкают. Телемах, Орест и Электра сидят дальше всех от двери, и Электра застывает, будто думает, что речь про ту царицу, о которой думает она, про ту единственную, что имеет значение, — а потом со вздохом вспоминает, что у нее за спиной сидит еще одна царица, Пенелопа, которая терпеливо ткет, пока женихи ужинают.

— Где эта так называемая царица Итаки?! — на всякий случай, если кто не понял, добавляет Эвпейт, и тогда замолкают уже все женихи. Амфином тревожно ерзает; Кенамон сидит неподвижный и серый: если и была в нем какая-то веселость, когда он прибыл на Итаку, то давно растворилась в череде ночей, полных шумного одиночества, пепла и крови.

Все смотрят на Пенелопу, и она наконец встает, сложив перед собой руки, такая маленькая и такая, кажется, смиренная; а потом она открывает рот, и ее голос хлыстом свищет по залу.

— Как смеешь ты нарушать священные границы этого пира?

Эос выскальзывает из тени за спиной Пенелопы, бежит по галереям дворца, созывает служанок и верных воинов: «Собирайтесь, собирайтесь. — Они все прильнут ушами к дверям. — Где Урания? Готовьте лодку, найдите Приену, бегом!»

Эвпейт не видит, как убегает служанка. Никто не видит.

Леанира вжимается в угол, не выпуская кувшин с вином. Автоноя оглядывает зал, стоя в дверях кухни, пряча за спиной мясницкий нож. Она знает, что если будет драка, то служанки погибнут, — но она заставит отплатить за это кровью.

Старик решительной походкой пересекает зал и останавливается в нескольких шагах от Пенелопы, не глядя на детей Агамемнона и сына Одиссея. Горячее пламя ярости теперь превратилось в его сердце в раскаленный уголь: он не даст ему испепелить себя, а вместо того будет им испепелять других, этот хитрый итакиец.

— Лгунья, — бросает он ей. — Предательница. Ты смеешь взывать к законам гостеприимства, когда сама нарушаешь их каждый день и каждую ночь, когда порочишь имя своего мужа и честь его трона?

По комнате пробегает ропот, все глядят друг на друга, глаза прыгают с одного на другого. Они не вооружены, но думают: «Так-так-так, может, сейчас все выяснится, и мы узнаем, что она спала с этим женихом или, возможно, с тем, что она уже выбрала того, кто станет царем, и тогда будет плохо, тогда случится свалка». Те, кто поумнее,

начинают оглядываться, присматривая, что бы применить как оружие, какой бы стол или сиденье швырнуть в противника. Те, кто умнее всех, смотрят на дверь. Лучше выскочить и потом вернуться с копьями; в конце концов, ведь именно те, кто остался в живых, потом говорят поэта, как петь их песни.

— Ты обвиняешь меня в коварстве? — рычит Пенелопа. — Входишь в мой дом и при гостях очерняешь мою честь? Клянусь богами, будь я мужчиной, то убила бы тебя, кем бы ты ни был. Лишь моя женская скромность удерживает меня.

Электра одобряет эту речь. Телемах немного ошарашен ею. Орест если вообще ее слышал, то по его лицу этого не скажешь. А Пенелопа, хоть в голосе ее и пылает огонь, говорит медленно и тщательно. Она тоже давно приготовила свои слова: пусть не для этого именно мига — поскольку она пока не до конца понимает, что это за миг, — но для тысячи похожих, для тысячи изгибов нити, на которой может повиснуть ее жизнь, для замыслов внутри других замыслов, для катастрофы.

Эвпейт ухмыляется. Именно его ухмылка больше всего не нравится ей. Потом он широко разводит руками и поворачивается к женихам, к залу, оглядывая всех.

— Вы все меня знаете, — заявляет он. — И все знаете моего сына, самого честного и достойного из вас.

Эвримах чуть было не вякает какое-то возражение, но не успевает: его под столом пинает Амфином.

— Каждый здесь хочет одного и того же: чтобы на Итаке был царь. Чтобы Итака снова была сильной, чтобы вся Греция знала нашу мощь. Чтобы достойный человек сидел на троне, который она, — указывает пальцем через плечо на Пенелопу, не соизволив посмотреть на нее, — как она говорит, оберегает. Служит ему. Добрые мужи Итаки, — Эвпейт не считает вероятным, что люди из-за пределов

Итаки могут быть добрыми, — вы обмануты. Вас предали. Эта спартанская шлюха, эта ведьма...

Телемах встает. Он тоже не вооружен, и ему не хватает ума поискать глазами то, чем можно вооружиться; но он научится. Кенамон слегка качает головой: «сядь, сядь», — но если Телемах его и замечает, то не подает вида.

— Эвпейт, если бы здесь был мой отец, он скормил бы тебя собакам!

— Но его здесь нет, верно? — рычит Эвпейт, загораюсь своей темой, его грудь вздымается, как и у Телемаха. — Ни живой, ни мертвый, просто пропавший без вести! Но мы все знаем — бедный мальчик, ты тоже наверняка это знаешь, — мы все знаем, что на самом деле Одиссей погиб. Погиб, не вернется, а она... — снова тыкает пальцем в Пенелопу, — водит нас за нос! Можно сказать, водит нас, как челнок по своему станку, ткет нас, как саван, и, кстати, Пенелопа, как там тот прекрасный саван, что ты ткешь для доброго царя Лаэрта?

Она не отвечает, не двигается, но, как тонкоствольная серебристая береза, когда через ее крону проносится ветер, кажется, вздрагивает всем телом, от корней до верхушки, сжимает пальцы в кулак, потом разжимает и резко говорит:

— Что это за глупость? Ты болтаешь о предательстве и саванах, оскорбляешь мое имя, имя моего мужа...

Но она совершила ошибку, промедлив с ответом: зал уже увидел в ней сомнение. Амфином встает, и поскольку встал Амфином, то встает и Эвримах. Некоторые следуют их примеру, и потом встают все, потому что если в этом зале моргнет один, то моргнуть должны все, иначе они ослепнут.

Эвпейт сияет, словно солнце, разгоняющее последний туман ночи.

— Что ты тогда сказала? Дайте мне соткать погребальный саван для Лаэрта, и, когда закончу его, выберу мужа?

Хорошее условие. Слова верной и заботливой снохи. Но как много времени это заняло! Как медленно идет работа, как тяжел труд. Каждый узелок отбирает целый день, и вот ты сидишь тут со своим драгоценным станком, и ради чего?

Он делает к ней шаг, и она невольно отступает. Телемах встает между ними, на мгновение он воин, почти мужчина, сильнее и выше Эвпейта.

Антиною тоже стоило бы сейчас вмешаться, встать перед Телемахом, помериться с ним силой, но ему это не приходит в голову. Он либо очень умный, либо замечательно тупой.

И снова Эвпейт разводит руками в стороны, словно чтобы сказать: смотрите, смотрите, мать онемела, а сын ведет себя так, будто он царь! Какие лжецы и тираны эти домочадцы Одиссея! А потом говорит тише:

— Разве мы все не задавались вопросом, почему работа идет так медленно? Разве мы не задавались вопросом, почему у нее уходит столько времени на это?

Задавались. Это написано у них на лицах, и те, кто раньше не задавался этим вопросом, быстренько наверстывают и задаются им сейчас. Кенамон смотрит на Телемаха, на Антиноя, просчитывает, вероятно, наилучший удар: кого проще всего вывести из строя, как наилучшим способом спастись. Я ищу в толпе Афины, но не чувствую ее присутствия, думаю, не позвать ли ее, не воззвать ли к ее мудрости. Я не уверена, что меня на это хватит. Может быть, стоит снова подогнать в зал тех замечательно удачно попавшихся кобр или устроить стратегическое нашествие пауков? Но пока я размышляю, какое из вторжений сработает лучше и при этом не привлечет подозрений, мой взгляд падает на Электру — и на миг я уверена, что она меня видит.

Она меня видит.

Дочь Клитемнестры смотрит прямо на меня, и, хотя я, чтобы не сжечь смертных своим присутствием, скрыта пеленой, через которую не может проникнуть их разум, она смотрит, а я готова поклясться собственной божественностью, что она меня видит. И в ее глазах я вижу алый отсвет эриний, искру божественности, богохульство, которое старше самих титанов. Она станет царицей — как странно, что я так долго не замечала этого, не видела этого в ее глазах! Но теперь — теперь она видит меня, а я вижу ее, и она будет царицей в Греции, любимой мною. Когда остальные умрут, когда сгорит тело Клитемнестры и Пенелопа вздохнет в последний раз, останется только Электра, последняя из женщин, несущих мое пламя. Но не сейчас — не сейчас.

Эвпейт направляет палец в сторону Пенелопы, улыбается так, будто натягивает лук, и заявляет:

— Мне сообщили, что каждую ночь эта лукавая царица уходит к себе в покои, но не молится там, не спит. Она берет иголку и при тусклом свете лампы распускает то, что наткала за день. Из каждых десяти рядов, которые мы видим сотканными днем, ночью девять она распускает.

Эвпейт надеялся на то, что слушатели отзовутся на его речь немедленно и бурно, но он несколько просчитался. Почти каждый в зале, кто не знал про Пенелопину хитрость, уже успел представить себе сцены разврата разной степени омерзительности, вплоть до и включая сношения с сыном, потому что... а почему бы и нет? Деяния Клитемнестры сделали расхожей темой для разговора приключения чудовищных цариц — чудовищных эротичных цариц, не меньше, цариц с чудовищной эротикой, которых каждый мужчина ненавидит и с которыми с огромным удовольствием бы познакомился, — так что открытие про мелкое жульничество с какой-то тканью их не очень впечатляет. Тут все-таки решает принести хоть какую-то

пользу Антиной. Видя что зал не взрывается немедленно осуждением, он кричит:

— Лгунья! Предательница! — и несколько его друзей и еще кое-кто, кто понял, куда дует ветер, подхватывают его крик, пока наконец, проявив независимость мышления, достойную огурца, весь зал не начинает кричать и орать, и только Кенамон и Амфином стоят молча чуть поодаль.

В галереях за закрытыми дверями бегают служанки, собирают верных Пенелопе воинов: «Вооружайтесь, вооружайтесь» — и уже летит к храму Артемиды всадница, другая бежит к дому Урании. Женщины в лесу вряд ли успеют к дворцу вовремя, но, по крайней мере, они смогут отомстить за бойню.

— У тебя нет доказательств, никаких доказательств! — кричит Пенелопа, и толпа орет еще громче, ведь царица не отрицает своей вины. — Принеси мне доказательства, докажи... — начинает она снова и потом замолкает, потому что Телемах тоже смотрит на нее, и в его глазах понимание, ярость, предательство. Он стоит к ней ближе всех, и она пытается пробормотать что-то, какое-то оправдание, извинение, объяснение, он видит правду в ее глазах, видит, как осыпается ложь. Ох, Афина, если тебя еще здесь нет, тебе стоит на это посмотреть, тебе стоит посмотреть, что бывает, когда мальчик, который хочет быть мужчиной, понимает, что все это время был мальчиком.

— Лгунья! Коварная дочь реки и моря, соблазнительница, которая не говорит ни «да», ни «нет», со всеми задатками потаскухи... — кричит Эвпейт, и чего зал не знает, не видит, так это того, что он поставил воинов снаружи, готовых войти и подавить всякого, кто будет не согласен с его точкой зрения. Сегодня будет ночь расплаты, такая ночь, в которую добываются царские венцы. — Итакийская шалава! — с воодушевлением кричит он,

воздевая руки, будто ждет, что боги будут рукоплескать его топорному театру. Я готовлю для него нападение глостов, припадок подагры, чуму такую, какую он и в кошмаре не видал...

И тут встает Электра.

Почему-то одного этого движения достаточно, чтобы Эвпейт отшатнулся, будто от Электры пошла ударная волна сильнее урагана. Эта маленькая женщина, эта девочка, одетая в пепел, делает один шаг вперед и словно отталкивает Эвпейта так, что он пятится на несколько шагов. Великолепная госпожа, ненавидимая дочь, будущая царица! Я приветствую тебя и все, чем ты станешь. Ее брат не двигается, но смотрит на сестру так, будто впервые ее увидел, словно с любопытством ждет, когда она заговорит, чтобы узнать, какой у нее голос.

— Мужи Итаки, — говорит она и произносит «мужи» так, как иногда произносила это слово ее мать, словно говоря «вы, которые называете себя мужчинами, посмотрите, как мало вам подходит это имя», — мужи Итаки, народ Одиссея, как стыдился бы вас сейчас ваш царь.

По залу разносится звук, который можно описать как громкое пристыженное шарканье ногами.

— Когда мой отец шел воевать, он отправил послов, дабы призвать на свою сторону западные острова. Не потому, что там много воинов или они богаты оружием и золотом, а потому, что никто не выстоит в бурю так, как мужи Итаки. Не для них арфы или сладкие удовольствия роскоши и винопития, но у них есть крепкое братство и честная хитрость. Как низко вы пали. Как вы развелись и обрюзгли.

Пенелопа старше и немного выше Электры, но сейчас она выглядит как котенок, сжавшийся за спиной матери. Электра делает еще шаг в зал. Мужчины расступаются перед ней, как когда-то перед Клитемнестрой, а Орест

сидит за ее спиной, положив ногу на ногу, молчаливый, как трон.

— Вас слишком долго терпели. Вы разжирили на еде своей царицы. Вы забыли, что такое честь. Вы как пьяные троянцы на пиру моего отца, которым кажется забавным украсть жену у другого, забраться в постель царицы при помощи соблазнения и похабства. И, как и троянцев, вся Греция восстанет и уничтожит вас за вашу непристойность. Это то, чему научил меня мой отец, царь всех греков. Это то, что знает мой брат.

Все взоры устремляются на Ореста, а его лицо холодно, как зимний вечер, а глаза, кажется, не видят ничего: или все сразу, или совсем ничего.

Теперь Электра поворачивается к Эвпейту.

— Ты, старик, у тебя есть свидетельства?

— У меня есть свидетельство моих глаз — у всех нас есть свидетельство наших глаз!

Это попытка воодушевить сторонников, чтобы все снова закричали, выразили свое возмущение, но нет человека, кто смог бы встретить взгляд Электры и не замолкнуть.

— Глаз пьяниц и дураков. Мелких притязателей на княжество, которые готовы вонзить нож в спину соседу ради кусочка власти. Крошечной, крошечной власти над этими западными островами — вам, вероятно, она кажется такой большой. Я так понимаю, доказательств у тебя нет. Нет свидетелей, которые встали бы и сказали: «Да, да, я видел, как Пенелопа распускает ткань, я сам видел, как она это делает». Есть такие?

Есть одна, жметесь в углу, она могла бы рассказать, если бы ее спросили, — но что значит голос рабыни против утверждения царицы?

Эвпейт становится пунцового цвета, а вот Антиной, пятясь, отодвигается от отца. Эвримах внезапно кажется

маленьким, безымянным — мелкий человечек, которого больше занимает его чаша с вином, чем разворачивающиеся события. Андремона нигде не видно.

Дочь Агамемнона выдыхает сквозь стиснутые зубы, будто хочет сплюнуть, потом поворачивается к остальным.

— А что с того, если она и распускает саван? — рявкает она. — Вы женились бы на царице, которая проявила бы меньшую верность своему мужу? Вы заключили бы брак с продажной женщиной, раздвигающей ноги перед всяким, кто придет, а не с женой, которая до последнего вздоха бьется за то, чтобы почтить своего ушедшего супруга? Вы позорите само слово «брак». Вы позорите саму идею о муже. Во имя Геры, — я вздрагиваю от неожиданного удовольствия и странного отвращения, когда она призывает мое имя, — если бы мой брат не был таким добрым и умеренным человеком, таким мягким и справедливым во всех своих деяниях, я думаю, он отправил бы весь микенский флот против вас, взял бы под свою опеку эти островки, чтобы закончить смуту — смуту, которую вы начали! Смуту, отцы которой — вы, а не какая-то женщина! Видя все это, видя вас, мне остается только молиться, чтобы его милосердие не иссякло. Чтобы его любовь к сестре, благородной Пенелопе, и ее многочисленные увещания к нему оказать милость ненасытным, мерзким жителям ее островов оказались сильнее, чем отвратительный прием, оказанный ему вами, женихами.

Все молчат. Все онемели. Электра держит зал в кулаке. Ей стоит только сжать его — и они будут раздавлены. Я подвигаюсь к ней чуть ближе, мое сердце переполняет восхищение, я наклоняюсь, чтобы шепнуть ей на ухо, но она отворачивается и встает перед Антиноем, сыном Эвпейты, который отшатывается под ее взглядом.

— Господин, — говорит она, — ты здесь гость, а не только сын своего отца. Прощу тебя, сядь.

Антиной отчаянно смотрит на спину отца, но не получает от нее совета. Старик трясется всем телом, но не может говорить — кажется, задыхается от всех тех болезней, которые я на него еще не наслала. Антиной снова смотрит на Электру, а потом медленно, нашаривая место, садится.

Амфином садится тоже, потом — Эвримах и остальные. Вскоре остаются стоять только Электра и Эвпейт. Она не поворачивается к нему, не просит его остаться, или уйти, или сесть, а просто возвращается на почетное место рядом с братом и опускается в свое кресло, как Агамемнон на трон Приама.

Эвпейт еще некоторое время стоит и трясется.

Мужчины смотрят.

Потом начинают разговаривать вполголоса.

Они шепотом беседуют, так, будто тут совсем ничего не произошло, будто тут совсем нечего обсуждать.

Кто-то ударяет по струнам.

Леанира отклеивается от стены и идет наливать вино.

Антиной не смотрит на отца.

Телемах не смотрит на мать.

Потом Эвпейт поворачивается и выходит, хлопнув дверью.

Телемах тоже потряхивает, но он не уходит. Он поворачивается к Электре, пытается найти слова, чтобы сказать ей, и думает, что, кажется, никогда не видел женщины уродливее ее, и задается вопросом, какой вкус был бы у ее языка на его языке, и его подташнивает, и он не знает, как говорить. Так что вместо этого он поворачивается к Оресту, говорит:

— А ты... — и не может найти слов. Молодой микенец поворачивает голову медленно, так медленно, будто им

движет иная сила, нежели природа, и терпеливо, расслабленно ждет. Телемах качает головой, пытается найти извинение, не может его нащупать, снова пытается.

Электра, которая смотрит на зал так, будто перед нею тризна ее отца, говорит:

— Мы с братом устали. Мы уходим к себе. Благодарим за ваше неизменное гостеприимство.

Она встает, и по всему залу пробегает дрожь, разговоры смолкают. Они не возобновляются, пока она не выходит.

Чуть погода выходит и Пенелопа, а потом и Телемах.

В глубокой ночи, когда женихи пьяно спят на столах, приходят служанки и забирают ткацкий станок — больше никто не увидит его и не упомянет.



В утренней тьме, в тусклый час между полночью и зарей, когда все становится честным и жестоким, Пенелопа приходит к двери Электры.

Снова она ждет, содрогаясь всем телом.

Опять служанки в конце концов впускают ее, и, когда она входит, кажется, что-то меняется в итакийской царице: ее сердце остановилось, ее дыхание замерзло — она не станет дрожать при них.

Электра сидит на своем обычном месте, у окна, а Орест спит в постели Электры. Пенелопа останавливается, удивленная таким зрелищем, но Электра прижимает палец к губам и шепчет:

— Иногда он плохо спит. Ему снятся дурные сны. Порой я разрешаю ему прийти сюда, глажу по голове и пою колыбельную. Теперь он некоторое время поспит. Давай выйдем наружу и поговорим.

Электра смыла пепел с лица и причесалась. Ее голос, когда она говорит о брате, тихий, почти добрый, и в этот священный час она на мгновение становится просто женщиной, сестрой, находящейся далеко от дома.

Пенелопа кивает, и они вдвоем выходят при неярком свете лампы Автонои к прохладному ручью, в котором иногда Леанира моет ноги вдали от мужских глаз. Здесь Пенелопа забирает у Автонои светильник, прося ее отойти, ставит его на покрытый мхом камень и усаживается на корточки на берегу ручья, будто хочет смыть изо рта вкус этого дня. Электра садится рядом, вытянув ноги: болтает крошечными ступнями в ночной прохладе, запрокидывает голову к небу. На некоторое время она закрывает глаза и слушает еле слышный шорох моря, плещущего о берег внизу, песню цикад и журчание ручья по камням.

Пенелопа открывает было рот, но Электра перебивает ее. Глаза ее все еще закрыты, руки вытянуты вдоль тела.

— Расскажи мне о своей матери.

Пенелопа удивлена такой просьбой, хотя чему тут удивляться?

— Моя мать была доброй. Строгой, но только в тех вопросах, которые казались ей важными для благополучия ребенка. Она считала, что каждая женщина в Спарте должна быть не слабее мужчины, а может быть, даже сильнее. Откуда возьмутся сильные мужчины, если женщины не смогут рожать здоровых детей, воспитывать их умными, образованными, умеющими хорошо управляться с мечом и преданными своему государю? Ей казалось, что все это передают им матери. Поэтому мать тоже должна быть умной, образованной и преданной.

— И хорошо уметь управляться с мечом?

— По крайней мере, уметь распознать, если кто-то управляется с ним плохо.

— Я слышала, твоя мать была наядой, — задумчиво говорит Электра, — дочью реки и потока.

Пенелопа застывает, но она ведь всю жизнь прожила с тем, что она незаконнорожденный ребенок полубогини, а потому умеет осечься и не зашипеть.

— Может быть, и была, — отвечает она наконец, глядя в скрытые тенью глаза Электры. — Но Поликаста воспитала меня так, будто сама родила, и поднимала меня, когда я падала и разбивала коленку, и рассказала, что делать, когда у меня впервые пошла кровь. Моя мать — она.

— А твой отец?

— Он... не очень умело ладил с детьми. Но знал, что у него есть долг любить их, и старался как мог исполнить его.

Электра чуть поворачивает голову, на лице отражается изумление.

— У него был... долг любить?

— Он так считал, да.

— Почему?

— Потому что был нашим отцом.

— Но ведь он был царем.

— Да. Он старался по-своему быть и тем и другим. В конце концов, он был всего лишь человеком.

Электра открывает рот, как будто никогда не слышала подобного. Царь, который и отец? Отец, который и человек? Может быть, в самом редком случае можно представить себе, что мужчина будет двумя из трех: царем, который сам воспитывает своего наследника, например, или отцом, который иногда проявляет свои недостатки. Но все три сразу? Ей кажется это невозможным, безумным, и она готова расхохотаться, а потом встряхивает головой и возвращается к созерцанию неба.

— Меня воспитали кормилицы, — произносит она наконец. — Матери нужно было управлять царством,

а отцу — выиграть войну. Меня необходимо было воспитать как царевну, готовую к браку с кем-то, чьи земли могли бы быть присоединены к царству моего отца. Кем-то не особенно выдающимся: мой отец всегда хотел, чтобы все знали, что муж его дочери женился на ней с его разрешения. Это должен был быть человек, который будет кланяться, унижаться и простираться ниц перед тронном моего отца, и говорить, как ему повезло на мне жениться, и знать, что если он нанесет урон моей чести, то я могу перерезать ему горло и никому не придет в голову возмущаться. Слабый человек. Такова была моя судьба.

— А теперь?

— Теперь? Теперь либо мой брат садится на трон, либо мой дядя забирает его себе, а меня продают какому-нибудь пьяному купцу за мешок зерна и амфору вина. Кому-либо богатому, но без имени, которому этот союз позволит сидеть за благородным столом и всем своим друзьям-рыботорговцам говорить: «А у меня жена — царица!» Видишь ли, у моего дяди столько собственных детей, что он вряд ли будет особенно задумываться над тем, куда девать меня.

Снова Пенелопа пытается заговорить, и снова Электра перебивает ее.

— Я хочу, чтобы ты понимала. Хочу, чтобы было ясно. Я не позволю продать себя или выменять. Чтобы этого избежать, мне необходимо, чтобы брат воцарился в Микенах. Не только ради меня — всей Греции нужно, чтобы мой брат стал царем. Потомки Атрея должны делить власть между собой, иначе Менелай заберет себе столько силы, что никто не сможет ему противостоять. Он завладеет твоими островками без второго слова, выдаст тебя замуж за одного из своих сыновей, Телемах отправит в какое-нибудь путешествие, из которого тот не вернется, высосет из твоих людей все соки и даже не заметит этого.

Ты видела Елену? Ты видела ее после того, как ее притащили домой из Трои? Я видела. Ни одной из нас не следует быть женой сына Менелая.

В далеком дворце Елена смотрит на свое отражение в неподвижном водоеме и задерживает дыхание, чтобы не потревожить его серебристую поверхность. Но чем меньше на воде ряби, тем труднее Елене скрыть правду, не замечать морщинки под миндалевидными глазами, и она запихивает кулак в рот, чтобы не закричать. Вот так обстоят дела с последними царицами Греции.

Пенелопа говорит:

— Твои слова на пиру...

Электра отмахивается, как сделала бы ее мать.

— Просто глупый старик попробовал показать, кто тут главный. Если бы он продумал свои действия, то понял бы, что ничего хорошего не получится, а будут только насилие, война и кровь. Он был заносчив, и это не понравилось мне, вот и все.

— Тем не менее эта кровь была бы, скорее всего, моей и моего сына.

— Ах да, Телемах. У него совсем с головой плохо, да?

Такого не посмел бы сказать Пенелопе никто на Итаке, включая многих честных ее друзей, принесших ей клятву верности. Лишь дочь Агамемнона может сказать такое, будто речь идет о забавной гусенице. Губы Пенелопы искривляют злость, отрицание, виноватая ярость. Потом она выдыхает; ярость уходит, словно улетевшая бабочка, а на ее место приходят облегчение, ужас, изумление, смешанное со слезами, и, наконец, что самое странное, смех. У Пенелопы нет слов, но Электра смотрит на нее с любопытством, как будто пытается понять, почему вдруг истерически смеется со слезами на глазах та, которая обычно холодна как лед, и постепенно царица успокаивается, и они обе сидят у ручья так, будто между

ними нет ничего, кроме этого часа и прикрытой облаками луны.

В лесу над храмом Приена говорит:

— Разбойники явятся сюда, в эту бухту. Мы должны дать им высадиться и отойти от кораблей. Ни один не должен остаться в живых.

В доме на краю города Эвпейт бьет Антиноя по лицу, как женщину, и тот, не вскрикнув, падает на пол, зажимая разбитую губу.

В своих покоях Телемах глядит на море, а в его ухе слышится шепот, будто жужжит назойливая муха — жужжит голосом Афины.

В постели Андремона вскрикивает Леанира, и он закрывает ей рукой рот, чтобы никто не услышал. Только она знает, кричала ли от наслаждения или от боли, что он принес ей, вбиваясь в ее плоть. «Любовь моя, любовь моя, любовь моя, — шепчет он. — Когда я стану царем, когда я стану царем...»

Около ручья под темным саваном неба Электра проносит:

— Я знаю, ты тоже понимаешь, что Орест должен быть царем. Мне также хочется, чтобы ты понимала, что дело тут вовсе не в моей матери. Я не презираю ее, что бы она себе ни думала. Я не прощаю ее. Я не... я ничего не чувствую к ней. Я так долго пыталась заставить себя что-то почувствовать: ненависть, ярость, отвращение, — но чем больше я думаю об этом, тем меньше этого во мне. Мне все равно, жива она или мертва. Мне все равно, помогаешь ты ей сбежать или нет. Мне важно только одно: чтобы брат стал царем, а для этого моя мать должна умереть.

Наступает молчание. Пенелопа окунает пальцы в ручей. Иногда ей кажется, что он отвечает на ее прикосновение, что вода закручивается вокруг ее руки, как мягкие щупальца любопытного осьминога, может быть, распознавая

кровь матери — той, что родила и бросила ее, — в ее человеческой плоти.

— Был один человек, — продолжает Электра, — по имени Гиллас.

Пенелопа — сама ручей, и если она закроет свой разум, то, кажется, сможет вместе с водой утечь в морскую даль. Она часто думает, что морем, наверное, быть очень приятно. Может быть, она найдет на дне тело мужа, обернется вокруг него, вынесет на поверхность то, что от него осталось, и скажет: «Смотрите, смотрите, вот оно. Все кончено. Вы продолжайте заниматься своими делами, а я просто буду бесконечно плескаться волнами в ваши окровавленные берега».

Но Электра говорит, и Пенелопа не может уйти в свои грезы, а вынуждена слушать.

— Этот Гиллас был контрабандистом с западных островов — может быть, ты его знаешь? Именно он помог моей матери сбежать, когда погиб Эгист. Он отвез ее на Итаку, но здесь она совершила какую-то ошибку, какую-то оплошность, которая открыла ему, кто она такая. Она дала ему два кольца: одно — в уплату за перевозку на Итаку, другое — за путешествие дальше. Когда он понял, кого везет, отправил раба с одним из колец в качестве доказательства к некоему микенскому осведомителю, который живет на Закинфе. К тому времени мы с Орестом уже шли по следу матери, так что нам было несложно, получив это известие, сменить курс на Итаку.

Пенелопа кивает в пустоту и снова слышит оговорку двоюродной сестры, маленькое слово, на которое ей, видимо, стоило обратить больше внимания.

«Ты отдала ему золотую вещь... Перстень — другого такого не сыщешь».

«Ты нашла их?»

Не один перстень. Два.

— К тому времени, когда мы добрались сюда, этот Гиллас уже погиб. Вероятно, был убит моей матерью. Но если он мертв, то она не могла скрыться с острова. Когда второй перстень обнаружился на Гирии, я была, как ты можешь представить, поражена, не стану скрывать. Очень сердита, удивлена ее хитростью. Оресту, конечно, ничего не оставалось, кроме как пойти по следу: слишком много людей знало, что след ведет именно туда, и пусть даже он не нашел бы ее, но необходимо было по меньшей мере показать всем, что он готов бросить вызов самим богам, пытаясь поймать ее. Он не мог сидеть и ждать, пока она снова появится на Итаке: терпение несвойственно героям. А вот я могла. Несколько дней я даже отчасти верила в твою придумку, но потом подумала: это же Пенелопа, жена Одиссея, самого хитрого человека в Греции — так говорил мой отец. И как хорошо он выбрал себе жену. Она сестра моей матери. Может быть, моя мать и обижала тебя в детстве, она ведь дочь Зевса, но она всегда говорила, что ты умная. Умная утка Пенелопа. Умная уточка. Скажи мне, сложно ли быть на этом острове царицей?

— Очень, — кивает Пенелопа, а вода танцует вокруг ее пальцев.

— Очень сложно, да. Я бы хотела однажды быть царицей, но не такой, как моя мать. Она всем показывала, что она царица. Ей нравилось, когда ей кланялись, ей нравилось смотреть, как ломаются великие мужи. О, она могла уничтожить мужчину, если хотела! Мстя за все годы, за тысячи мелких унижений, она спускала с цепи свой гнев, и это было... наверное, можно сказать, что это было великолепно. Она так осмелела, что даже не прятала Эгиста. Они с ним... Иногда он щипал меня за щеку. Обещал, что будет меня любить. Не знаю, что он имел в виду. Не знаю. Я не буду такой царицей. Если уничтожу

человека, он не будет знать, что это мое имя надо проклинать всю дорогу до Аида.

Пенелопа поджигает губы, но ничего не отвечает. И я, и она сомневаемся, что Электра воплотит свое стремление, хотя, может быть, пройдет время, и я смогу смириться с ее надеждами, с тем, что последние царицы Греции способны быть царицами только втайне, что их пламя будет ярким, сияющим — и скрытым в опущенных глазах. Это больно, очень больно, так больно — я и не знала, что в моем сердце еще осталась кровь, которой оно может истекать. Мои царицы, мои дочери, моя душа, будьте со мною, восклицаю я, будьте со мною, будьте моим светом, моей мезтью, моей молитвой, мои царицы!

Они не слышат меня. Я давно научилась не говорить громче шепота.

— Я восхищаюсь тобой, сестра, честное слово, — задумчиво произносит Электра. — Ты играешь в очень сложную игру. То, как ты обходишься с женихами, я запомню навсегда, особенно историю с ткацким станком. Я многому научилась, наблюдая за тобой. Но довольно. У нас нет времени. С этого мига твоя безопасность зависит не от твоей хитрости, а от моей милости. Только добрая воля моего брата удержит твое маленькое царство от хаоса, а твоего сына — от жестокой гибели от рук этих голодных мужланов. Если мы отберем ее — если мы всем расскажем, что Итака более не находится под защитой Микен, — ты не выдержишься и месяца. Если вас не перебьют женихи, то перебьет Менелай. Я надеюсь, это стало тебе сегодня понятно.

— Совершенно понятно, сестра, — отвечает без горечи Пенелопа. — И спасибо тебе за откровенность.

— Не правда ли, приятно хоть иногда поговорить прямо? Ведь так и должны говорить царицы, — произносит

задумчиво Электра. — Может быть, так мой отец говорил с твоим мужем?

О да, Агамемнон думал, что именно так разговаривает с Одиссеем. Он, может быть, даже думал, что Одиссей честно отвечает ему. Это был один из многих-многих недостатков Агамемнона.

— Итак, — Электра садится прямо, обхватывает руками колени, — все сыграли свою игру. Ты отправила моего брата за тридевять земель, а я не стала препятствовать, чтобы ты спасла лицо, а он — честь, чтобы создать историю, достойную поэтов, покуда не придет время завершать это дело. Время пришло, и вот конец дела. Мы договорились?

Пенелопе иногда снится, что она море и у нее в сердце течения, которые могут двигать затонувшие города, которые меняют направление в тишине и не чувствуют волнения и бурь, сотрясающих поверхность.

— Договорились? — переспрашивает она. — Мне показалось, мы не вели переговоров.

— Нет, — соглашается Электра, — не вели. Я надеюсь, в грядущие годы это не омрачит нашей дружбы. Я бы очень хотела, чтобы однажды мы подружились.

У Электры нет друзей. Ее мать ревниво относилась к настоящей любви, если та вдруг возникала рядом с ее странной, хмурой дочерью. Теперь, когда мать мертва, Электра поклялась найти друга, несмотря ни на что, но она не знает, ни что такое дружба, ни как привить ее своему сердцу. «Царицы, мои царицы, — шепчу я, — давайте будем держаться вместе, связанные тайнами и тенями, мои прекрасные царицы».

— Я хотела... хотела спросить. Вот это... ты защищаешь свое царство, но защищать ее?.. Зачем это делать царице?

— Ты хочешь знать почему? Почему я отправила твоего брата на Гирию, поставила все на кон, чтобы защитить твою мать?

Электра сглатывает и кивает.

Пенелопа обдумывает это, пытаясь распутать клубок мыслей, отцепить правду от неуверенности. Когда она начинает говорить, ее слова, словно камни, падают на мое разбитое сердце.

— Когда она умрет, в Греции больше не останется цариц. Знаю, что я... Но то, как я правлю, люди видеть не должны. Елена... и я знаю, что и ты... Но даже если ты выйдешь замуж за мудрейшего, добрейшего человека на всех островах, его слуги будут мужчины, его советники будут мужчины, голоса, говорящие ему, как быть мужчиной, будут исходить от мужчин, которым их отцы, а тем их отцы объясняли, что быть мужчиной — значит управлять. Что быть мужчиной — значит стоять выше, обладать качествами господина, которыми женщине обладать не суждено. Ты никогда не будешь царицей, Электра. Не будешь такой, как твоя мать. Что бы ты ни делала. Мы воспитали слишком много сыновей, которые никогда не поймут нас. Клитемнестра последняя из нас. Она не заслуживает смерти.

Электра думает об этом замерев, как будто ее коснулся холодный ветер. Потом качает головой, отбрасывая мысль, которую неспособна понять, не хочет понимать, не может не понять. И миг уходит, как будто эти слова не были сказаны, как будто правда не прозвучала в темноте, а мои слезы — лишь лунный свет и замерзшая роса.

— Я знаю, что моим другом быть трудно, — выпаливает она. — Но если все будет так, как я задумала, я буду обладать очень большой властью. Тебе придется говорить мне приятное. Я знаю, что со мной может быть сложно. Я постараюсь. Я научусь стараться, понимаешь?

Когда Пенелопа была еще молодой женой, топала ногой и страдала так, что все видели, когда по-настоящему говорила о муже, она заявляла порой, что у нее нет на свете

ни одного друга. И Антиклея смотрела на нее искоса, будто говоря: «Ну к чему это ты?» Потом она повзрослела, стала меньше топтать ногой, а Урания рассказывала ей смешные истории про человека, которого знала, который знал человека, который знал вора, который украл лучшие драгоценности Нестора из-под подушки, на которой храпел старый царь. А Эос пела ей песни своего детства, и даже старый Медон — он, кажется, всегда был старым? — сидел с ней после совета и объяснял какие-нибудь вопросы управления государством, которыми, как считали остальные, ей не стоило забивать свою хорошенькую головку. «Выбирай, в какую битву ввязаться, — говорил он. — У тебя не так много стрел».

Эти дружбы открывались ей так постепенно, не так, как поют поэты: во вспышке огня, в боевом братстве, — а проникали к ней в окно легкими шагами Гермеса, пока она вдруг не обнаружила, сколько у нее друзей и как больно ей было бы потерять их — большее даже, чем потерять саму Итаку.

Пенелопа встает, Электра — за ней, и мгновение они смотрят друг на друга в тусклом свете лампы и размытом сиянии звезд. Потом Пенелопа говорит:

— Микены всегда были другом Итаки. Не знаю, будем ли друзьями мы с тобой. Я не знаю, кто ты, дочь Клитемнестры. Ты застала меня в сложный период моего царствования, как, вероятно, и я — тебя. Становиться друзьями нужно в более мирное время, когда есть время узнать сердце другого, а не объединяться в час опасности или угрозы. Я не знаю, когда теперь настанут мирные времена, но, как бы то ни было... надеюсь тогда тебя встретить.

К удивлению обеих, Электра улыбается и слегка кланяется итакийской царице.

— Я была бы рада, — говорит она, и сделка заключена.

STONE HEDGE



В почерневшей ночи я несусь огнем по поверхности земли злобной кометой, и подо мною качаются моря, и Посейдону хватает ума смолчать, а надо мной разверзаются небеса, и мой муж покает языком и говорит: «Опять у нее плохое настроение», а на Итаке спит Клитемнестра, она спит, спит моя лучшая царица, моя прекрасная, моя госпожа ножей, любимая моя. Три дочери Спарты стали царицами в Греции, и я люблю их, их властные голоса и огненные глаза, даже Пенелопу, даже ту, которая улыбается и говорит, что все делает ради мужа, я люблю и ее, и ее я люблю. Но богам положены любимчики, и больше всех я люблю Клитемнестру, мою лучшую царицу, ту, которая захотела стать свободной.

Я разрываю облака, рассекаю почерневшие скалы, срываю листья с гнущихся деревьев, потому что хоть я

и люблю Клитемнестру больше всех, я все равно царица цариц, и есть то, что царица вынуждена делать.

Афина смотрит с берега.

Артемида бродит по лесу.

А в чреве земли шевелятся эринии.

Они принюхиваются к воздуху, что через шелку затекает в подземный мир из-под небес, и чуют проклятье, убийство, хаос, кровь. Даже мы, боги, которые сгибают небо и разрывают море, отворачиваем лица, когда слышим, как они распускают крылья.

Берегись, сын, готовый пролить кровь матери.

Хотя бы отвернулись и сами боги, эринии не отвернутся от тебя.

Афина шепчет на ухо Телемаху ночью, а днем он бродит по пристани, глядя на корабли со свернутыми парусами и поднятыми веслами.

Артемида выходит из тьмы, потому что ей все-таки стало любопытно, и, когда Теодора поднимает свой лук, Охотница поддерживает ее руку, укрепляет запястье, шепчет лесным женщинам: «Величайший охотник тот, кто убивает единственной стрелой». Ее глаза отсвечивают алым, отражая костры, что опоясывают рощу, где женщины учатся воевать, и под ее ногами вздымается почва.

Ткацкий станок, на котором ткался саван Лаэрта, пылится, всеми забытый, в одной из угловых мастерских. Кто-нибудь другой закончит начатую Пенелопой работу, когда придет время, сделает все быстрее и лучше, и никто не узнает о подмене.

Лаэрт вышагивает посреди пепла своего хутора.

— Высокие стены! — восклицает он. — Высокие стены, а сверху — остря!

А в тихом месте дворца, куда заходят только женщины, Пенелопа в молчании сидит перед Леанирой. Служанка стоит. Они обе более чем способны целый час молчать,

наполняя комнату свирепой пустотой. Наконец Пенелопа говорит:

— Что ж, дело сделано. Да, сделано.

Леанира — гора, она не меняется от набега морских волн.

— Женихи говорят, что это Меланта рассказала им о ткацком станке. Ей приказано ничего не говорить об этом. Ты останешься в доме Урании, пока все не закончится, — добавляет царица. — Потом за тобой пошлют.

Леанира — пропасть на морском дне, где встречаются огонь и мрак.

Она резко кивает и уходит.

А в темноте я прожигаю своим горем звездное небо и закрываю луну, а та все чертит и чертит свой путь вокруг земли.



Утром Кенамон сидит на холме, где иногда сидел с Телемахом, но Телемах не приходит.

Вместо него туда медленно взбирается Пенелопа, ее покрывало развевается на ветру. Кенамон встает, завидев ее. Эос ждет внизу, рассматривая белые цветы с пурпурными точками, будто хочет постичь тайное ведовство трав.

— Госпожа, я не... — начинает неуверенно Кенамон, как только Пенелопа подходит достаточно близко.

— Перестань, — отмахивается она. — Мои служанки уже несколько недель как заметили, что ты приходишь сюда каждое утро. С тех пор как встретил здесь моего сына, верно?

Египтянин немного краснеет, но, повинаясь ее жесту, садится на жесткую, покрытую короткой травой землю.

— Ты... знаешь, что я кое-чему его учил? Надеюсь, ты не возражаешь?

— Возражаю? Почему я должна возражать? Я слышала, что ты спас ему жизнь. Может быть, даже дважды.

— Я не думал, что...

Она жестом отменяет предложение, не давая его закончить.

— Я не могу говорить с тобой во дворце или выказать благодарность. Ты понимаешь это.

— Конечно. Твое расположение сделает меня целью для других.

— Какое тебе еще расположение, — укоряет она. — Это всего лишь... вежливость матери. Благодарность матери. Спасибо тебе.

— Мне было приятно учить твоего сына.

— Но больше ты его не учишь.

— Нет. Он... отдалился от меня с той ночи, когда был бой. И еще больше — после пира, когда обсуждали станок. Станные у вас обычаи, очень странные.

— Он говорил тебе что-нибудь? Хотя что-то?

— А разве он не говорил с тобой?

— Нет. Он ничего не рассказывает мне. Я подумала, может... учитывая, что ты учил его... он может счесть, что ты более...

Она замолкает, ветер сдувает ее голос.

Кенамон качает головой.

— Нет. Я, вероятно, надеялся на то же. Но нет.

— Я очень, очень за него боюсь, — признается она, глядя в море.

— Он храбрый. И может стать умным.

— Я знаю. Но он еще ребенок.

— Он вырастет. Прямо у тебя на глазах. Он вырастет.

Пенелопа поворачивается к Кенамону, и ей удается улыбнуться, и покрывало прячет слезы в ее глазах.

— Разреши дать тебе совет? Не как царица. А как та, которая должна тебе. Как мать, сын которой... Можно дам совет? Уезжай с Итаки. Спасай свою жизнь.

Сказав это, она встает, и он наблюдает, как она спускается с холма к дворцу.

В вечерней темноте Пенелопа навещает Клитемнестру, сидит с ней у огня, и некоторое время обе молчат. Наконец Пенелопа говорит:

— Есть корабль. Он отплывает через несколько дней с Самы.

— Куда?

— В Феакию.

Клитемнестра недовольно морщится.

— Скуотища. Ты знакома с Алкиноем и его женой? Скучно, скучно, скучно.

— Это временно. Другой корабль отвезет тебя оттуда на юг.

Клитемнестра надувает щеки.

— Ладно. Скучно, но ладно.

И снова они молчат.

Что слышит в этой тишине Клитемнестра?

Слышит ли она, как колотится сердце Пенелопы? Или крик умирающего Эгиста? Последний хрип Агамемнона под ее ножом? Далекий шорох крыльев просыпающихся эриний? У них так много работы, столько крови и трагедий, на которых они смогут вдоволь попировать.

Слышит ли слезы богини, тихонько оплакивающей неизбежный итог?

Сегодня я не вторгаюсь в мысли Клитемнестры.

Сегодня они только ее, драгоценные и священные, лишь в эту ночь.

За несколько часов до рассвета наступает конец.

Это последняя заря, моя любимая, оденься красиво. Семела — ужасная хозяйка, грубый землепашец, но приходит Эос, приносит гребень, свежий воск и мед. Прически,

которые она умеет делать, некрасивые и устаревшие, но чего еще ждать от этого островишки, населенного отсталой деревенщиной? Хорошо, когда кто-то разглаживает складки твоего хитона, приятно, когда чьи-то пальцы касаются твоей обнаженной шеи, открытой прохладе ночи.

Клитемнестра, моя несравненная царица, выпрямись, выпрями спину. На Итаке совсем мало краски для лица: нет ни заостренных палочек древесного угля, покрытого воском, чтобы подвести глаза, ни пасты из свинцовых белил, чтобы добавить лицу бледности. Но от тебя пахнет маслом и густой пылью больших желтых цветов, из сока которых пчелы делают свой нектар, и, когда ты поворачиваешься к двери, ты царица. Сверкание твоих глаз, рисунок губ, уверенность шага, осанка делают тебя царицей. Моей царицей. Я никогда не думала, что полюблю кого-то из ублюдков Зевса так, как люблю тебя, великолепная Клитемнестра.

Я подхожу с тобою вместе к кружку ожидающих женщин: здесь Теодора, вооруженная ножом и луком, Автоноя, которая помогает тебе взобраться на тощую гнедую лошадь — и какой статной она кажется, когда на ее спине восседаешь ты. Анаит пришла из леса, но ты ее почти не узнаёшь, эту жрицу, что дала тебе священное убежище. Особе царских кровей нет до нее дела. Здесь Урания и один из ее мужчин — тебя провожают с почестями, целой свитой сопровождают к морю.

Я лечу рядом с тобою, вдыхаю себя тебе в кровь, забывая сомнение и страх. Луна растет, тонкий обрезок света, и в неярком этом свете я даю тебе дар воспоминания. Ты едешь к берегу, а я возвращаю тебя в твой первый приезд в Микены, к бою барабанов и вою рогов, к людям, выстроившимся вдоль улиц, чтобы кричать: «Где, где она? Вот! Вот она, дочь Зевса! Вот она, великая царица, дитя Олимпа, великолепнейшая, восславьте ее имя!»

И когда ты сворачиваешь на пустую тропинку, ведущую прочь от города, я напоминаю тебе о том, как кланялись люди Агамемнона, как они падали ниц перед твоей мощью и мудростью, униженно просили прощения за свои проступки. Ты карала их не потому, что любишь наказывать; ты не была тираном, ты не была жестокой. Ты просто забирала у них заблуждения, за которыми они прятались, показывала им, что их сила — лишь заносчивость, что их ум — лишь глупость. Ты возносила честность, заслуги и спокойную добродетель, и великие мужи Микен ненавидели тебя за это, за то, что ты разбила их притязания, а я полюбила тебя, и я люблю тебя, я люблю тебя.

На берегу внизу горят огни, тени жмутся вокруг лодки, суденышка, что отвезет тебя на Кефалонию. Тебе чудится что-то знакомое в силуэте мужчины, стоящего там в дрожащем свете факелов, но я обращаю твой взгляд к небесам, где вечно сияют в бессмертии твои братья, распростершись среди звезд. Может быть, думаешь ты, и твою душу заберут после смерти и бросят на небо молочным пятном, разлитым звездным светом, чтобы тебе бесконечно сиять вместе с братьями. Я благословляю эту грезу, позволяю ей побродить у тебя в голове, даю тебе почувствовать сладостный привкус бесконечности, но вот наконец ты снова обращаешь свой взор на черную-черную землю.

И пока ты спускаешься по извивающейся тропинке к заливу, я наполняю твои уши смехом твоих детей из тех дней, когда они еще любили тебя, когда и ты знала, что такое любовь. Ифигения не кричит, вырываясь из рук воинов, которые тащат ее на алтарь. Электра не стоит в дверях и не заявляет: «Отец любит меня больше, чем тебя!» Орест еще не уехал в Афины. И когда твои дети смотрят на тебя, ты точно знаешь, что сказать каждому из них. Ты держишь каждого в объятьях и шепчешь:

«Мама страшная только потому, что хочет научить тебя, как быть сильным. Но мама научит тебя и как грустить, и как бояться, потому что иногда ты будешь грустить и бояться, и в этом нет ничего плохого».

Вот каковы мои дары тебе, Клитемнестра. Иди без страха: я с тобой.

Наверху собираются олимпийцы: Гермес носится по облакам, Посейдон выглядывает из воды у берега черноглазыми крабами, Аид напускает на землю мягкий туман. Даже Артемида явилась, вышла босиком из леса, уселась на корточки, обхватив себя руками так, будто хочет превратиться в камень. Я оглядываюсь и не вижу Афины, и я удивлена, но сейчас не время думать о том, куда делась моя падчерица. Клитемнестра спускается к заливу, и задолго до того, как остановить лошадь и спешиться, она видит, кто ждет ее около маленькой лодки. Весла ее подняты, парус опущен — эта лодка сегодня не выйдет в море. Но, освещенные ярким светом поднятых факелов, там стоят ее дети.

У Ореста на поясе меч. Электра стоит чуть сзади, за ней — Пилад. Пенелопа — позади всех троих: вероятно, ей стыдно, ее глаза устремлены на тонкую полосу прибоя, что облизывает берега Итаки.

Клитемнестра видит все это, смотрит туда, где спешиваются всадники, сопровождавшие ее сюда, выстраиваются в полукруг, в стену, которую она не сможет проломить. Снова поворачивается она к своим детям, не замечает нахмуренных бровей Электры, не видит Пенелопу, а наконец-то устремляет взгляд на Ореста.

— Дорогой мой мальчик, — говорит она и протягивает к нему руки.

Он не делает шага, чтобы обнять ее, будто вовсе не слышит. Его брови нахмурены, лицо черно. Она опускает руки и все равно делает шаг ему навстречу.

— Ты хорошо выглядишь.

Никто ничего не отвечает. Пенелопе, стоящей за спинами детей Клитемнестры, приходит в голову, что ей стоило бы предупредить Электру: разговор может пойти именно так. Когда она заключала свою проклятую сделку с царевной, вероятно, ей стоило бы отвлечься от продумывания того, как и когда дочери выдадут мать, чтобы добавить: «Ей очень важно, как питается ее сын».

Но она этого не сказала. И в горле у нее теперь стоят колом вина и стыд; она струсила, попросила Уранию поговорить с Электрой вместо себя, чтобы еще одна женщина понесла на себе предательство Пенелопы по отношению к сестре. Собиралась ли Пенелопа вообще отпускать Клитемнестру? Я смотрю в ее сердце, и ответ закрыт от нее самой, так запутан в горе и сомнениях, что даже я, чей взгляд превращает кровь в рубины, не вижу его.

Внутри Пенелопы все еще живет женщина, полная надежды, страха, мечты и отчаяния. Но она гораздо дольше была царицей, чем кем-либо другим, а у греческих цариц не так много возможностей выбора.

Все, кроме Пенелопы, удивляются, когда под неспешное шуршание прибоя Клитемнестра делает еще полшага к Оресту и говорит:

— У тебя в Микенах есть надежные люди, правда? Ты не оставил ворота незащищенными? Тебе пришлось ехать сюда, так далеко. Я знаю, что тебе никогда не нравилась пышность отцовских церемоний, но очень важно, чтобы люди видели тебя. Стоит приложить усилие.

Еще полшага — это такое странное, дерганое движение, как будто бы она готова споткнуться, и Электра делает резкий вдох, не зная, как это понимать. Клитемнестра видит это, выпрямляется, расправляет хитон, проверяет, не выбилась ли прядь из прически.

— Ну что ж, — говорит она наконец чуть тише, а море пытается заглушить ее голос. — Ну что ж, вы выглядите очень хорошо. Очень хорошо. Очень красиво.

Мне кажется, что под поверхностью земли я слышу скрежет когтей по черному базальту и шорох расправляющихся кожистых крыльев. Эринии выглядывают через трещины в камне, глядят кровоточащими глазами наверх, глядят и ждут. Когда в последний раз сын убивал мать?

Какую кровавую пищу готовят им эти дни?

Похоже, у Клитемнестры кончились слова. «Ничего страшного, — шепчу я и сжимаю ее руку в своей. — Для некоторых молчание — слабость; для великой царицы — оружие. Ты самая великая, самая великая, моя любимая, самая великая из всех».

Орест пытается что-то сказать. Открывает рот, пальцы его побелели, так крепко он сжимает свой меч, он покачивается на морском ветру, а Электра протягивает руку и кладет ему на предплечье, будто хочет удержать. Глаза Клитемнестры на миг устремляются на дочь, но она не снисходит до того, чтобы заговорить с ней.

Миг они стоят так, и я чуть было не выхожу из себя, чуть не плюю ядом Оресту в лицо, но тут чувствую присутствие другой богини наверху, на утесе. Это наконец явилась Афина, на голове шлем, он скрывает лицо, видно только огонь в глазах, она сжимает копье, в руке щит: она снаряжена для войны, для окончания, чтобы завершить это все, — а рядом с ней, ведомый ее невидимой рукой, — Телемах.

Она привела сюда Телемаха.

Не знаю, какой ушербной хитростью или мелким обманом она вытащила сына Одиссея из постели, но она это сделала, и теперь он стоит, укутанный во тьму, которую мой взор разрывает, словно паутину, и смотрит на эту сцену. Я поворачиваюсь к Пенелопе, но она сына не видит,

и на миг у меня возникает искушение подтолкнуть ее, прошептать: «Посмотри, посмотри, он там!» Но Афина стоит так близко к Телемаху, что может схватить его и улететь, она шепчет ему на ухо, а я чувствую, что глаза Гермеса и Посейдона, Аида и самого Зевса устремлены сейчас на этот берег, и под их взглядами я съеживаюсь. Я сжимаюсь. Я уменьшаюсь. Я забираю свою руку из руки Клитемнестры: прощай, — и в этот миг она ахает, будто только что увидела меч на поясе сына, словно почувствовала, как по венам расплзается смертность. На миг она лишь женщина, одинокая, испуганная, и мне приходится смаргивать золотые слезы, когда вижу, как разбивается ее сердце. «Будь сильной, любимая, — шепчу я. — Будь царицей».

Мой муж грохочет отдаленным громом, призывая поскорее закончить с тем, что должно совершиться в эту ночь. Пришел ли он посмотреть на смерть убийцы Агамемнона или на то, как последнюю великую царицу Греции убьет ее собственный сын? Я не знаю, что занимает его больше: смерть царей или смерть цариц. Ему вряд ли хватит тонкости оценить и то и другое.

Электра открывает было рот, но ничего не говорит. Она наверняка приготовила какую-то речь, какой-нибудь список прегрешений своей матери, какой-либо великий призыв к кровавому возмездию, чтобы подтолкнуть брата. Но теперь, на берегу, этой речи не слышно. Слова улетают от нее, как дыхание, она протягивает руку и хватается за Пилада так, будто никогда раньше ей не требовалось теплого человеческого прикосновения, к ее ледяной коже.

Клитемнестра видит это, улыбается, кивает. У нее по-прежнему больше величия, чем у дочери, — это хорошо. Она этому рада. Ее глаза теперь обращаются на Пенелопу — и снова улыбка, теперь печальнее, опять кивок.

— Уточка, — шепчет она, — все-таки научилась быть царицей.

Пенелопа опускает глаза; но она поклялась, что в этот час отдаст сестре дар своего уважения, будет вместе с ней, не отведет от нее взгляда до самого конца, поэтому заставляет себя снова поднять глаза, и на миг ей кажется, что на утесе она видит кого-то — может быть, сына, а рядом с ним женщину, одетую в белое, — но она моргает и больше этого не видит.

Снова мой муж грохочет над морем, теперь чуть ближе, а волны нетерпеливо набегают на берег. Боги не почтут Клитемнестру дождем, не смоят ее кровь и не спрячут ее слезы падающей с неба влагой, не разорвут ради нее небеса.

Орест держит руку на мече, но все еще не обнажил его. Губы Клитемнестры дергаются в неодобрении, в надежде, в выражении, которое она в конце концов прячет от всех нас. Электра наклоняется к брату, будто хочет шепнуть ему в ухо: «Давай, давай, смелей» — но не может выговорить и слова. Она просто делает шаг к Оресту, кладет ладонь на его руку, лежащую на рукоятке меча, и вместе они достают его из ножен. Маленькими ладошками она обхватывает его кулак и помогает ему направить меч на мать. Делает шаг вперед и весом своего тела тянет его по направлению к ждущей царице, потом еще один шаг, и они останавливаются — острие меча на расстоянии ладони от груди Клитемнестры. Клитемнестра не отшатывается, не просит пощады, не вскрикивает. На ее лице слезы, она быстро дышит, но губы ее не дрожат, она держит спину прямо, а взгляда не отрывает от глаз сына. И я невольно тяну к ней снова руку, но тут же чувствую, как воля Зевса бьет меня по ладони, отбрасывает в сторону. Я яростно, униженно плююсь черными тенями, но он не хочет, чтобы кто-то вмешивался, и все боги смотрят

на этот миг. Эринии хохочут под землею, стучат когтями и костями. Афина удерживает Телемаха, положив руки ему на плечи так, чтобы он не моргнул и не пропустил ни мгновения.

«Смилуйтесь». Я пытаюсь сказать это слово, вскрикнуть, обращаясь к моим братьям. Неужели никто не остановит руку Ореста? Неужели никто не прикажет эриниям убираться? Неужели никто не воскликнет: «Смилуйтесь, смилуйтесь, проявите милосердие»? Вот лодка, это можно закончить, не проливая материнской крови, освободите ее, освободите ее, я взываю к милосердию! Где ваше милосердие, сыны Олимпа? Где ваше милосердие, вы, проклятые убийцы?!

А домочадцы Агамемнона так и стоят замерев. Электра дрожит, будто ее колотит внутреннее землетрясение. У Ореста красные глаза, и я наконец вижу того мальчика, на которого не обращала внимания, и с ужасом осознаю, отчего онемел сын Агамемнона. Ведь — глядите, поглядите снова, и вы увидите, что, несмотря на кровь, несмотря на предсказанную судьбу, Орест любит свою мать. Он любит свою мать, и свою сестру, и свой народ. Он хочет выполнить свой долг, быть любящим сыном, благородным царем, а однажды, вероятно, стать щедрым мужем и отцом, который обожает своих отпрысков. Он поклялся, что поднимет своих детей к солнцу и воскликнет: «Отец любит вас! Да, любит, как он вас любит!» И он станет откровенно говорить со своей женой о своих страхах и сомнениях, и признается, когда будет чего-то не знать, и выслушает ее, когда она скажет, чего она хочет, и будет честно поступать со своим народом и своей семьей. Он разрушит проклятье Атридов, он смоет их грехи добрыми делами, делами справедливости и мира, и из всех нас, стоящих на этом берегу, лишь для него одного, вероятно, можно попросить милосердия, потому что ему это слово

знакомо, как вкус воды, как поцелуй солнечного света. Милосердие — говорят его глаза, милосердие — выстукивает его сердце, милосердие написано на его лице; и все же он знает — он знает, знает, знает, — что если он хочет, чтобы в Микенах был мир, то его мать должна умереть. Милосердие — кричат его глаза; почему ни один бог его не слышит? Почему мы закрыли уши к его молитвам? Я чувствую, как Посейдон сдувает их ветром, не давая сложиться в слова, как их заглушает грохот приближающейся грозы, которая требует крови. Он почти произносит «смилуйтесь», потому что знает: если он сделает это, у него никогда не будет детей. Если он убьет свою мать, то кровь Атрея окажется сильнее любой доброты, а он предпочтет унести проклятие с собой в могилу, чем передать его следующему поколению.

«Смилуйтесь» — выстукивает его сердце, и, наверное, Клитемнестра в конце концов видит это тоже. Может быть, она смотрит в его лицо и видит не греческого царевича и даже не собственного сына, а того мужчину, которым он хочет стать. Потому что она улыбается ему, поднимает руку, проводит по его щеке и шепчет:

— Будь храбрым, мой царь.

Пальцы Электры плотнее сжимаются вокруг пальцев Ореста. Она делает шаг, тянет за собой меч. Движение увлекает Ореста вперед, в последний миг Электра отпускает меч, но скорость уже набрана, удар уже не остановить, и Орест ахает, когда под его весом меч пронзает одежду матери и грудь матери и входит меж ребер глубоко в тело. Эринии воют от восторга, земля содрогается от их разнузданной радости. По морям пробегает волна, она шипит, словно праздная, гроза посверкивает зарницами, Гермес кружит по небу в золотых сандалиях, Артемида качает головой, не одобряя такое неуклюжее убийство, Афина стоит, положив руку на спину Телемаха, и шепчет:

«Смотри, смотри и учись, мой мальчик». Ее глаза огромные, влажные, в них что-то вроде восторга, ее всю трясет от возбуждения, а Клитемнестра падает.

Я ловлю ее, когда она падает, чтобы ее падение не стало некрасивым, уродливым зрелищем кишок и костей. Никто не возражает. Дело сделано, и теперь они не станут останавливать Геру, не станут мешать ей причитать над телом той, кто ей принадлежал. Я осторожно опускаю ее на землю, кладу ее голову себе на колени, глажу ее, шепчу ей приятные, бессмысленные слова. Орест делает шаг назад, высвобождая меч, смотрит на него так, будто раньше никогда не держал в руках оружия. Электра быстро ловит его за плечо, разворачивает его, чтобы ему не пришлось смотреть на умирающую мать. Пилад подхватывает его, когда он, сделав шаг в сторону, спотыкается и чуть не падает. Электра бросает взгляд на Клитемнестру, и на миг мне кажется, что она сейчас побежит к матери и бросится ей на шею, будет поливать ее лицо солеными слезами, в какой-то миг, вероятно, и сама Электра готова сделать это — но потом она поворачивается, обнимает Ореста за талию, мягко отнимает у него окровавленный меч, помогает ему сделать шаг, и еще, и еще, прочь от упавшей Клитемнестры.

Моя царица, величайшая из всех цариц Греции, смотрит в небо и не видит на нем своих братьев. Дочь и сын, спотыкаясь, идут прочь, не глядя на нее. Посейдон со вздохом уходит на глубину, Зевс отводит свой гром и свой взгляд. Телемах разворачивается и покидает утес, ведомый мягким прикосновением Афины. Артемида цокает языком и снова скрывается в подлеске. Гермес больше не летает по клубящимся облакам. Все боги и люди отводят взоры, и остаюсь только я.

Кто-то еще опускается на колени рядом со мной. Это Пенелопа, она берет Клитемнестру за руку и мягко держит

ее, склоняясь над упавшей сестрой. Женщины Итаки собираются вокруг, волны лижут полы их одежд, и все вместе они поют голосами негромкими, как сумерки, печальные песни своего народа. Они не издают воплей, как плакальщицы, одетые в пепел, не рвут на себе волосы и хитоны. Их песни — те, что поют жены моряков, оплакивая любимого, которого забрало море, похоронив где-то на неизведанной своей глубине.

Я провожу пальцами по лбу Клитемнестры, прогоняю боль, прогоняю страх. Я заклинаю, и кровотечение останавливается, дыхание замедляется. Я не хочу, чтобы она умирала долго, но, когда ее глаза закрываются, успеваю соединить свой голос с голосом женщин, чтобы она отплыла к концу своей истории на волнах небесной музыки.



Женщины несут тело Клитемнестры в город.

Некоторые говорят, что его нужно осквернить, оторвать голову и принести ее на шесте, напоказ всем. Электра поджигает губы и размышляет, что из этого выйдет хорошего и плохого, но Орест просто говорит:

— Нет. Она была царицей.

И теперь еще долгое-долгое время никто не услышит от Ореста ни слова.

Так что тело оборачивают в саван, оставив открытым лицо, чтобы каждому было видно, что это жена Агамемнона, убийца царей, а по всей Греции рассылают гонцов, чтобы рассказать всем, что дело сделано. Орест, сын царя царей, величайшего из греков, убил свою мать и вернется в свой дом как воин и мужчина, дабы взойти на престол.

Кое-кто пытается праздновать, слышны крики: «Потаскуха мертва!» — но собравшаяся толпа быстро заставляет их молчать.

Пенелопа вручает Оресту и Электре пресную воду и несколько амфор квашеной рыбы, чтобы они спокойно доплыли до дома.

Орест молится в святилище Афины, поскольку более приличного храма, где ему можно было бы преклонить колени, на острове нет.

Электра снаряжает корабли, набирает моряков, просит поднять парус с золотым ликом ее отца, чтобы заменить потрепанный черный, под которым они прибыли на Итаку. Она смывает с лица пепел, даже что-то ест, один раз улыбается Пенелопе, забывает улыбнуться Телемаху, потом вспоминает, чуть позже, чуть медленнее положенного, — это учтивость, которой теперь нужно заново учиться. Неважно. Он не улыбается в ответ.

— Мечь, — говорит он.

Электра смотрит на Телемаха и, кажется, в первый раз видит в нем мужчину, которым он может стать. Он стоит в ее дверях, положив руку на меч на поясе, выпрямив спину, глядя твердо перед собою, и повторяет:

— Мечь.

Она медленно подходит к нему. Кладет два пальца ему на губы. Проводит по его шее. Он не двигается. Не моргает. Ее пальцы замирают в ложбинке у основания шеи, на впадинке, покрытой шелковой бледной кожей. Ей приходит в голову проткнуть ее пальцами, посмотреть, что будет. Она уже задавалась этим вопросом несколько раз и даже думала вызвать к себе в покой мужчину, раба, разложить его голым на кровати и исследовать его тело, чтобы понять, что у них мягкое, что — твердое, где возникает удовольствие, а какие части у мужчины самые чувствительные, какие проще всего отрезать

или проткнуть, чтобы умер даже самый сильный, самый великий воин.

Она думает над тем, чтобы прижаться губами к его губам. Она надеется, что, когда Телемах возьмет ее, это будет жаростно, жестко, как, вероятно, ее отец сделал с ее матерью, когда впервые швырнул ее наземь. Она надеется, что он пихнет ее к стене, прижмет, задыхаясь от возбуждения, покрасневшись, не глядя ей в глаза, пока делает свое дело, тяжело дыша. Таково ее представление о том, что такое для мужчины быть героем, владеть женщиной так, как должно быть.

На мгновение ей кажется, что она это в нем видит. Видит вероятного героя Греции, царя, который знает, что такое брать, распоряжаться, быть сильнее всех остальных. В конце концов, именно таким должен быть мужчина. А Электра, хоть и будет царицей, не может представить себе жизни без мужчины.

Потом их глаза встречаются, и на миг — ужасный, полный разочарования миг — она видит другое. Она видит, пусть на мгновение, как проглядывает в его взгляде испуганный мальчик, который спросит ее, здорова ли она, будет нежным, будет заботиться о ее благополучии, будет пытаться — как отвратительна ей эта мысль — понять, как доставить ей удовольствие.

А Телемах?

Что видит Телемах?

Когда Электра убирает пальцы с его горла, поворачивается к нему спиной, он видит в ней что-то от ее отца — даже в женщине. Он видит гордость Агамемнона, видит мощь его дома. Он не видит в ней ничего от ее мертвой, завернутой в окровавленный саван матери, ничего от той женщины, которой Электра может когда-нибудь стать. Он даже почти не видит женщину, которая стоит перед ним сейчас, которая отворачивается и просто говорит:

— Она свершилась.

Пройдут годы, прежде чем он снова поговорит с Электрой.

Итак, за считанные дни все улаживается, и микенские корабли уходят.

Пенелопа стоит на пристани и не машет им вслед рукой. Ни барабаны, ни трубы не отмечают убытия нового царя Греции и тела его матери, но горожане все равно приходят посмотреть им вслед и погальдеть, и этот шум всякий волен истолковать как хочет.

Электра поднимается на борт последней. Она стоит перед Пенелопой на пристани. Она хочет сказать: «Спасибо, прощай, я была рада познакомиться с тобой». Ни одно из этих слов не кажется подходящим, так что она просто сжимает руки Пенелопы в своих, как будто они собираются вместе молиться, и наклоняет голову, и ниже царица Микен никогда никому не поклонится; и убегает, прежде чем все станет еще более неловко.

Царице Итаки все это кажется бесцеремонно резким обрывом их общей истории.

Ей кажется, что многое осталось невысказанным, а невысказанное, по ее опыту, часто растет опухолью на молчащем языке, а потом превращается в поток слов, когда уже слишком поздно. Пенелопе кажется неправдоподобным, даже невероятным, что это дело закончено. Если она прикроет глаза, ей чудится, что она слышит скрежет когтей по камню, смех из глубин земли, ощущает ледяное прикосновение зимы, хоть солнце и светит вовсю.

Ничего не закончилось, думает она с ясностью и силой, которые потрясают ее саму, будто на нее снизошло некое божественное откровение. Медон стоит рядом с Пенелопой и смотрит, как корабли поднимают паруса.

— Ну что ж, — говорит он наконец, — одну жуткую смерть предотвратили.

— Думаешь? Наверно, ты прав.

— Конечно. В Микенах будет царем Орест, наш преданный союзник, который ни больше ни меньше как в долгу у народа Итаки за то, что помогли ему поймать его мать-убийцу. Это здорово. Очень здорово. Ты купила себе передышку.

— Да?

— Я знаю, что она была твоей сестрой. Клитемнестра. Ты, наверно... вероятно, ты... — Медон делает неопределенный жест, надеясь, что помахивание пальцами отразит идею о женских переживаниях и ему не придется мучиться, описывая эти переживания словами.

— Она была женщиной, которая не уступала мужчине в своем несовершенстве и в своем уме, — вздыхает Пенелопа. — И всегда говорила, что я кричаю, как утка.

Медону кажется, что Пенелопа сейчас ведет речь о чем-то большем, нежели просто орнитологическое наблюдение, но он опять-таки не уверен, что хочет в этом разбираться, а потому перемещает беседу на более знакомую ему территорию.

— Впрочем, у нас вскорости намечается еще одна жуткая смерть, если помнишь.

— Что? А, разбойники Андромена. Мечь, кровь и все такое. — У нее усталый голос, он подрагивает, как покрывало, что укутывает ее лицо, закрывая от взгляда мужчин.

— А ты... ты уже знаешь, что будешь делать?

— М? Что буду делать? Да, я знаю, что буду делать. Просто... не вижу конца. Я не вижу этому конца. Ничему этому.

Медон не знает, как это понимать. Будь она его дочерью — настоящей дочерью, — он бы обнял ее и сказал: «Все будет хорошо, вот увидишь, все будет хорошо».

Вместо этого он кивает непонятно чему, глядит на море, смотрит на уходящие корабли Ореста и Электры, прищелкивает языком и говорит:

— Похоже, вечером будет дождь.

Вечером идет дождь.

STONE HEDGE



Некоторые вещи, похоже, конца не имеют.

— Меланта, иди сюда, грудастая ты чаровница...

— Еще вина нам! Феба, еще вина!

— А где Леанира? Что-то я давно ее не видел...

Пир течет дальше, с мясом и вином, рыбой и травами, набранными в летних полях. В углу не стоит ткацкий станок, но вокруг Пенелопы теперь щит, состоящий из Автонои и еще двух способных к музыке служанок, и звуки, извлекаемые ими, стеной отделяют ее от зала. Андремон не смотрит на нее, не грозит ей взглядом, не хмурится, не стоит рядом, не прихорашивается, а тихо сидит в углу, и не спрашивает про Леаниру, и не вопрошает, куда она делась.

Во дворе, где мальчики Пейсенора почти бросили учиться военному делу, Телемах поднимает щит, поражает копьём воздух, делает шаг, разворачивается, выпускает

кишки невидимому врагу, другому пронзает сердце. Подходит Кенамон, говорит:

— Двигаешься уже лучше.

Но Телемах не отзывается — похоже, не видит египтянина, не отвечает ему, так что через некоторое время чужеземец опускает голову, и возвращается на свой холм, и сидит там в одиночестве, устало глядя на море.

В лесу над храмом Артемиды, где уже два месяца ночную тишину разрывает звон мечей и пение тетивы, — там тихо! В круг костров входит фигура, вносит корзину, испачканную чем-то липким. Это Семела, она восклицает: «А вот и пироги!» — и все женщины, воинственные женщины Итаки, последний рубеж обороны этого последнего рубежа Греции, сбегаются к ней с криками: «Это мне, это мне, этот кусок мне!»

Приена воздевает руки.

— Мы еще не закончили! — кричит она женщинам в спины, но Теодора кладет ей руку на плечо.

— Иногда, — говорит она, — даже воинам хочется меда.

Тут Приене приходит в голову, что она совсем позабыла, что должна ненавидеть греков, и на миг она очень злится на себя за это упущение, а потом подходит Анаит с пальцами, измазанными липким золотом, и робко проносит:

— Хочешь?

Три дня до полнолуния, и женщинам страшно. Их страх отражается в мерцающих тенях, отбрасываемых факелами, он в дыхании каждой лучницы, он в свисте рассекающего воздух меча. И все же их мастерство выросло: в последнее время даже самые слабые из лучниц научились сбивать с ветки трепещущих птиц.

Приена берет предложенную еду и вынуждена признать, откусив, что это гораздо лучше, чем рыба.

Пенелопа находит сына наутро. Он одет в свои побитые доспехи, на голове шлем, в руке меч, он кружится, кружится по двору хутора Эвмея. Она наблюдает некоторое время, но он не замечает ее, и она наконец решается:

— Телемах! Я...

Он поднимает меч, вроде как удар сбоку, а теперь превращается в удар снизу вверх, прямо в незащищенный подбородок ничего не подозревающего врага.

— Я слышала, что ты сюда иногда приходишь, и я...

Он внезапно делает выпад вниз, целясь в бедро. Если он рубанет под правильным углом, то рассечет артерию, и из ноги врага польется наружу толчками густая жизнь, убивая его не менее надежно, чем копье в голову.

— Я хотела поговорить с тобой о том... о некоторых вещах, которые у нас тут происходили. О некоторых вещах, которые произойдут. Я хотела объяснить... извиниться... Знаю, что в последнее время уделяла тебе мало внимания. И не только в последнее. В последние годы я... Понимаешь, было...

Невидимый враг у него за спиной: Телемах чувствует спиной занесенное оружие и легко, плавно разворачивается, отбивает удар, делает шаг вперед, уводя меч противника в сторону, а сам плечом вбивает щит в грудь противника.

— Мы можем поговорить? — просит Пенелопа. — Можем мы... есть кое-что...

Он останавливается внезапно, как попавшая в цель стрела, разворачивается, опустив меч, мягко держа щит. Он учится стоять как воин, как Приена или Андромон, расслабленный и спокойный, пока не началась драка. Его глаза — две узкие щелки в прорезях шлема, сжатые губы розовеют из-под бронзы. Он смотрит на нее, ждет и, пока она ищет слова, нетерпеливо пожимает плечами, снова ждет.

— Я подумала, что нам надо побеседовать, — выговаривает она. — Может быть... Я не хотела тебе мешать, но было так трудно... Может быть, ты поужинаешь сегодня со мной у меня в покоях? Подальше от женихов. Я попрошу Медона присмотреть за ними сегодня, а мы могли бы просто поесть, было бы...

Слова валятся изо рта кое-как. Она обычно так хорошо управляется со словами, но не сейчас. Не с сыном. Он еще немного ждет, разочарованный тем, что она замолкла, потом поворачивается спиной, чтобы продолжить свою воображаемую битву.

— Не сегодня, — отвечает он, а смотрит уже на невидимого врага, покрытого кровью. — Я занят.

— Занят? Чем занят? — вскрикивает она.

Он не снисходит до ответа, и она, о слабость, не решается продолжать.



И луна чертит круг.

Но кто это?

Две ночи до полнолуния, и из дома Урании во тьме выскальзывает женщина. Она в плаще, наброшенном на голову, она завернулась в поношенную накидку, но от меня ей не скрыть своего лица. Леанира, хихикаю я, Леанира, это ты выбралась из своего тайного угла?

Ей бы надо быть на Лефкаде или Элиде — ее должны были изгнать с Итаки за предательство. Но нет, она все еще здесь, и Урания упустила ее.

От дворца Одиссея она уводит в сонную тьму двоих мужчин. Она уже водила их этой дорогой, но теперь, когда поднимается луна и ее прохладный серебряный свет преобразует проклятый островок, она снова показывает им дорогу, чтобы они хорошенько запомнили ее. Она ведет их по дорожкам, протоптанным итакийцами,

тропинками, известными только охотникам. Она ведет их по завиткам пыли, полуприкрытым высокими серыми колючками, цепляющимися за камни острова, под нависающим утесом и вниз по скальным ступенькам, вырезанным прямо в почве, на которых удержится разве что ребенок. Над ними движутся звезды, они идут медленно, с трудом, но наконец добираются до своей цели: зияющей пасти черной пещеры рядом с мутным ручьем, где иногда отдыхают пугливые олени, высоко над соленым рычанием моря. Сама по себе пещера ничем не примечательна, кроме одного: она охраняется.

Ее сторожат два воина в бронзовых доспехах. Обоих знают в лицо Леанира и один из ее спутников: это верные люди Пенелопы, двое из ее маленькой дворцовой стражи. Что привело их сюда, в это богами забытое место?

Три лазутчика сидят на корточках, смотрят в черноту ночи, ждут, наблюдают.

Охранники не двигаются.

— Ты уверена? — шепчет наконец Андремон на ухо Леанире.

— Уверена, — отвечает она, потом прижимает палец к губам.

Мы с вами знаем и второго. Его зовут Минта, мы его уже видели: это он показывал, куда пристать, илирийским кораблям у Фенеры и в бухте у хутора Лаэрта. Мы видели, как он шепчется по углам с Андремоном, его доверенный слуга, его самый любимый и верный друг. Он обязан Андремону жизнью и отдает этот долг с удовольствием.

Внутри пещеры движется огонек, из глубины поднимается факел. Охранники выпрямляются; три лазутчика пригибаются ниже и видят, как, держа в руке факел, с грубо тканным куском ткани на спине, из темноты появляется Автоноя. Она кивает стражникам, потом уверенными

шагами поднимается по другой тропинке, ведущей вверх от ручья. Мешок у нее на спине бугрится, тянет вниз своим весом, иногда побрякивает металлом более звонким, чем олово.

Три наблюдателя увидели достаточно. Все вместе они уходят в ночь.

Андремон в эту ночь не занимается любовью с Леанирой. Они ложатся вместе в постель в комнате Минты — он освободил ее для их свидания, — Андремон стаскивает с ее груди хитон и вкладывает ей в губы большой палец, но обнаруживает, что слишком занят другим. Он ворочается, его обуревают мысли, и, как ни старается, она не может отвлечь или успокоить его. Он говорит:

— Когда я стану царем, все узнают, что это настоящий остров. Настоящий остров, который заслуживает уважения. Когда я стану царем...

Леанира говорит, обхватив рукой дырявый камешек у него на шее:

— Спи, любимый, спи, тебе надо поспать.

Он отмахивается.

— Когда я стану царем, царицу накажут за то, как она обошлась с тобой. Она будет сидеть у себя в комнате и есть тогда, когда ей скажут, и говорить тогда, когда ей позволят, и носить то, что я ей велю, и обреет голову.

Леанира отодвигается от него, подтягивает колени к подбородку, складывает руки на груди, а Андремон смотрит в золотую грезу ночи.

А луна чертит свой круг.

Она становится толстой, серебряная луна, и вот три корабля скользят по водам Посейдона к Итаке.

Я вижу Артемиду: она вышагивает по краю воды, с луком в руке, одетая лишь в пояс и колчан.

— Ты всегда ходишь голая? — возмущаюсь я.

Она останавливается, в замешательстве смотрит на меня, потом на себя: похоже, не понимает вопроса.

— У меня же колчан, — отвечает она, медленно выговаривая слова: а то вдруг я такая старая и глупая, что не пойму. Я закатываю глаза, но поворачиваюсь и смотрю туда же, куда и она, — на море.

— Плывут, — говорит она и почти хихикает. — Мужчины на кораблях, воины, плывут сюда!

Она проводит пальцами по изгибу лука, вскидывает его, прицеливается, отправляет невидимую стрелу, радостно скачет на месте, а потом вновь начинает вышагивать.

— Почему они так долго? — ноет она. — Мне скучно!

Артемида однажды убила лучшего друга стрелой, посланной за горизонт. Ее обманом заставил это сделать брат: ему не понравилась даже платоническая дружба сестры с мужчиной. С тех пор она чуть — совсем чуть — осторожнее относительно того, куда отправляет свои стрелы.

— Ты могла бы поохотиться, например. Чтобы развлечься, — предлагаю я.

Она качает головой.

— Хорошая охотница умеет терпеливо ждать свою жертву.

— Ты только что сказала, что тебе скучно.

— Обычно моя добыча ходит по земле! Царственно выходит из тени, раздув ноздри, чувствуя в воздухе присутствие богини! Возбуждение от погони, поединок разумов, хитрость, сила тела и ума — вот что такое настоящее ожидание! А не вот это... стоять и ждать лодку.

Она снова подпрыгивает, а потом возмущенно говорит:

— Смертные просто ужасны! Как с ними вообще удается что-то сделать?!

И наконец, под толстой луной, исчерканной бегущими облаками, я нахожу Афину на том холме, где иногда сидит

Кенамон, она смотрит на остров так, как будто бы она сам Зевс. Я опускаюсь на землю рядом с ней, легкая, как звездный свет, и на миг чувствую себя рядом с ней почти довольной. Она позволяет мне постоять рядом, потом говорит:

— Я, конечно же, буду сражаться.

Я смотрю на нее, приподняв бровь.

— Скрытно, — вздыхает она, глядя на мое выражение лица. — Я притворюсь смертной и убью не больше, чем мне положено по справедливости. Никто не заметит.

— Ну, если ты убьешь не больше, чем тебе положено по справедливости...

— Будет правильно, — говорит она, — чтобы у Одиссея было царство, куда он может вернуться. Когда я впервые поймала тебя в моем краю, была не рада твоему присутствию. Но теперь вижу, что в твоих действиях есть кое-какая польза. Что есть польза в твоём присутствии здесь, покровительница цариц.

— Падчерица, когда-нибудь ты научишься благодарить меня.

— Я очень сильно в этом сомневаюсь, старуха мать. Но с тактической точки зрения я согласна, что твоя склонность к тайнам, лукавству и хитрости в данном случае очень подходит под мои цели. Это урок, который я усвоила.

— А мы ведь могли бы быть подругами, — задумчиво говорю я.

— Подругами? Дружба не остановит битву. Дружба не объединяет царства. Дружба — лишь невесомая бабочка, она зависит от политических перемен, богатства урожая и движения небес. Смертные создают дружбу, чтобы дать себе обманчивое ощущение безопасности и чувство собственной важности. Мы боги. Мы должны быть выше таких мелочей.

Я вздыхаю, и мой вздох крутится вокруг нас, колышет высокую траву, танцует, как пыльца на ветру.

— Ну что ж, тогда нам придется оставаться родственницами.

— Какая неприятная мысль, — замечает она без горечи и сожаления.

— О да.

— Эта связь, пожалуй, еще нелепее дружбы.

— Я с тобой полностью согласна.

— И почему-то мы считаем ее священной. — Афина хмурится, держа в руке свой шлем. — Иногда я задаюсь вопросом: что же значит быть по-настоящему мудрым? Понятно, что я самая мудрая из всех богов и мой разум далеко превосходит твой. И все же мир живет вне зависимости от моих советов. Каждый бессмертный и смертный может сказать: «Да, давайте будем мудрыми» — и при этом отворачиваться, когда самый лучший образ действий у него прямо перед глазами. Это... тревожит. Как может быть такое, что мы знаем, как поступить наиболее разумно, но все же решаем так не поступать?

Она замолкает и, не дождавшись ответа, смотрит на меня.

— Ну? — спрашивает она. — Что ты скажешь?

Я пожимаю плечами.

— Это ты у нас богиня мудрости, — отвечаю. — Разрази меня гром, если я знаю.

Она вздыхает, но, может быть, на мгновение довольна хотя бы тем, что никто другой не разгадал ту тайну, которую не может постичь ее высокий гений. Потом говорит:

— Одиссей вернется домой. Это будет скоро.

— Ты уверена?

— Я придумала более тонкую стратегию и очень тщательно обработала отца. Он еще не принял решения, но окончание этого дела неизбежно.

— Окончание истории Одиссея, может быть, и неизбежно, — бормочу я, — но не Итаки.

— Меня удивляет, что ты так беспокоишься о Пенелопе, учитывая, что она предала твою любимую Клитемнестру.

— Она приняла решение, которое должна была принять царица, — отвечаю я, выпуская изо рта горестные слова. — Она приняла единственное решение, которое могла принять царица. Из трех цариц Греции: Елена предала свой трон тем, что решила любить как женщина; Клитемнестра решила быть женщиной, матерью, любовницей и царицей, горела ярче всех и не могла долго прожить, ведь ее было так много, она была слишком прекрасной, слишком великой для этой земли; а вот Пенелопа... Пенелопа — это та, которая пожертвовала всем, чтобы быть царицей и ничем более. Это... ранит меня, я хочу, чтобы было иначе, но это я тоже могу полюбить.

Афина кивает. Кивок у нее резкий — вверх-вниз. Потом говорит:

— Будет кровь. Менелай не смирится с тем, что племянник занял микенский трон, так легко, как ты, может быть, предполагаешь. Он пятьдесят лет копил обиды на брата и на всех родичей брата. А Троя только усилила его властолюбие.

— Ты будешь противодействовать ему, если он решит воцариться в Микенах? — спрашиваю я, и она тут же качает головой.

— Я не могу растрачивать свое влияние, по крайней мере сейчас, пока Одиссей все еще пребывает на острове Калипсо. К тому же за Менелаем уже давно стоит Арес, а двум богам войны нехорошо сталкиваться напрямую. Когда для юного Ореста наступят последствия — а они наступят, — будь готова к этому.

Я недовольно хмурюсь, но не отвечаю. Брат шлет мне вести из подземного мира: «Эринии, эринии, я слышу

шорох их крыльев!» — восклицает он, но пока мне не до этого. Сейчас я не могу этим заниматься.

Краем глаза я вижу движение, чувствую, как меняется воздух, густеет, будто при виде какой-то власти и мощи сама земля задержала дыхание. Афина надевает шлем, и ее лицо меняется, плечи становится шире, руки — сильнее. Она поднимает свое копье и разминает шею. Она указывает концом копья на морской горизонт, и воздух гудит и волнуется вокруг острия. Я смотрю, куда она показывает, и вижу три корабля, которые скользят по горизонту, неся иллирийские паруса и греческих воинов, и направляются под серебряным светом луны к Итаке.



Под полной луной подходят разбойники.

Они примерно представляют, куда плыть, им сообщили вестники, ждавшие на пути в гаванях восточного побережья, но, как и раньше, они держат путь на огонь, который зажигает для них на утесе Минта. Он машет горящим факелом, глядя на море, и через некоторое время корабли отвечают, повернув носы к темному берегу.

Во дворце Одиссея орут женихи, льется рекой вино, на кон ставятся, проигрываются и выигрываются большие мечты и мелкая собственность. Меланта уворачивается от руки мужчины, который хочет схватить ее за подол. Автоноя бренчит на лире. Пенелопа смотрит в никуда, будто грезит наяву. Андремон сидит чуть поодаль, наблюдает, по лицу бродит улыбка, которую он не в силах скрыть.

Храм Артемиды тих, двери заперты. Сегодня вечером в этом святилище не будет возлияний.

Лес вокруг пустой, костры потушены. Стволы деревьев в дырках и трещинах от сотни воткнувшихся в них стрел. Земля изрыта ногами, плясавшими смертельный танец. Звери скрылись в ночи, убоявшись такого количества женщин, но сейчас воздух недвижим, и мелкие твари возвращаются, обнюхивая странные следы, которые оставили люди.

Дом Семелы пуст. В нем будто и не было никакой гостыи.

В Фенере воронам надоело рыться в костях и пепле.

А под полной луной идут морем разбойники, держа курс на свет факела Минты; в лунном свете поблескивает оружие.

Они спокойно высаживаются на берег.

Корабли втаскивают на песок, и с берега убегает прочь несколько коз.

Чайка ссорится с соседкой, которая пытается отобрать у нее хорошее место, они щелкают клювами и негромко шуршат перьями на ветру.

Здесь мало хуторов и поселений, нигде не горят огни. Только факел Минты сияет на берегу. Налетчики — воины, которые когда-то сражались под Троей и теперь не умеют ничего, кроме кровопролития, — спрыгивают со своих кораблей в пену волн, выходят на сушу. Некоторые обнимают Минту, называют его братом, другом. Другие снимают с кораблей веревки и ящики, пустые, готовые принять сокровища. Пока они похожи не на воинов, а на жадных купцов, что пришли украсть добро у бедняка. Минта жестом показывает вглубь темного острова. Мужчины выстраиваются за ним в цепочку, около дюжины остаются на берегу охранять корабли.

Они пробираются через колючки и темные камни Итаки, и над их головами ухает сова.

Они стараются не зажигать слишком много огня, не разносить свет факела Минты слишком далеко по тонкой нитке растянувшихся по тропинке воинов, но тропа заросла, она неровная, и одному воину кажется, что он наступил на змею — она зашипела и уползла; другому — что он слышит вой волков. Колючки цепляются за поножи и голые лодыжки. Те, которые идут последними, подворачивают ноги, наступая в выбоины. То и дело я, кажется, вижу фигуру Артемиды, носящуюся во мраке рядом с ними, и земля дыбится от ее прикосновения. В лунном свете, обнаженная и занятая своим привычным делом, она прекрасна. Никто не может с таким проворством и изяществом носиться по охотничьим тропкам, с такой звездной легкостью плясать в полночных тенях. Во всем ее теле написана непреложная, природная сила, никем не дарованная ей, ни бессмертным, ни человеком, и в ее дикой улыбке я вижу невинность. И вот ее снова нет, лишь тень в уголке глаза, испуганное подпрыгивание и шуршание в колонне: «Ты видел? Ты слышал, там кто-то пробежал?» — «Нет, ничего, только кричит сова и шуршат на ветру листья, вот и все».

— Ух-ух, — добавляет Афина, летая над ними кругами. — Ух-ух-ух.

Воины сбиваются поближе друг к другу, вероятно даже не замечая того. Они вместе спали, плечо к плечу, на шершавой палубе в море. Они спали вместе и раньше, под стенами Трои, и некоторые, связанные клятвой побратимства, целовали шрамы на коже другого, пили кровь и соль с нее, клялись, что будут жить и умрут как одно целое, что нет связи сильнее, чем их братство. Теперь они чувствуют, как на них наваливается тьма, и она не должна быть тяжелее, чем хмурые дозоры у кораблей рядом с Троей, и все же — все же — в этой ночи есть что-то от тайны, от обмана и раздора, от женских хитростей, подвластных мне.

Луна еще не слишком сильно склонилась к горизонту, когда воины добираются до заросшей колючками тропинки, ведущей к пещере, и смотрят вниз, обнажив мечи, приготовив копья. В отверстии пещеры, из которой Автоноя на глазах соглядатаев выносила тяжелый мешок, горит факел — но стражников, которые должны охранять ее, не видно. Воины обмениваются взглядами, вопрошая, почему их нет, — но что с того? Тех должно было быть всего двое, а это воины, уничтожившие так называемое ополчение Итаки — мальчиков в одеянии мужчин — и не встретившие сопротивления. Сокровища острова уже принадлежат им, нужно просто пойти и забрать их.

Они приближаются медленно и осторожно. Они выжили во многих битвах и знают: даже когда все кажется простым, стоит соблюдать осторожность, чтобы сохранить себе жизнь. Не видя никакого признака опасности, большинство заходит внутрь, втаскивая сундуки для сокровищ. Восемь человек остаются снаружи. Они-то и становятся первыми трупам этой ночи.

Их поражают стрелы; не все попадают в цель. Женщины учились владеть луками больше, чем другим оружием, но сегодня первый раз, когда они стреляют в людей, и в возбуждении этого мига многие из охотниц — их лица вымазаны грязью, спины болят, оттого что пришлось долго сидеть скорчившись в тени, — посылают свои стрелы мимо цели или слишком высоко. Три разбойника падают сразу, получив каждый по четыре стрелы. Еще один — чуть позже, когда более неспешный и выверенный выстрел Теодоры посылает стрелу ему в бедро.

Из оставшихся двоим просто повезло: они успевают броситься в темноту, а других двоих спасают доспехи, которые у них оказались лучше, чем разномастное снаряжение из кожи и металла у остальных. Они несутся к пещере, крича: «Братья, на нас напали!» Увы, хоть на них

и бронза, один не надел шлем, и его череп раскалывает надвое стрела, выпущенная из темноты, за миг до того, как он добегаёт до входа в пещеру.

Так и получается, что до пещеры добираются трое; один тут же падает, истекая кровью, потому что на самом пороге его икру пробивает стрела, и они кричат, и их голоса отдаются эхом во мраке. Остальные хватают раненого и втаскивают внутрь, оскальзываясь на мокром камне. Пока они скрываются во чреве земли, женщины выходят из тьмы, одетые в глину и землю, оплетшие травой волосы и талии, с листьями в колчанах и грязью в волосах. Убегающие мужчины не смогут распознать в них ни человеческих женщин, ни самок зверей, если бросят взгляд назад на тех, кто напал на них: они словно чудовища, порожденные гнилой ночью, восставшие из самой земли.

— На нас напали! — кричит один из воинов, врываясь под своды пещеры. — Напали!

Остальные похитители богатств Итаки собрались в пещере, но, кроме них самих, там ничего нет. Они недоуменно оглядываются: им же обещали сундуки с золотом, горы привезенных из набегов сокровищ, богатства Одиссея! Леанира приводила сюда Андромена и Минту всего пять ночей назад; они видели Автоною, доверенную служанку самой Пенелопы, которая уходила отсюда, нагруженная тайным сокровищем! Золото и серебро, награбленное добро, которое, как все в Греции знают, Пенелопа прячет на своем острове, — они должны быть именно здесь! И все же тут ничего нет, лишь расставленные тут и там амфоры с липким маслом, которое растеклось по полу и хлупает под ногами.

Те, кто спасся от обстрела, останавливаются, опускают на землю своего раненого товарища. Минта делает шаг к ним, и именно тогда, вероятно, их главарь все понимает.

Увы, слишком поздно. Швырнуть в пещеру горящий факел доверили Мирене, дочери Семелы, потому что у нее верная рука и отличная скорость, когда надо убежать. Два воина мельком видят ее измазанное грязью лицо в отсвете огня, когда она бросает факел, а потом он ударяется о землю, поджигает первую лужицу масла, и через миг начинается пожар.

Ловушка захлопнута, по всей пещере растекается пламя, и мужчины начинают кричать. Снаружи Артемида поднимает лицо к небесам и воет, воет, как волчица. Афина рыщет по нависающему утесу, ее копье сияет невидимым огнем. Я стою за спинами женщин — те выстроились у пещеры, натянув луки, ждут, добавляют к счету смертей, стоит только кому-то вывалиться из дыма и огненного вихря пещеры.

Двое умирают быстро, поглощенные огнем. Остальные бросаются к выходу, выбирают наружу, отталкивая руки друг друга, спотыкаясь о тела упавших. Те, кто впопыхах не увидел лучниц, выбегают вперед, и четверо тут же погибают, утыканные стрелами, которыми их встретили. Остальные втягиваются обратно в пещеру, видя, как падают товарищи: впереди — стрелы, сзади — огонь. Минта кричит:

— Стройся, стройся!

Скача на обожженных ногах, задыхаясь, сплевывая липкую слюну и привкус дыма, мужчины встают в строй, плечом к плечу, достают мечи и по его команде, чувствуя, как жалит спины огонь внутри, бросаются на выход из пещеры.

— Рассыпья! — приказывает Приена. Мужчины вываливаются наружу, выпихивая перед собой клуб дыма. Женщины рассеиваются, убегают в ночь, взбираются в темноте по знакомым камням и торчащим веткам. Артемида подхватывает ногу одной, которая оступилась,

подсаживает ее, вдувает воздух в задыхающиеся легкие другой, что споткнулась и чуть не отстала; Артемида пронзительно кричит от восторга: «Бегите, бегите, мои милые, бегите, мои охотницы, бегите, мои ночные женщины!»

Несколько мужчин пытаются преследовать их, но воинов снова осыпают стрелами сверху, там уже закрепились Приена и еще несколько женщин, наполовину очерченные луной, и Афина молча стоит у них за спинами.

— Держаться вместе! — кричит Минта, и мужчины снова собираются в строй черными силуэтами на фоне горящей пещеры. — Двигаться вместе!

Как один они начинают движение по тропинке, словно ошестинившийся мечами окровавленный еж, поддерживая и вполголоса подбадривая друг друга. Мне приходит в голову, что в них есть нечто великолепное, в единстве их цели, в их мужестве и братстве, которое так хотели бы видеть поэты. Афина тоже видит это — поднимает щит, будто хочет поприветствовать их; и мне кажется, что я вижу, как их глаза устремляются на нее и распахиваются, ибо некоторые видят наконец возвышающуюся над ними богиню и, может быть, начинают понимать. Однако это длится лишь мгновение, потому что Афина исчезает, скрывается среди смертных женщин, которые разбегаются перед воинами. Они не будут знать, что это ее надо проклинать, когда они придут к воротам Аида; их понимание суждено жить не дольше, чем им самим.

Женщины не пытаются ввязаться в бой, пока мужчины двигаются по тропинке; они убегают подальше в тень от копий и оскаленных зубов. На миг, вероятно, Минта и его товарищи думают, что худшее позади, что они смогут выбраться отсюда, из этого проклятого места, пусть обожженные и израненные. Но, увы, тропинка, что ведет к их кораблям, длинная и узкая, и они не могут

двигаться по ней иначе, кроме как длинной распадающейся цепью.

Потому-то в числе прочего Приена и выбрала именно это место для своей битвы: когда воины вытягиваются в цепь, на них снова обрушиваются стрелы, а дорожка, по которой они шли к пещере, теперь ошетилилась силками из шипов, растянутыми между упрямыми стволами деревьев, и воины запутываются и ранят ноги в темноте. В тенях вокруг мечутся фигуры, но так быстро, что воинам никак не удастся воскликнуть: «Вот! Вот враг! А, нет, вон он! Вон там я видел движение!»

Еще четверо убиты стрелами, пятый отстаёт, медленно истекая кровью, с белым лицом. Его друзья, его братья, его товарищи пытаются нести его, но так они движутся совсем медленно, и из темноты сзади прилетает более тяжелое оружие, метательное копьё, посланное рукой Семелы, и пробивает сердце одного из тех, кто хотел отнести побратима в безопасное место, и оба падают наземь. Артемида пляшет от радости, вдыхает неистовство в луки женщин, а те, как жуки, рассыпаются по теням. Падают ещё двое мужчин; а потом — ещё один, который движется слишком медленно, слышит что-то за спиной и поворачивается, только чтобы увидеть нож, который через миг перережет ему горло. Слышны возгласы боли, но Минта пытается удержать их вместе: «Двигайтесь, бегите, если надо, бегите к кораблям, скорее!»

Всякое подобие порядка отброшено, мужчины бегут к морю, вокруг них щелкают стрелы. К тому времени, когда они добираются до берега, у них кружится голова от глухих ударов стрел, от ползучего недоумения, которое я запускаю в их внутренности, и, оглядываясь, они понимают, что из всех, кто отправился в пещеру, полную богатств Итаки, возвратилось только восемь человек.

Только восьмеро.

Они бросают взгляд на кромку воды вниз и видят дюжину фигур у кораблей — те не знают еще о случившейся катастрофе. Они сбегают вниз — людей теперь еле хватит на то, чтобы сесть на весла одного корабля, остальные придется бросить, может, сжечь, чтобы скрыть свое бесчестие. Когда они спускаются к воде, на утесе над ними появляются из серого леса фигуры с луками наготове, с копьями в руках, но они не нападают, не кидаются на них, просто смотрят и ждут, пока кучка запыхавшихся, израненных мужчин доберется до кораблей.

Человек по имени Тимей первым видит тела своих сотоварищей. Когда-то он был воином в войске Нестора, имел честь и достоинство; но честь и достоинство не могли прокормить его жену и троих детей, пока он воевал, и когда он вернулся, то они уже принадлежали другому, а свою порядочность продать он не мог. Так что он стал разбойником и нашел в этом ремесле, среди своих товарищей-мореходов дружбу и честь иного рода. Теперь же он видит первого из тех, кто оставался охранять корабли, плавающим лицом вверх в пене под носом корабля, незрячие глаза его залиты кровью. Тимей открывает рот, чтобы крикнуть, но не успевает. Дюжина фигур, что стояли возле кораблей, делают шаг вперед, достают мечи и в хмурой тьме закалывают подходящих к ним воинов. Афина движется между ними, она убивает легко и умело — одним ударом, если хватит одного удара; отбивая оружие противника, она тут же переходит в нападение, а бьет только так, чтобы причинить максимальную боль или сразу прервать жизнь врага. В ней нет дикого восторга Артемиды, и все же в ее глазах виднеется алый отблеск.

Приена сражается рядом с нею, и, хотя во владении оружием смертной никогда не сравниться с богиней, в ней тоже нет ни лоска, ни игры, она не скалится и не кричит боевых кличей. Ее дело — смерть, не больше и не меньше:

смерть ее врага — самый прямой способ обеспечить ей жизнь, и она достигает обеих целей.

Скоро в живых остается только Минта. Последний из братьев. Последний из благородных воинов, которые отдали все за честь, Грецию и Трою. Он смотрит на своих павших товарищей, на запыхавшихся, окровавленных женщин, окружающих его теперь. Более слабый человек бросил бы меч и закрыл глаза, не желая видеть своего конца, но Минта — все еще воин. Он выделяет Приену из-за ее легких движений, из-за того, как уверенно лежит меч в ее руке, видит в ней привычного врага — наконец-то привычный враг — и бросается на нее.

Приена не учила женщин Итаки сражаться с честью. У нее было всего два месяца и не хватило времени для таких тонкостей. Поэтому Минта падает мертвым, еще не добежав до нее, с охотничьим ножом в спине.

Когда он падает, Приена обходит его, пинком отбрасывает его меч, за волосы приподнимает голову и перерезает ему горло. Просто на всякий случай.



Утром народ Итаки будят вопли кружащих ворон и запах разлагающейся плоти.

Та, которая находит тела, восклицает:

— О небеса, помогите нам, благословенная Гера, священный Зевс!

Мне приятно, что я первая в ее списке подходящих к случаю божеств.

Она бежит за другими, приводящими еще людей, бегущими за великими мужами острова, а те вспоминают, что надо бы сказать Пенелопе.

И вот они собираются в бухте перед кораблями разбойников и смотрят на жуткое зрелище.

По палубам кораблей лежат трупы мужчин, хотевших ограбить Итаку. Глаза им прикрыли, но это не остановило целеустремленных чаек и ворон, слетевшихся пировать. Кровь не до конца смыло волнами с их лиц, а вокруг

набухающей плоти радостным жужжащим черным облаком роятся мухи. Многие мертвецы остались вооруженными — их прямые обоюдоострые греческие мечи выложены рядом с их же иллирийскими шлемами. У многих оружия нет. Те метательные копья, что полегче, самые ладные мечи и кинжалы, наиболее мелкие доспехи и пригодную обувь с них сняли, и теперь все это припрятано в тайниках итакийских домов.

Один привязан к носу ближайшего корабля: он в полных доспехах, рядом прислонено, будто трость, его копье, руки и ноги вывернуты странными углами под веревками. На горле зияет рана, а глаза остались открытыми и глядят в небо. Некоторым из наблюдателей кажется, что они узнают его, они бормочут его имя. Это разве не Минта, друг одного из женихов? Да, да, Минта, точно — друг Андремона. Что он здесь делает?

Из великих мужей Итаки, которые собрались здесь, первым к трупу подходит Пейсенор. У старика блестят глаза, будто кровавый смрад пробудил его от месячного сна, и теперь он протягивает руку к предмету, висящему на рассеченной шее Минты, и срывает его.

Подходят остальные, Эгийптий и Медон наклоняются, чтобы рассмотреть. Пенелопа стоит в стороне, чтобы запах крови и зрелище бойни не оскорбили ее нежных женских чувств; но она не сводит глаз с группки мужчин.

Это камешек не крупнее мужского большого пальца, с просверленной дыркой, в которую можно просунуть кожаный шнурок.

— Этот камешек, — бормочет кто-то, — этот камень, я его видел раньше. Странное украшение.

— Это камень из руин Трои, — отвечает Медон, холодея, как зимняя ночь. — Такой же носит Андремон.

Вороны клюют тела, лежащие на кораблях, а женщины Итаки собираются на краю берега, но не поют песен.

К тому времени, когда мудрые мужи Итаки маленькой, слегка сбитой с толку процессией возвращаются во дворец Одиссея, уже за полдень. Женихи собрались во дворе, уловив слух о новом кровопролитии, новой битве, ждут, чтобы узнать, что захвачено, что сожжено. Но потом пришли другие вести, странный шепоток: нападавшие уничтожены, их тела валяются на кораблях, это чудо, ужасное, чудовищное чудо.

Телемах широким шагом выходит встретить приближающееся шествие.

— Что произошло? — рывкает он. — Кто убит?

— Разбойники мертвы, — отвечает как в тумане Эгиптий. — Они все мертвы.

— Что? Как они погибли?

Эгиптий просто качает головой, ибо у него нет ответа.

Телемах обращает взор на Пейсенора, тот тоже качает головой. Медон проталкивается вперед; нет времени для вопросов о священном или святотатственном.

За ними везут тело Минты. Его положили на телегу, запряженную ослом, кое-как завернули в обрывок испачканного кровью паруса. Его кладут на землю во дворе перед залом Одиссеева дворца, и женихи постепенно собираются вокруг — и наконец все пространство от стены до ворот забито людьми, желающими видеть, что происходит. Пенелопа учтиво стоит, окруженная служанками: лицо занавешено покрывалом, голова опущена, руки сложены. Ее сын стоит на другой стороне двора с мечом на поясе, оглядывая собравшихся убийственным взором пустынного солнца.

Медон откидывает смятую влажную ткань с лица Минты и с удовольствием слушает аханье и шепоток, пробегающие по толпе женихов.

— Налетчики уничтожены, — объявляет он, наслаждаясь наконец-то тем, что кто-то готов слушать его

выступление. — Этого человека нашли среди них. Многим из вас он знаком. Это побратим Андремона.

Медон нашел Андремона взглядом в толпе заранее, еще до того, как заговорил, чтобы теперь указать на него красивым жестом. Я бы похлопала, но это будет чуть безвкусно и поспешно.

Андремон делает шаг вперед. Наверное, сейчас начнет громко возражать. Будет возмущаться, плевать им в лицо, смеяться над обвинениями Медона. Вместо этого он опускается на колени. Он делает это рядом с Минтой и берет в ладони его окровавленное лицо, не обращая внимания на раззявленное горло. Он шепчет мертвецу в уши слова, которые услышит только Аид, и еще мгновение обнимает его, а потом встает, с испачканными кровью руками и лицом.

Потом он произносит:

— Мой брат мертв. Я требую мести.

И его горящие глаза устремляются на Пенелопу. Но она смиренна. Она покорна. Как видно, происходит нечто такое, чего ей не понять.

— Твоего друга нашли с разбойниками, которых убили сами боги, — сурово говорит Медон.

— Если его нашли среди разбойников, так это потому, что он защищал вас! Вас, итакийских овец! Он был воином, он сражался!

— Каждый, кто видел там его тело, ясно понял, что он был не кем иным, как злодеем, союзником этих грабителей, — резко отвечает Медон. — Или ты хочешь подвергнуть сомнению разум всех этих мудрых слуг Одиссея?

Он широким жестом указывает на советников Итаки, получая удовольствие от представления; другую руку держит у груди, сжав кулак.

Андремон колеблется, снова смотрит на труп Минты, смердящий на каменистой земле. Его сердце шепчет

извинение — я не знала, что он способен на это, — но у него есть работа, которую надо закончить. Минта бы понял.

— Если этот человек был другом врагов Итаки, то он был предателем по отношению ко мне.

— Предателем, который носил на шее твой драгоценный знак?

Медон раскрывает кулак, в котором лежит испачканный кровью камешек на кожаном шнурке. Андромон невольно поднимает руку к горлу, но там ничего нет. Где он был, когда в последний раз подвеска точно была на его шее? Когда в последний раз он чувствовал ее приятную тяжесть? Так ведь тогда, когда лежал рядом с Леанирой на липкой простыне, она держалась за его оберег и шептала: «Спи, любимый. Спи».

Теперь — только теперь — Андромон начинает понимать.

Леанира стоит в толпе, рядом с ней — Урания.

Почему ее не прогнали с Итаки?

Почему она все еще делила с ним постель?

Старуха должна была следить за коварной пленницей, и все же, и все же вот стоит Леанира, смотрит на Андромона из толпы, без страха, без дрожи. Она давно не чувствует своего тела. Но ее глаза и все, что она ими видит, принадлежат ей.

«Смерть всем грекам».

Однажды на поле боя Андромон почти час, как ему казалось, сражался с одним троянским воином. На самом деле битва заняла примерно полторы минуты, но для боя это и правда очень долго. Когда Андромону наконец выпал шанс нанести смертельный удар, его враг тоже увидел эту возможность — проблеск слабости в собственной броне за миг до того, как Андромон воспользовался им, — и улыбнулся. Он не был рад тому, что умирает, не был впечатлен хитроумием Андромона и не получил от него удовольствия.

«Смерть всем грекам».

Этот троянец, умирая, вероятно, увидел нечто такое, чего давно, давно ждал, и принял его сквозь пелену своей ярости, как может принять отец непокорного сына, который наконец, после нескольких лет отсутствия, возвращается домой.

Так улыбается теперь Андремон Леанире, и наконец он понимает.

Он понимает.

Она не отвечает на его улыбку. Она воспользовалась той небольшой властью, что у нее была. Это совсем непохоже на вкус свободы.

— Размалеванные трусы, — бросает Андремон, глядя на всех, на всех, обводя их рукой. — Мелкие царишки-притязатели. Торговцы рыбой. Корабельные крысы.

— Андремон, ты нарушил все священные законы...

— Вы думаете, что займете трон? Да она убьет вас! Она накормит вас человеческой плотью, заставит вас есть друг друга, как дети Атрея, как Клитемнестра! Вам не укрыться от нее. Вы не доживете до того дня, когда воцаритесь в Итаке.

— ...все священные правила гостеприимства, ты напал на наши земли, ты надругался над нашим доверием, ты...

Нож, который достает Андремон, совсем маленький, пригоден для того, чтобы резать мясо, а не для того, чтобы убивать людей. Но он сгодится зарезать женщину, и на миг он не знает, которую из женщин ему убить в то краткое время, что у него осталось. Смотрит на Леаниру, но рука его устремляется к Пенелопе, и, словно его ногами управляет сама Эрида, он разворачивается к царице и бросается на нее.

Вперед выступает Эос.

Она не машет руками, не кричит, никак не выражает страха. Не кидается Андремону наперерез, не закрывает

грудью хозяйку. Она просто оказывается чуть сбоку, чтобы Андромен врезался в нее плечом, пролетая мимо, и он действительно почти не замечает ее в своем всепоглощающем убийственном порыве.

И он почти не замечает, отталкивая ее плечом, как ему под ребра входит кинжал; но замечает, как он выходит, потому что, натолкнувшись на лезвие, он замедляется, разворачивается, спотыкается, рука его с ножом взлетает непонятно куда. Кто-то хватает его, другой валит на землю. Эос отступает, ее кинжал уже спрятан в складках одежды, на хитоне алая полоса.

— Он наткнулся на свой нож, — объясняет она, и, когда это не производит должного воздействия на толпу, Пенелопа поднимает одну руку ко лбу, издает глубокий и звонкий вздох женского отчаяния и оседает на пол в крайне своевременной истерике.



Позднее лето превращается на Итаке в осень.

Медные листья хрустят и крошатся под искривленными деревьями, закаты становятся полированным золотом, свежей алой кровью и потрескавшейся серостью старой кожи. Горячие грозы лета уступают место порывам сырого ветра, а женщины топчут босыми ногами оливки в скользких чанах.

Можно было бы подумать, что новое время года принесет перемены в сердца мужчин, но нет. Они привыкли к уходу дочери Деметры, а потому в залах Одиссея...

— Автоноя! Что за музыка у тебя?! Спой нам похабную песню!

— Не знаю, Антиной, это довольно большая ставка...

— Эвримах, не будь таким маменькиным сынком!

— Кенамон, сядь ко мне. Ты слишком долго прятался в углу.

— Я не очень хороший собеседник, Амфином.

— Ты в любом случае лучше, чем эти придурки, — давай, давай, садись сюда! Расскажи мне о своей родине.

В кухне:

— Это, по-вашему, еда? Я бы постыдилась такое называть едой!

— Но ты и не кухарка, правда, Эвриклея?

— Позор вам всем! Позорище!

В доме Полибия, отца Эвримаха:

— Теперь, когда Андремон погиб, появляется возможность — хорошая возможность — продвинуть Эвримаха...

В доме Эвпейта, отца Антиноя:

— Эвримах теперь будет пытаться искать пути, но мы опередим его, Антиной еще станет царем...

На хуторе Лаэрта, который когда-то ходил на «Арго», а теперь будет навеки памятен лишь как отец Одиссея, величайшего из пропавших царей Итаки:

— Вы что, не умеете копать выгребную яму? Мне что, все самому делать? Боги!

В совете мудрых мужей Итаки:

— Но это бред!

— Но это полезно. Теперь никто долго не осмелится напасть на наши берега.

— Но это бред! Людей Андремона не просто... поразила какая-то сила с Олимпа! Они были убиты рукой человека! Как ты можешь быть так спокоен? Почему тебя не пугает мысль о том, что по Итаке разгуливают какие-то невидимые вооруженные люди?

— Может, их убил Одиссей? Может, он вернулся и незнанным ходит меж нами?

— Телемах, не сейчас!

И вот луна встает, и луна садится, и, хотя все в общем как всегда, кое-что совсем иначе.

В храме Артемиды Анаит брызгает вином на алтарь, и, учитывая все обстоятельства, она очень довольна собой. Посещаемость ее святилища выросла, а приносимые дары стали лучше и роскошнее, чем когда бы то ни было получала Охотница на этих островах.

— Я слышала, что сама Артемида убила налетчиков, — шепчет одна прихожанка с медным браслетом на руке. — Я слышала, что она распростерла над западными островами свое страшное покровительство!

Анаит задумывается. С одной стороны, говорить, что все сделала только богиня, — это как-то неуважительно по отношению к полуночным теням, которые все еще мечутся при свете костров в лесу над ее храмом, к женщинам с острыми трезубцами и ножами для свежевания на поясах. С другой стороны, а что еще остается ей говорить? К тому же Артемида — великая и мощная защитница, так что, учитывая все обстоятельства...

— Охотница любит тех, кто любит ее, — восклицает она бодро, взяв протянутый ей браслет и положив его в и без того уже полную корзинку у ног. — Да пребудет с тобой благословение госпожи!

В лесу над храмом Приена говорит:

— Это была всего лишь одна битва. Теперь нам надо разработать более всеобъемлющую стратегию защиты. Мы должны устроить очаги сопротивления на Гирии, на Закинфе, на Кефалонии, найти женщин, которые смогут держать оборону, пока до других островов не дойдет весть, что нужны подкрепления. Нам необходимо подумать о тыловом обеспечении и...

Теодора, последняя живая дочь Фенеры, говорит:

— Так ты остаешься?

Приена замирает.

— Что?

- Учитывая, что ты ненавидишь греков...
- Так и есть. Я от всей души ненавижу греков.
- Но ты остаешься на Итаке?

Приена на миг задумывается, сражаясь с вопросами о самой себе, которые не осмеливалась задавать, с мыслями и чувствами, которые не разрешала себе думать и чувствовать. Она смотрит на своих женщин, терпеливо ждущих ее под сенью деревьев. Семела опирается на топор дровосека; Теодора стоит рядом, сложив руки, на поясе — лук. Их теперь почти девяносто человек, и они молча ждут ее приказа. У нее возникает ужасное ощущение: эти женщины ждут, что она выразит некие идеи, с которыми ей очень неуютно. Что есть какое-то слово: «дом», может быть, а то и «семья», — и они ждут, что она, их предводительница, их воевода, эти слова скажет.

Потом ей приходит в голову мысль, от которой делается веселее, и можно покамест отбросить все эти мелкие, несущественные вопросы о том, кто она такая, где ее дом и в чем смысл ее жизни.

— Очевидно, что самая большая угроза западным островам — Менелай! — восклицает она. — Нужно подумать, как наилучшим образом убить его!

Кто-то тихонько стучится в дверь в тишине ночи.

Пенелопа зовет сына:

— Телемах! Телемах, ты там?

Он там, но не отвечает.

— Телемах, поговори со мной.

Поговори со мной.

Просто...

Поговори со мной. Я твоя мать! Я... пожалуйста, Телемах. Я знаю, что мы так и не поговорили, что произошло столько всего: Андремон, разбойники, твой... Но, пожалуйста,

поговори со мной. Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать, Телемах. Телемах!

Она стучит кулаком в дверь, но он привалил к ней сундук, и дверь не открывается. Теперь он сидит на сундуке и точит свой меч. Пенелопа стучится, но он почти не слышит ее голоса — или вообще не слышит. На Итаке что-то происходит — и он не понимает что. Его враг убит, и убил его не он. Налетчики, которые угрожали его берегам, мертвы, и умертвил их не он. Он не знает, как они погибли, но знает одно: ни один царевич не стал царем-героем, слушая свою мать.

Позже у прохладного ручья за дворцом Леанира моет ноги, моет руки, моет лицо, моет всю себя, все, чего может коснуться благословение воды, и вдруг за ее спиной возникает и садится на берег Пенелопа, и она застывает.

Наконец Пенелопа говорит:

— Спасибо. То, что ты сделала... То, какую роль ты сыграла... Я знаю, что просила от тебя очень многого, и ты отдала... многое. Ты всегда отдавала многое. Теперь ты можешь выбирать любую должность в этом доме, если хочешь остаться.

Леанира смотрит в разбитое отражение своего лица в бегущей воде и, помолчав, произносит:

— А если я хочу быть свободной?

— И куда ты пойдешь?

Она закрывает глаза, у нее нет ответа.

— Я ненавижу.

Ей кажется, что надо уточнить, что именно она ненавидит, но это будет слишком долго, и короче будет перечислить то небольшое, чего она не презирает. Так что она пытается подойти иначе:

— Андремон не собирался освободить меня.

— Нет. Но он дал тебе надежду. Это... немаловажно.

- Надежда нужна лишь глупцам и детям.
- И все же ты еще жива, Леанира. Мы живы.

Леанира пожимает плечами, плещет холодную воду себе на спину, к ней прилипает мокрая ткань хитона. Пенелопа еще немного сидит рядом с нею, а день поворачивает в ночь.

В микенских залах Орест старается не сбить с головы диадему. Она великовата, сползает на одну сторону, но ему необходимо продержаться до конца этой дурацкой церемонии, чтобы никто не устроил суматохи. Его дядя Менелай прибыл из самой Спарты, с Еленой и их детьми. Его присутствие наполняет зал как пламя. Последний живой герой Трои, брат убитого Агамемнона, он не выше остальных, и плечи у него не шире бычьих, и все же ему надо лишь кивнуть раз, двинуть подбородком, или чуть повернуть голову, или втянуть губы, будто он недоволен чем-то, что вежливость не позволяет ему назвать вслух, — и все мужчины и женщины, воины и рабы в зале сжимаются от страха.

Он говорит, ему хорошо в его царстве в Спарте. Мы с женушкой наконец-то вместе, говорит он и хлопает Елену по бедру. Сидеть дома, наблюдать, как растут дети, — что может быть лучше, а? А вы, молодежь, давайте действуйте. Давайте, новое поколение, теперь ваше времечко. Конечно, я всегда буду рядом, если понадобится, не беспокойся. Дядя Менелай никогда тебя не оставит.

Рядом с братом стоит Электра, ее кожа накрашена свинцом, но когда он закрывает глаза, то видит только нахмуренные брови матери и слышит только крылья летучих мышей и гогот острозубых женщин.

Я смотрю на ряды собравшихся государей и великих мужей Греции и вижу меж ними и богов: вот Гермес берет

что-то с блюда, Арес хмурится, прислонившись к стене, Афина стоит застывшая, как ее копье, здесь даже Гестия, наполовину одревесневшая от скуки в углу. Но мы все слышим, когда они скребутся когтями в двери дворца, мы все чувствуем гнилостный запах их дыхания. Эринии с акулисты челюстями и налитыми кровью глазами. Я вздрагиваю, постепенно исчезаю, незаметно ухожу из провонявшего потом зала. Гермес исчез еще раньше: его спугнул первый же писк летучей мыши. Арес красиво стоит еще пару мгновений, но даже он не встанет между эриниями и их жертвой.

В конце концов, Орест ведь убил свою мать.

Менелай ухмыляется, глядя, как Орест поправляет на голове тяжелую диадему, и эта ухмылка стоит у меня перед глазами, когда я ухожу в ночь.

На Оигии Калипсо садится рядом с Одиссеем на его любимой скале, некоторое время они дружно сидят, слушая рокот моря внизу. Потом он внезапно хватает ее за шею, прижимает губы к ее губам, засовывает язык ей в рот так, будто хочет разорвать его, опрокидывает на землю и, закрыв глаза, прижимает своим весом.

В священном месте, в тайном лесу, Артемида говорит:

— Что? А, убивать мужчин. Да, это было весело. Но теперь я делаю другое, у меня другие дела, понимаешь.

Я стараюсь не смотреть на лежащую падчерицу, пока ее женщины усиленно причесывают ей волосы, и на миг забываю ее способности жить не завтрашним и не вчерашним днем, а просто здесь, в этой роще, залитой лунным светом.

В конце концов я неохотно разыскиваю Афины. Нам нужно кое-что обсудить наедине, теперь, когда луна прочертила свой круг.

На Олимпе ее нет.

И на постель Калипсо она не смотрит, не прислушивается к стонам, раздающимся в пахнувшей благовониями опочивальне.

Я смотрю на ее святилища, прослеживаю взглядом самые искренние обращенные к ней молитвы и, не найдя ее, спускаюсь на Итаку.

Она не ухает на каком-нибудь дереве, не проскальзывает в сны тех, кто спит во дворце. Она не вдыхает сладких клятв тех, кто склоняется перед ее алтарем, и не рыскает вдоль пенного берега моря. Я сужаю свое божественное зрение, пронзаю души женщин и мужчин, оставляя металлический привкус на их губах и воспоминания об отвратительных поступках, и наконец вижу ее, замотанную для отвода глаз в толстый слой смертных тряпок, перед кораблем, который ждет прилива у пристани.

Корабль этот я раньше не видела: у него серый выцветший парус, тронутый, я подозреваю, благословленной рукой. Он загружен пресной водой и вяленным мясом, а на веслах сидят те друзья Телемаха, кто еще жив, и несколько человек из ополчения Пейсенора, которые решили — или кто-то решил за них — выйти в море. Капитан — человек, благословленный Посейдоном, с сединой в волосах и просоленной кожей, доверенный помощник, который, вероятно, не знает, во что ввязался; а на пристани, без улыбки беседуя со скрывающей свое истинное лицо Афиной, стоит Телемах.

Он стоит, одетый в доспехи и плащ, у ног лежит мешок, на поясе — меч. Он кивает и внимательно слушает, что говорит ему Афина, потом закидывает на плечо свои пожитки и идет по причалу к кораблю.

Я слетаю вниз, открываю рот, чтобы крикнуть: «Телемах, ты куда, во имя всех богов, собрался, недоумок, ну-ка, возвращайся, а то я...»

Но взгляд Афины вспыхивает и чуть не заставляет меня задохнуться, так что я отлетаю, кувыркаясь, словно застигнутый бурей воробей. «Он мой, — рычит она голосом, похожим на шум прилива. — Он мой».

Я кое-как восстанавливаю равновесие, сверкаю от возмущения. Телемах поднялся на борт, Афина улыбается и машет ему из своего грязного смертного обличья, показывает ему: «Вперед, вперед!» Я шиплю и ругаюсь, бесильно болтаясь в небе, потом кидаюсь к дворцу, пролетаю сквозь открытое окно Пенелопы, царапаю ее по лицу и ору:

«ПРОСНИСЬ НЕМЕДЛЕННО, СОННАЯ КЛУША!»

Тьма рвется и трепещет под моей яростью. Пенелопа вздрагивает, ахает, просыпается, хватается нож, лежащий рядом, смотрит сквозь меня, как сквозь остаток страшного сна, потом берет себя в руки, тяжело дыша, успокаивает биение сердца. Подходит к окну, чтобы вдохнуть холодного спокойствия ночи, и тут я заставляю ее поднять глаза и увидеть корабль у пристани внизу, его разворачивающийся парус, что ловит ветер. Она хмурится, удивленная его присутствием, как была бы удивлена любая разумная царица, но отворачивается. Ей стало холодно.

Сегодня под дверью Пенелопы спит Автоноя, но царица не будит ее, пробираясь мимо. Она походит по дворцу, пока не уляжется тревога, пока не почувствует, как сладкий дар сна утяжеляет ее веки. Посидит во дворике, где иногда служанки развешивают на просушку свои хитоны, вдохнет влажный запах стирки, отдышится и успокоится. Немного спокойствия — вот и все, что ей нужно. Чуть спокойствия.

Она не находит спокойствия. Вместо этого она слышит рыдания, плач старухи, раздающийся громче из-за того, что я царапаю ногтями стену. Он доносится из покоев Антиклей, где до недавнего времени обитала Электра.

Пенелопа, удивленная, колеблется. И я подталкиваю ее вперед, толкаю в поясницу так, что первые ее шаги не вполне собственные. Потом начинает действовать ее природное любопытство, и она, идя на звук, открывает покосившуюся дверь и видит старуху, сгорбившуюся у тускло горящей лампы.

— Эвриклея? — удивляется она.

Кормилица поворачивает голову слишком быстро — утром будет болеть шея. Она торопится встать, сжимая лампаду, будто та ее единственный друг.

— Я говорила ему этого не делать! — хнычет она. — Я его умоляла!

— Кому говорила? Кого умоляла?

Старуха понимает, что проболталась, это видно по глазам, но теперь назад дороги нет. Пенелопа подходит к ней, хватая за плечи.

— Кому говорила? — рычит она.

— Телемаху, — скулит Эвриклея. — Я говорила ему, чтобы он этого не делал.

— Где он? Где Телемах?

Ответ она получает обрывками и кусками, с запинками и заиканием, и Эвриклею приходится хорошенько встряхнуть, чтобы она наконец выкрикнула:

— На пристани! Он хочет найти отца!

Это не сердце Пенелопы разбилось.

Она так надежно спеленала свое сердце веревками, затянула со всех сторон такими узлами, что даже если оно разобьется, то не развалится. Еще нет. Это не грохот ее рушащегося мира, потому что каждое утро она встает на землю Итаки и говорит сама себе: «Я здесь, и я сделаю то, что должно быть сделано». Мир не уйдет из-под ног, когда ты так долго училась ходить по нему.

Это просто топот босых ног, бегущих по тропинке, это вскрик «Пропустите!», когда она в ночном хитоне и без

покрывала проносится через ворота, это рваное дыхание, это ветер в ушах, это волосы летят и развеваются вокруг головы, это шумит пожар у нее в голове,

это колотится сердце,

такое сердце,

которое трескается, и трескается, и трескается, и все же, как древней драгоценной амфоре, что передают из поколения в поколение и подклеивают мокрой глиной, она не позволит ему расколоться, пусть даже оно разбито и восстановлению не подлежит.

Это грохот ее ног по деревянным мосткам, когда она выбегает на пристань, почти задыхаясь, почти потеряв рассудок, это ее вопль «Телемах!» — а за ней, опоздавшие, сонные, сбитые с толку, плетутся ее служанки и стражники, пытаясь понять, что за безумие вдруг обуяло их царицу.

— Телемах! — зовет она, но его корабль уже выходит из гавани, весла медленно и ритмично бьют по волнам, и он стоит на носу и не слышит ее. Афина смотрит с небес, качает головой и отворачивается.

— Телемах! — пронзительно кричит Пенелопа, и сила уходит из ее ног, она падает на землю, и наконец, обхваченная руками своих служанок, видящая, как ее сын уплывает в ночь, Пенелопа, жена Одиссея, царица Итаки, рыдает.

Я поднимаю взгляд на Олимп, смотрю на своих братьев и сестер: кто из них первым ответит на крик несчастной женщины? Ведь в этот миг весь обман разбит, все лукавство рассеялось. Она лгала, она все это время лгала — Пенелопа все же была матерью, она была женщиной с живым сердцем, видите, как она вас всех провела, убедила вас, что она просто царица? Но боги спят: или пьяны, или развлекаются где-то. Афина летит на крыльях орла за уплывающей тенью Телемаха. Артемида купается в лунном

свете. Мой муж спит в пьяном бесчувствии, обхватив задницу какой-то нимфы. Арес подглядывает за тем, как умащивает свое тело маслом запретная для него Афродита. Аполлон бренчит на лире. Посейдон бесплодно бьется в берега Огигии. Только Аид шевелится, услышав крик Пенелопы, со скрежетом приоткрывает один глаз, чтобы посмотреть, что за смертное отчаяние беспокоит его, но, не найдя его достаточно значимым, снова засыпает.

Но ее голос слышали те божественные и бессмертные, которые летают над землею.

Три старухи, полные древнего пламени, которые сейчас вьются вокруг постели спящего Ореста, слышат ее вопль на ветру, кувыркаются, приходя в восторг от ее бессилия и иступления, хихикают над ее отчаянием и облизывают губы, чувствуя на них соль ее слез.

— Телемах! — хихикает одна.

И:

— Телемах! — изображает вторая.

— Мой милый сын, — шепчет третья, слизывая кровь из-под когтей на ногах. — Мы идем, мы идем.

Потом они видят меня.

Затем смотрят наверх.

Даже я, царица богов, не брошу им вызов, потому что они такие же древние, как сами мойры, а воля их выжжет на пламенем на тяжелой земле.

Эринии расprostируют крылья над морем и островами; они ткнут полотно из крови матерей и криков девственниц, они вдоволь пьют из разбитых сердец и братоубийства, они хохочут, они поют, они плюются кипящим дождем. «О великолепная свобода! — кричат они. — Наконец-то мы выпущены на волю пролитой на землю кровью матери! Вызваны из Аида мстью, безумием и жестоким отчаянием!» Моря заалеют кровью женщин и героев, прежде чем они закончат свою работу.

В Микенах Орест вскрикивает во внезапном страшном сне, хватаясь за лоб, где его голову должно стягивать золото.

В Спарте — губы покраснели от вина, а язык — от чего-то еще более красного, — спит Менелай, выраженный в украденный хитон мертвого троянского царя.

Электре кажется, что она слышит голос матери, поющий в темных галереях дворца песню из другого времени, но мать превращается в пыль на сквозняке, когда Электра пытается догнать ее. Одиссей смотрит на высеребрянное море; Клитемнестра проводит пальцами по забывчивым водам реки проклятых.

А на Итаке плачет на краю моря Пенелопа, простирая руки вслед кораблю, который уносит от нее сына.

Телемах стоит на носу своего корабля, устремив взгляд в далекий горизонт, а в вышине, одетые в полночь и тень, появляются эринии.

ОБ АВТОРЕ

Под псевдонимом Клэр Норт скрывается Кэтрин Уэбб (род. в 1986-м), британская писательница, живущая в Лондоне. Свой первый роман она создала в возрасте четырнадцати лет и с тех пор успела доказать, что ее голос — один из самых сильных и интересных в современной английской литературе. В 2005 году она номинирована на престижную Медаль Карнеги, вручаемую за лучшую британскую детскую книгу. В 2014-м дебютировала под псевдонимом Клэр Норт со своим бестселлером «Первые пятнадцать жизней Гарри Августа», который получил Памятную медаль Джона В. Кэмпбелла. Следующую книгу Клэр, «Прикосновение», газета «Индепендент» назвала «почти шедевром», а выпущенный следом роман «Внезапное появление надежды» получил в 2017 году Всемирную премию в области фэнтези в номинации «Лучший роман». С книгой «Конец дня» писательница вошла в шорт-лист награды «Молодой писатель года» газеты «Санди таймс». Роман 2018 года, «84К», удостоился особого упоминания на церемонии вручения награды имени Филипа К. Дика, а самая последняя книга Клэр, «Преследование Уильяма Эбби», вошла в шорт-лист премии «Локус».

STONE HEDGE

МИО Проза

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

НОВЫЕ ИМЕНА МИРОВОГО МАСШТАБА

ПРОБЛЕМАТИКА XXI ВЕКА

РОМАНЫ ВЗРОСЛЕНИЯ

КНИЖНЫЙ КЛУБ

#mifproza

Подписывайтесь
на полезные книжные письма
со скидками и подарками:
mif.to/proza-letter

Вся проза
на одной странице:
mif.to/proza



mifbooks

STONE HEDGE



Литературно-художественное издание
Red Violet. Темный ретеллинг

Норт Клэр

Пряжа Пенелопы

Руководитель редакционной группы *Анна Неплюева*

Ответственный редактор *Ирина Данэльян*

Литературный редактор *Татьяна Чернова*

Арт-директор *Вера Голосова*

Иллюстрация на обложке *MARIK*

Верстка *Владимир Снеговский*

Корректор *Татьяна Князева*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
123104, Россия, г. Москва, Б. Козихинский пер.,
д. 7, стр. 2

mann-ivanov-ferber.ru
vk.com/mifbooks



STONE HEDGE



Когда царь Одиссей отплыл с острова Итака на войну с Троей, его жена Пенелопа осталась управлять островом. Но время идет, и множатся слухи о смерти Одиссея, поэтому потенциальные женихи начинают один за другим стучаться в дверь Пенелопы. Ни один из них не является достаточно сильным, чтобы претендовать на пустой трон Одиссея, и Пенелопа знает, что любой ее выбор может свергнуть Итаку в кровавую войну. Только благодаря хитрости, остроумию и доверенному кругу служанок она может поддерживать хрупкий мир, необходимый для выживания королевства.

«Норт привнесла мощное, свежее и бескомпромиссное звучание в античный миф. Дух захватывает».

Дженнифер Сэнт, автор романа «Ариадна»

#ПряжаПенелопы



Иллюстрация на обложке – Marik

МИОО mann-ivanov-ferber.ru @mifbooks



STONE HEDGE